Дм. Фурманов

Дм. Фурманов

1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



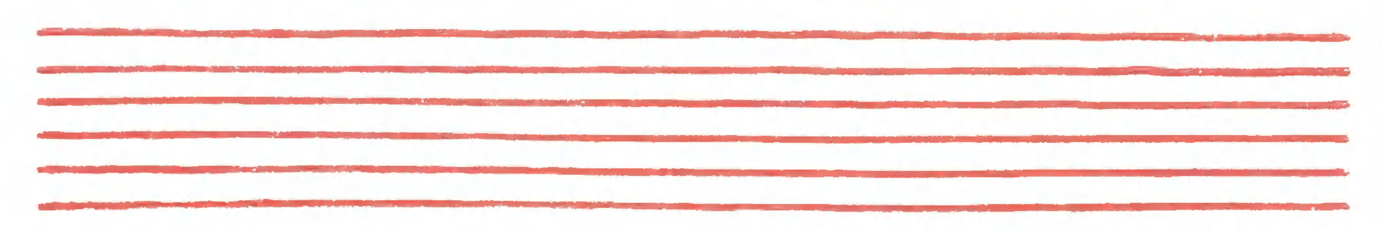
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Дм. Фурманов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том первый

ЧАПАЕВ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

Под общей редакцией
А. Г. ДЕМЕНТЬЕВА, Е. И. НАУМОВА,
Л. И. ТИМОФЕЕВА

Предисловие
Ю. ЛИБЕДИНСКОГО

Подготовка текста и примечания
М. СОТСКОВОЙ

Оформление художника
В. МАКСИНА



Д. А. ФУРМАНОВ

БОЛЬШЕВИК, ВОИН, ПИСАТЕЛЬ

С тех пор как я в первый раз прочел «Чапаева», прожита целая жизнь. Жизнь прожить — не поле перейти: все, что несущественно и случайно, стирает время. Но то, что положено в основу души, с годами особенно затвердевает, и об этом уже никогда не забудешь.

В начале 1923 года я прочел первый вариант «Чапаева», выпущенный Истпартом. Фамилию автора — Фурманов — я слышал ранее. Это был видный политический работник Красной Армии и редактор журнала «Политработник».

Встреча с первой книгой Дмитрия Фурманова была переживанием настолько сильным, что мне, как это всегда бывает в таких случаях, запомнились все обстоятельства того зимнего дня. Это произошло в воскресенье, в свободное от служебных дел время. Помню, как после утренней прогулки по заснеженным переулкам Москвы вернулся я домой, прилег на кровать, раскрыл журнал и как только дочитал до первого знакомства Фурманова с Чапаевым, тут уж не мог удержаться, и находившиеся в комнате стали взволнованными и внимательными слушателями этих замечательных страниц.

Вскоре после прочтения «Чапаева», в эту же зиму, в первый раз увидел я Дмитрия Андреевича. Это было в начале зимы 1923 года в редакции журнала «Молодая гвардия», помещавшейся тогда на Новой площади, за Китайской, ныне не существующей стеной.

Дмитрий Андреевич был в солдатской, насколько я помню, зеленой шинели, в папахе солдатского образца — ее боковины были отстегнуты и опущены, прикрывая щеки и даже шею. Был

суровый зимний день, белое небо без солнца, по земле наискось летела жесткая крупа...

Приехал Дмитрий Андреевич на открытой машине, сильно замерз. Я впоследствии замечал, что лицо его плохо выносит морозы — оно в зимнюю пору бывало слегка обветрено. С первого взгляда он понравился мне, но это было странное по двойственности впечатление.

В тот день Дмитрий Андреевич принес в журнал «Молодая гвардия» рукопись. Улыбаясь дружелюбно, он требовал (иного слова не подберешь), чтобы я дал ему точный — до часа! — срок ее прочтения. Когда я попросил его позвонить по телефону, он вынул аккуратненькую книжечку и записал туда время, когда надлежало позвонить.

Но при этом он не производил впечатления черствости или чопорности. Он был непринужденно-приветлив; после него осталось впечатление бодрости, словно по редакционной комнате прошел веселый и свежий ветер.

Наружность Дмитрия Андреевича Фурманова хорошо передается его фотографиями. Как все непринужденные и непретенциозные люди, он удачно получался на фотоснимках. Берешь сейчас любое фото,— и въявь представляются его темно-карие быстрые глаза, взгляд веселый и пристально задерживающийся на собеседнике, приветливый и одновременно берущий всерьез, упрямо-внимательный, несколько даже углубленный в себя. В посадке головы есть упрямство — он держит ее несколько лбом вперед, особенно при ходьбе, быть может, от привычки все время размышлять... Походка у него быстрая, легкая, стройность сложения почти юношеская, плечи немного покатые и над высоким лбом мягко кудрявятся волосы. Складу его красивого рта свойственны серьезность и вместе с тем всегдашняя готовность рассмеяться.

Так он выглядел — один из самых привлекательных людей, которых мне пришлось встретить в жизни.

По своему душевному складу Дмитрий Андреевич Фурманов был так же привлекателен, как по своей наружности. В обращении с людьми у него господствовал внимательно-ласковый и ровный тон. В литературное дело принес он совершенно невиданную до этого организованность, деловитость и дисциплину.

В Фурманове было воплощено то самое лучшее, что в складывающуюся советскую литературу принесли писатели, пришедшие по окончании гражданской войны с различных участков политической работы: комсомольские активисты, политработники

армии, журналисты, советские работники. В революцию он вступил сложившимся человеком, и первый, еще в огне гражданской войны, нашел те черты, которые должны быть свойственны писателю нового типа, участнику борьбы за социализм, строителю его и при этом пристальному и постоянному наблюдателю и исследователю действительности.

Так возникли «Чапаев», «Мятеж», «Красный десант», так создавалась новая книга «Писатели» — книга о литературной среде, в которую он принес все ту же страсть и пафос революционера, двигавшие им в его политической работе в армии, и то же пристальное, трезвое и взволнованное внимание.

Едва ли не больше, чем кто-либо другой из писателей его поколения и его формации, он чувствовал принципиальную новизну того, что он принес в литературу. Но при этом именно ему меньше, чем кому бы то ни было другому, были свойственны чванство и зазнайство в отношении всего того, что до него и рядом с ним существовало в советской литературе.

Помню, как его поразили первые произведения Бабеля. Кажется, вот бы почва для антагонизма. Бабель писал о тех же людях, рядом с которыми в седле комиссар Фурманов провел гражданскую войну, и писал так непохоже... Фурманову в Бабеле многое казалось неправильным, уродливо искаженным. Но, как сейчас помню, Дмитрий Андреевич заметил в Бабеле то, что многие совсем не склонны были тогда замечать,— его высокое мастерство.

Всеволод Иванов, Леонов, Сейфуллина и многие другие писатели, тогда только еще начинавшие свой путь в литературе,— никто не уходил от его глаза, заботливого и хозяйского. Именно — хозяйского. Не только представителем молодой и воинствующей литературной школы чувствовал он себя,— это чувство у него тоже было, но при этом он умел сохранить хозяйскую бережливость ко всей складывающейся тогда советской литературе. Это великое партийное чувство, кроме Фурманова, было из писателей-коммунистов свойственно тогда едва ли не одному А. С. Серафимовичу. Именно такие качества и обусловили исключительно большую организаторскую работу в литературе, которую Д. А. Фурманов за короткое время проделал.

Придя в новую для него и достаточно сложную литературную среду того времени, Дмитрий Андреевич Фурманов сумел изучить ее, по-большевистски разобраться в ней и установить и выделить положительные черты, черты складывающейся совет-

ской литературы, от всего наносного, чужеродного и вредного. Он первый начал борьбу против некоторых крикливых политиканов, которые порою пытались выдать себя за правоверных носителей партийных взглядов в литературе.

Этой борьбе за правильность линии партии, борьбе тем более тяжелой, что даже товарищи, ему наиболее близкие, порой не понимали его и оценили все значение его борьбы только после его смерти, Дмитрий Андреевич отдавал все свои силы.

Дмитрий Андреевич принимал деятельное участие в подготовке исторического документа — резолюции ЦК партии о художественной литературе, опубликованной в 1925 году. Эта резолюция явилась программой дальнейшего роста советской литературы, вокруг нее группировалось все здоровое, что было как в среде коммунистов-писателей, так и в среде писателей беспартийных.

Меня всегда поражало то, как много успевает Дмитрий Андреевич. Он был первым секретарем Московской ассоциации пролетарских писателей, он проводил заседания, ездил по кружкам и группам, участвовал в литературных дискуссиях, представительствовал, руководил организацией повседневно. Одновременно он работал главным редактором литературно-художественного отдела ГИЗа,— это означало тысячи печатных листов, которые он прочитывал и правил. Но, работая на этой должности, он на практике осуществлял линию партии в литературе и первый начал без визга и шума парализовать дезорганизующее, антипартийное влияние некоторых, по тем временам довольно влиятельных «деятелей» литературы. Фурманов вел литературный кружок в одном из рабочих районов Москвы и очень дорожил этой работой. При всей огромной организаторской работе, он за это время написал «Мятеж» и «Красный десант», перередактировал «Чапаева», написал целый ряд мелких рассказов и очерков, делал записи и разрабатывал план романа «Писатели», систематически, как и всю жизнь, вел дневник, где вся эта огромная работа, а также его повседневные наблюдения за людьми, с которыми он общался, мысли и чувства были записаны хотя и конспективно, но вполне достаточно для того, чтобы впоследствии подтолкнуть память и быть развернутыми в произведение искусства.

При всем этом он внимательно следил за советской прессой и не просто прочитывал газеты, но делал постоянные записи и вырезки по интересующим его вопросам.

Он не смог бы сделать и половины того, что сделал, если бы строжайшим образом не регламентировал свою жизнь. Он объявил решительную войну всякой богемщине и расхлябанности и всегда требовал делового ведения собрания, точного сбора, деловитости выступления, ответственности в выполнении поручения.

Сговариваешься прийти к нему на работу в два часа, а приходишь в половине третьего. Он отказывается разговаривать... Мы — друзья. Я по лицу его вижу, что он попросту рад меня видеть. Но тщетно я прошу дать мне «аудиенцию», он ласково смеется, но решительно отказывается разговаривать: у него уже идут другие дела, и, кроме того, он еще явно хочет приучить меня к аккуратности и делает это без всякого педантизма, очень весело и ласково.

Его очень возмущало и огорчало, когда опаздывали на собрания секретариата, правления... И вот неоднократно случалось, что опоздавший, придя на заседание, заставал следующую картину. Дмитрий Андреевич сам вслух ставит вопрос, после некоторого раздумья сам себе отвечает. «Садись! — говорит Дмитрий Андреевич, сердито взглянув на опоздавшего.— Видишь, никого нет, первый — ты, а уже опоздал на двадцать минут! Я тут сам разобрал два вопроса — после заседания ознакомишься, если есть возражения, договоримся!»

Для Фурманова поджидать опоздавшего означало подчиниться расхлябанному стилю жизни, а этому стилю жизни он объявил войну, и он вел ее настойчиво и весело.

Глядя, как он живет, я впервые получил ясное представление о том, как следует жить писателю, каким должен быть распорядок дня писателя, весь быт его.

Дмитрий Андреевич Фурманов жил в непрестанно бодром и веселом ритме работы. Это было похоже на марш, на бодрый походный шаг под музыку, которую он слышал откуда-то изнутри своей молодой и вдохновенной души. В этом не было ничего принужденного, бездушно-ханжеского и доктринерского. Он жил напряженно, организованно и дисциплинированно. Ему было весело так жить, и, дружа с ним, невольно хотелось подражать бодрому трудовому темпу его жизни. Его день был настолько компактен, что наперед обдуманы были каждые четверть часа.

Встав рано утром и проделав гимнастику, Дмитрий Андреевич ранние эти часы, когда голова особенно свежа, посвящал своему очередному произведению, тому, над которым он работал.

Был период, когда я часто оставался ночевать у него. Утром хочется поговорить с ним, приоткроешь дверь в его кабинет, увидишь в щель его упрямый затылок, всю его склонившуюся над письменным столом фигуру, и понимаешь, что тревожить его нельзя.

Поработав, он шел на службу. С Нащекинского переулка и до центра он обязательно шел пешком, стараясь, по возможности, идти различными маршрутами — это была его прогулка, так же как и после работы домой, пообедать и снова на собрание или на заседание — обязательно пешком. Я и сейчас без грустного волнения и нежности не могу смотреть на тротуар Пречистенского бульвара,— сколько раз после какой-либо ожесточенной дискуссии того времени шли мы быстро и весело по безлюдному этому тротуару, мимо домов, которые вот так же, как сейчас, стояли более тридцати лет тому назад... Вот все то, что на дискуссии выражалось в отчетливых и сухих формулировках, расшифровывалось в дружеской беседе. Здесь — творческие планы, еще не отделенные от плоти собственной биографии,— и вот писатель Фурманов, рассказывая о своей очередной работе (он работал тогда над «Мятежом»), вновь превращается во взволнованного участника замечательных событий... «Пьесу об этом написать надо!» — восклицает он, и это значит, что пьеса — через год, через два — но будет написана!

* * *

На улице Фурманова, раньше Нащекинском переулке, еще и сейчас стоит дом, над воротами которого вделан барельеф, очерчивающий мужественный профиль молодого лица — профиль Дмитрия Андреевича Фурманова.

В этом доме в двух смежных комнатах он и проживал. В первой помещалась столовая, а во второй, которая была немного выше ее (от первой она отделялась одной ступенькой),— кабинет и спальня. Эта комната была прямо над воротами, как раз там, где сейчас находится барельеф. Возле окна, немного наискось, стоял письменный стол Дмитрия Андреевича. Стены заставлены книжными полками, и подбор книг отражал склонности хозяина: русская классическая литература, Маркс, Энгельс, Ленин и большая коллекция — иначе, пожалуй, и не назовешь, уникальных изданий, посвященных гражданской войне, тогда еще совсем недавней.

«Чапаев» был в то время уже написан, «Мятеж» создавался, а на полках Дмитрия Андреевича продолжал подбираться материал, освещающий гражданскую войну. Здесь можно было найти редчайшие сборники и папки с материалами о Щорсе и Боженко, Буденном и Котовском. Труды по военным вопросам, военные приказы товарища Сталина, Фрунзе и Ворошилова.

Перед друзьями широко были раскрыты двери гостеприимного фурмановского дома, где за дружеским столом встречались земляки и старые друзья Дмитрия Андреевича — ивановцы — с новыми друзьями, с писателями. Дом Дмитрия Андреевича считали своим долгом посетить, порою при самом кратковременном пребывании в Москве, многочисленные военные сослуживцы Фурманова по Чапаевской дивизии, по Средней Азии, по Кубани. Начинались воспоминания и рассказы,— право, из одних этих рассказов можно было бы составить сборник новелл о гражданской войне.

Дмитрий Андреевич, умея работать, умел и любил отдыхать. Он находил время и охоту сделать свои две комнаты притягательным центром для своих друзей. Нигде мы так хорошо не спорили, не веселились и не отдыхали, как у Митяя. Он умел в каждом человеке выделить самое лучшее и растить в нем это лучшее. Он любил в товарищеском кругу вдруг вспомнить вслух о правильном, хорошем поступке кого-либо из нас, и ценная черта, нашедшая проявление в этом поступке, как бы передавалась всему коллективу. Это были черты идейности, смелости, политической сознательности, находчивости в идейной борьбе, подлинной культурности. Но делал он это опять-таки не по прописям, а с живым и непосредственным восхищением. Так он учил нас ценить друг друга для нашего общего дела. И отсюда та чудесная атмосфера веселого отдыха, которую создавал Фурманов дома, когда он решал устроить вечеринку.

Кто бывал на фурмановских вечеринках, никогда их не забудет. Вечеринку он намечал точно — как день неотложного заседания; и так же настойчиво просил не забывать о ней и не опаздывать. Заранее обдумывал и подготовлял все веселое ее хозяйство. И вот он встречает гостей. Он сам праздник, воплощение этой вечеринки. Кудрявый, темно-румяный, в домашней рубашке с мягким воротником, он приветливо улыбается, посмеивается, подшучивает, глаза его веселы, но его особенная «фурмановская» приглядка в глубине их сохраняется. Только приходишь, и сразу попадаешь под его заботливую руку. Все обдумано:

вина и закуски, музыка и танцоры, кого с кем посадить рядом, чтоб всем было весело. Всем весело, и ему веселее всех!

Но в работе, в веселье, в дружбе он не переставал все время и неустанно обдумывать, запоминать, записывать. Только после смерти Дмитрия Андреевича, просматривая его «Дневники», в полной мере можно было понять, какой интенсивной внутренней жизнью жил он все время, непрестанно фиксируя свои впечатления на страницах дневника, а потом в дневнике же анализируя и свои первые впечатления и подвергая критике свои поступки. По «Дневникам» не трудно установить, что подавляющее большинство произведений Фурманова основано на этих записях. У него был глаз на недостатки людей, и он умел прекрасно определять различную меру недостатков, за одни мог пожурить, из-за других он становился врагом... Вся гамма этих отношений к людям нашла свое выражение в «Дневниках» последних трех лет, в его подготовке к работе над романом «Писатели»,— там хранятся характеристики, беспощадные и проницательные. Фурманов был человеком коммунистического дела. И если он видел, что кто-либо к этому великому делу подмешивает какие-то корыстные и карьеристские расчеты, этот человек делался его врагом на всю жизнь.

Была в Фурманове еще одна черта, свойственная человеку коммунистического авангарда,— это скромность. Не того сорта ханжеская скромность, которая есть «унижение паче гордости», а особенная способность объективно отнестись к себе, к своим достоинствам и недостаткам, как бы взвесить себя на весах общепартийного дела.

Один товарищ рассказал мне о своих отношениях с Дмитрием Андреевичем. Фурманов был редактором периодического издания, а этого товарища (обозначим его, скажем, буквой X.) назначили его заместителем. И вот через некоторое время X. развил такую деятельность, что Фурманову стало нечего делать в журнале. Дмитрий Андреевич сам почувствовал это и встревожился. Спустя некоторое время Дмитрий Андреевич вдруг пришел на работу повеселевший и вполне дружелюбно сказал, обращаясь к X.:

— Слушай, я вижу, ты лучше меня работаешь и прекрасно можешь работать без меня. И хотя мне это очень неприятно, пойдем к начальнику, заявим ему об этом,— ты будешь редактором.

— А ты?

— Мне работу подыщут...

Так они и сделали.

Я верю этому рассказу, так как Дмитрий Андреевич неоднократно проявлял эту замечательную партийную скромность в целом ряде аналогичных поступков.

Помню, как в период, когда он заканчивал «Мятеж», его, автора едва ли не наиболее хроникальных, близких к историческим фактам произведений советской литературы, очень сильно, видимо, тянуло отойти от этого своего жанра и увеличить элементы вымысла в своем творчестве.

Одна подобного рода попытка запомнилась мне особенно рельефно.

Это было на одном из еженедельных творческих собраний, происходивших в зале бывшего особняка Морозова. Дмитрий Андреевич прочел там свой новый рассказ. После реалистического рисунка «Чапаева» и в момент, когда мы уже были знакомы с первыми набросками «Мятежа», рассказ об абстрактно-романтическом коммунисте, который сидит в тюремном заключении в какой-то абстрактно-капиталистической стране, показался нам неудачным. Товарищи один за другим выступали и критиковали Дмитрия Андреевича. Едва ли не половине выступавших призыв в армию еще предстоял через год или два, а он — комиссар прославленной Чапаевской дивизии — слушал, мрачно положив на ладонь свою кудрявую голову, и молчал, не подавая реплик, изредка переспрашивая, когда ему неясен был смысл возражения.

Когда кончили выступать, он взял слово и сказал примерно следующее:

— Я очень много работал над этим рассказом, и он мне еще сейчас нравится. Но ваши доводы меня убедили,— очевидно, рассказ, правда, не удался. Что же мне делать? — весело спросил он и сам себе ответил: — Я не буду его печатать!

И действительно, рассказ этот был напечатан лишь после его смерти.

* * *

Он пришел на одно из собраний писателей-коммунистов, и, здороваясь с ним, я поразился тому, какая у него горячая рука. Я сказал ему об этом, он нахмурился, с укоризной покачал головой и глазами показал на жену свою, которая сопровождала его. Потом, улучив минутку, когда мы остались вдвоем, сказал:

— У меня повышенная температура, если Ная об этом узнает, она уложит меня в постель и мне придется уйти, а ты кричишь громко: «Руки горячие!»

Так началась болезнь, коварная болезнь, которая свела его в могилу и отняла у советской литературы и у советского народа одного из выдающихся людей нашей эпохи.

Почти с самого начала болезни врачи сказали нам, что он должен умереть. Но при температуре 39—40°, уже потеряв сознание, Фурманов продолжал бороться за жизнь, за право по-прежнему отдавать ее революции. Он поражал этой борьбой врачей, и мы, его друзья, начинали надеяться на чудо, на выздоровление Митяя. Дом его походил на вооруженный лагерь, на штаб борьбы. За это время все его товарищи продежурили у его постели, со всех концов Советского Союза получались телеграммы, запрашивающие о состоянии его здоровья, по телефону не переставая звонили, и очень часто мы не знали даже имен тех, кто справлялся о здоровье Дмитрия Андреевича.

Но вот приостановилось дыхание, похолодели руки, остекленели и пожелтели дорогие черты лица...

Смерть Дмитрия Андреевича Фурманова всколыхнула широкие слои нашей общественности, волна скорби прокатилась по всей провинциальной и партийной прессе. Все написанное Фурмановым было собрано в посмертные тома собрания сочинений, памятник поставлен на могиле,— а все новые и новые поколения читателей читают его произведения с таким же глубоким волнением, с которым они прочитаны были их отцами и матерями.

Свежим ветром, сдувающим прочь всякое литературное жеманство и гнилую вонь декадентщины, которая в то время еще сильна была в нашей литературе, повеяло со страниц фурмановских книг. Он первый в нашей литературе показал во весь рост героическую личность советского человека, он дал образец реалистического изображения больших общественных событий, он показал новорожденную красоту нашего, по-революционному перестраивающегося, устремленного к коммунизму общества.

Помню, как летом 1925 года, в одном санатории на южном берегу Крыма пришлось мне самому наблюдать, как читатель знакомится с книгой Фурманова. Этот человек в прошлом был матрос, потом красноармеец, а в то время, о котором идет речь,—

вузовец. Несмотря на последствия ранений, на туберкулез и переутомление, он стремился вознаградить себя за месяцы сидячей и молчаливой работы непрестанным и бодрящим всех окружающих весельем.

Однако пришли дни крымского весеннего ненастья. Туман сполз с гор, однообразно ныло и грохотало море, в санатории было холодно и неприютно. У нашего друга поднялась температура, заложило грудь, заныл фронтовой ревматизм, прихрамывая, ходил он из палаты в палату, покашливая, искал средств развлечься. Пришел и к нам в палату. Сыграли в тысячный раз «в дурачка», подвигали шашки.

— Нет ли у вас, ребята, почитать чего-либо? — спросил он с легким зевком.

И мы дали «Мятеж» Фурманова. А когда он ушел, поговорили о том, что не следовало бы, пожалуй, давать ему такую серьезную книгу.

На следующий день погода поправилась, но с утра нашего друга не было ни слышно, ни видно. И только за обедом появился он с опозданием — случай неслыханный, так как аппетит у него был волчий, санаторного пайка ему всегда не хватало, в столовой обычно появлялся он первый. За обедом он все время читал и оставлял блюда почти нетронутыми. А вечером, уже после того как потушили в палатах свет, он ушел под тусклую электрическую лампочку, горевшую в коридоре, и слышно было, как няня гнала его оттуда.

— Вот книга,— сказал он в полдень следующего дня, перебирая бережно и ласково страницы уже прочитанного «Мятежа».— Как это так здорово можно написать об этом! И что это за человек такой Фурманов?

Чувствовалось, что никогда до этого времени он не испытывал на себе могучего и возвышающего влияния художественной литературы,— ранее она для него была только развлечением. И вдруг эта книга вторично позволила ему пережить всю ту борьбу, которую сам проделал на фронтах гражданской войны и, пережив, в образах обобщил ее, как свой личный опыт. Для него книга Д. А. Фурманова подняла литературу до уровня партийного дела.

После этого книга в санатории пошла по рукам. На нее установилась очередь. И каждый, прочитавший ее, приходил, чтобы расспросить о том, кто такой автор. И приятно было рассказывать о Фурманове, о том, какой это человек, приятно было потому, что

рассказывать приходилось людям, полюбившим автора за те мысли и чувства, которые дала его хорошая книга.

Это было последнее лето жизни Дмитрия Андреевича Фурманова, сам он отдыхал по ту сторону Черного моря, на Кавказе, в Новом Афоне.

* * *

Дневники, оставшиеся после смерти Дмитрия Андреевича Фурманова, дают возможность проследить процесс формирования этого замечательного человека. С детства его тянуло к литературе. И с детства же присуща ему тяга к деятельной жизни на пользу обездоленным, та, что впоследствии привела его к большевизму. Особенно интересны в этом смысле дневники семнадцатого года, справедливо озаглавленные «Путь к большевизму», так как в них обнаружилась потрясающая по чистосердечию, по беспощадной правдивости критика своей политической деятельности, кропотливый и придирчивый анализ своих душевных движений. Однако цель этого анализа состояла не в том, чтобы вызвать бесплодное покаяние, а в том, чтобы от какого-то своего недостатка раз и навсегда избавиться.

И мы видим, как Фурманов преодолевает влияние мелкобуржуазное, слюнявое — революционного авантюризма народничества, как с закономерностью естественного процесса в горниле революционной практики рождается замечательный большевик. Тот чистый, смелый, твердый и веселый, добрый к друзьям, беспощадный к врагам человек, который, завоевав для партии Чапаева, благодаря свойствам своего замечательного художественного таланта сумел поставить ему памятник — книгу о герое гражданской войны.

Были в Красной Армии, в эпоху гражданской войны, командиры, не уступающие Чапаеву ни в полководческом таланте, ни в мужестве, ни в личном обаянии. Достаточно назвать Буденного, Котовского, Апанасенко, Щорса, Пархоменко и многих других военачальников, вошедших в славную историю гражданской войны Но Чапаеву, можно сказать, повезло,— с ним рядом оказался на долгие недели и месяцы бранной жизни писатель-большевик Фурманов, взращенный стойкой большевистской организацией рабочего города Иванова, воспитанный М. В. Фрунзе. Еще до революции, будучи студентом, а потом находясь на фронте империалистической войны, Фурманов готовит себя к писательской работе — пишет корреспонденции и очерки, ведет свои замечатель-

ные дневники. К Чапаеву прибыл не только комиссар, посланец партии, но и будущий писатель.

И вот по книге мы можем проследить, как происходит изумительная лепка характера Чапаева, как создается тип военачальника гражданской войны, готового все силы отдать борьбе за советскую родину, за новую, небывало родную рабоче-крестьянскую власть и сохранившего в своих взглядах на мир ряд пережитков старого: проявлений бескультурья, крестьянского анархизма.

Но рядом с Чапаевым был верный товарищ — строгий, внимательный, добрый, облеченный доверием партии и доверие это оправдавший,— военный комиссар Дмитрий Фурманов, он же — Федор Клычков.

«Чапаев» написан от имени Федора Клычкова. Но о себе Клычков говорит прежде всего в отношении к Чапаеву. С первого же разговора, с вопроса об отношении к казачеству и к военным специалистам, Федор Клычков разглядывает и показывает нам Чапаева со всех сторон. Он любуется и восхищается им, но при этом над всем главенствует и все определяет основная задача Федора Клычкова — найти дорогу к сердцу знаменитого командира, завоевать у него авторитет и затем помогать ему в деле осуществления той великой исторической задачи, которая стояла перед Красной Армией в ту эпоху.

Мы с жадностью читаем о Чапаеве, читаем его биографию, похожую на песню, его живые рассуждения, то правильные, то неправильные, но всегда обнаруживающие недюжинный ум, и сами не замечаем, что по мере того как перед нами вырисовывается образ Чапаева, мы, целиком захваченные жизненностью и обаянием этой фигуры, как бы в тени ее все время разглядываем и воспринимаем также и другой живой образ, образ комиссара Федора Клычкова. И создание этого образа, образа комиссара в обстановке гражданской войны, является, пожалуй, задачей не менее ответственной и трудной, чем создание образа Чапаева, задача, разрешенная Фурмановым не менее блестяще.

В создании образа Федора Клычкова с особенной силой проявилось одно из наиболее замечательных свойств его дарования. Перечтите страницы, относящиеся к сломихинскому бою, в котором участвует Федор Клычков, впервые в этом бою, что называется, обстрелянный. Все самые неприглядные душевные движения названы своими именами. И, если подходить к человеку

схематически, казалось бы, ничего путного ждать от Федора Клычкова читатель уже не может. Но, оказывается, художник, правдиво показав первые переживания Федора Клычкова в бою, добился главного,— он внушил нам доверие к своему герою, и потому мы на протяжении всего романа с волнением и сочувствием следим за его деятельностью. Вот он незаметно и скромно поправил знаменитого Чапаева после того как тот свел итог гражданской войны только лишь к справедливой дележке. Вот под руководством Федора Клычкова создается в станице первый ревком, утверждается советская власть. Вот Федор Клычков на митинге яркими и умелыми словами рассказывает притихшим бойцам и крестьянам о международном положении республики, об успехах Красной Армии на других фронтах, о великих задачах революции.

Так, черточка за черточкой, складывается облик военного комиссара в его отношении и к легендарному командиру, и к командному составу дивизии, в его руководстве политотделами дивизии, во всей своей деятельности политического руководителя дивизии, вдохновенной творческой работе военного комиссара, этой подлинной души Красной Армии.

Друзья военного комиссара, добродушно подсмеивающиеся над его манерой делать записи в своей записной книжке в условиях, казалось бы, самых неподходящих, не подозревали, какое поистине великое дело творит их скромный, не обижающийся на эти шутки и упрямо продолжающий свои записи боевой товарищ.

Зато теперь мы, по записным книжкам Дмитрия Андреевича Фурманова, можем проследить зарождение Чапаева. Эти не утратившие четкости и разборчивости строки и посейчас дают толчок воображению, и мы воочию видим Чапаева на коне, в бурке, с биноклем, и рядом, чуть позади — друга и соучастника, комиссара Федора Клычкова, а точнее сказать, Дмитрия Андреевича Фурманова с неизменной записной книжкой в руках.

Фурмановские записные книжки! Перечитывая их, видишь, что, участвуя в самом тяжелом бою, писатель не переставал наблюдать, запоминать, оценивать и записывать. Таким он навсегда запомнился народу нашему рядом с прославленным Чапаевым. И когда Чапаев погиб, Фурманов из своих записных книжек воссоздал образ Чапаева и навсегда запечатлел в памяти потомков фигуру героического комдива.

История создания «Чапаева» дает образец того нового отношения к задачам писателя, которое принесла с собой молодая советская литература. Дмитрий Андреевич Фурманов был одним из ее создателей еще в ту пору, когда, по выражению Николая Тихонова, «впервые научились мы словам прекрасным, горьким и жестоким...» Такими словами написаны книги Фурманова.

Творчество Дмитрия Андреевича Фурманова отнюдь не фотографически протокольно. Он умеет в живых, описываемых им людях подчеркивать те черты, которые определяют принадлежность того или иного человека к определенной общественной группе, и поэтому живая индивидуальность всегда приобретает у Фурманова характер типичности. Его Чапаев не только живой, подлинный Чапаев — это собирательный образ, в котором показаны черты многих героев, порожденных эпохой гражданской войны.

Некоторым наивным читателям творчество Д. А. Фурманова кажется чрезвычайно простым и незамысловатым. Эка трудность — описать все как было! Представляется, что стоит только пережить интересные события, и все напишется само собой. Именно эти наивные рассуждения как раз и свидетельствуют о больших художественных достоинствах произведений Фурманова.

Ведь в том-то и состоит художественная задача писателя, чтобы в результате его работы читатель воспринимал произведение как нечто очень простое, чтобы он читал его легко и не замечал бы той колоссальной работы, которая над ним проделана. Гораздо легче заставить читать о занимательных выдумках, чем описывать действительные события и описывать их так, чтобы они были интересны. Потому что, если об этих событиях читаешь с интересом, это значит, что они отражены с художественной силой.

Мне думается, что советскому писателю нужно соединить в себе и деятельного строителя, борца за социализм, и в то же время постоянного и объективного наблюдателя жизни.

И Дмитрий Андреевич Фурманов блестяще разрешил задачу соединения этих двух сторон творческой жизни писателя. Он был человеком непрестанного революционного действия. На советском строительстве, в Красной Армии, в литературной общественности он всегда и везде первый; он не только активист, но и обязательно руководитель и организатор.

Казалось бы, эта не прекращающаяся до самой смертельной болезни напряженнейшая и организованная работа не оставляла

места для художественного наблюдения. Однако Д. А. Фурманов при этом постоянно развивал свое художественное мастерство, искусство наблюдения, осмысления и выражения. Он — агитатор, пропагандист в семнадцатом году, но день за днем несколько торопливых строк обязательно заносит в дневник; он — участник октябрьского переворота, строитель советского хозяйства — а дневник по-прежнему пополняется и пополняется. Несколько редакций, оставшихся от «Чапаева» и «Мятежа», свидетельствуют о неустанной работе по усовершенствованию мастерства.

Художественные требования, которые Дмитрий Андреевич предъявлял к себе, были очень строги. Об этом свидетельствует то, что при разборе фурмановского архива обнаружен был ряд очерков и рассказов, имеющих отнюдь не только биографическое, но и художественное значение.

Прошло более тридцати лет со дня смерти Дмитрия Андреевича Фурманова, но то, что сделал писатель во время своей короткой жизни, безвременно оборванной внезапной болезнью, так молодо, словно написано вчера.

Неизмеримо выросла Советская Армия в своей боевой мощи и в самой структуре своей со времени гражданской войны, и все же фурмановский «Чапаев» продолжает передавать новым поколениям революционный дух нашей армии, учит беззаветной преданности социалистическому отечеству, воодушевляет на подвиг воспитывает мужество и находчивость в бою, призывает к воинской учебе, внушает требования дисциплины. Самый образ Чапаева, особенно после знаменитой кинокартины «Чапаев», стал любимым героем советского народа. В «Чапаева» играют дети, народ окружил имя Чапаева легендарной славой, создав ряд чудесных сказок и песен о Чапаеве.

В самом начале Великой Отечественной войны я слышал, как политрук роты, входившей в состав одного укрепленного района, проводя беседу на тему о бдительности, начал ее с вопроса:

— Вспомните, товарищи, из-за чего погиб Василий Иванович Чапаев? Почему страна потеряла замечательного полководца, который, наверное, был бы сейчас среди наших славных генералов?

И не успел политрук закончить последнего вопроса, как сразу несколько голосов ответило:

— Часовые, часовые прозевали...

— Да! — веско и многозначительно подтвердил политрук.—

Из-за того, что часовые на постах не были бдительны, проиграно было сражение и погиб один из замечательных полководцев Красной Армии.

Он развернул книгу, которую держал в руках, и тихо и внятно прочел:

«Уж полночь давно осталась позади, чуть дрожали предрассветные сумерки, но спит еще станица спокойным сном. Передовые казацкие разъезды тихо подступили к околице, сняли часовых... За ними подъезжали, смыкались; грудились и, когда уже довольно накопилось, двинулись черной массой. Прозвучали первые тревожные выстрелы дозорных...»

Он читал, а я словно въявь видел перед собой старшего друга своего. Из-под высокого чистого лба и темных бровей особенный взгляд карих глаз, ласковый и внимательно-требовательный. Молодые веселые губы, готовые и к улыбке и к тому, чтобы отдать приказание, движутся, словно шепчут...

Молодые солдаты, только прибывшие из пополнения, затаив дыхание слушали эту идущую из прошлого, из гражданской войны, эстафету.

И к нам, советским писателям сегодняшнего дня, из тридцатилетней дали тоже приходит эта славная фурмановская традиция — его записная книжка, как бы завещанная нам, младшим товарищам, последователям и ученикам его, как славное оружие писателя-воина, как символ его писательского наблюдательного мужества, потому что, если военный писатель перестал наблюдать, записывать, запоминать, оценивать, хотя бы участвуя в самом жестоком бою, это значит, что он потерял свое оружие.

В фурмановском архиве сохранилась одна из записных книжек, впоследствии давшая материалы «Мятежу» — второй замечательной книге Д. А. Фурманова. Запись в этой книжке оборвана на полуслове, карандаш сломался, писателя вместе с другими советскими работниками, попавшими в плен к мятежникам, потащили на расправу, и только стечение счастливых случайностей спасло ему жизнь. Он смотрел уже смерти в глаза. Но до конца не дрогнула его рука писателя-воина, записи его четки и ясны. Придет время, и в настороженной тишине уютной московской квартиры то, что наспех, несистематически и неполно схвачено в записных книжках, развернется в стройное повествование, каждая отрывочная запись расшевелит память писателя, и из сокровищ ее поднимутся новые выразительные подробности...

Бессмертна боевая фурмановская традиция советской литературы. Во время Великой Отечественной войны мы увидели, как в записных книжках Симонова, Тихонова, Павленко, Вершигоры и многих других наших писателей зарождались произведения, ставшие украшением, гордостью советской литературы.

На заре нашей славной советской эпохи действовал и творил Дмитрий Андреевич Фурманов. Ярко и полно воплотил он в себе лучшие черты советского человека и выразил эти черты в своем творчестве. Вот почему книги Дмитрия Андреевича Фурманова стали классикой нашей советской литературы.

Ю. Либединский

ЧАПАЕВ

I. Рабочий отряд

На вокзале давка. Народу — темная темь. Красноармейская цепочка по перрону чуть держит оживленную, гудящую толпу. Сегодня в полночь уходит на Колчака собранный Фрунзе рабочий отряд. Со всех иваново-вознесенских фабрик, с заводов собрались рабочие проводить товарищей, братьев, отцов, сыновей... Эти новые «солдаты» как-то смешны и неловкостью и наивностью: многие только впервые одели солдатскую шинель; сидит она нескладно, кругом топорщится, подымается, как тесто в квашне. Но что ж до того — это хлопцам не мешает оставаться бравыми ребятами! Посмотри, как этот «в рюмку» стянулся ремнем, чуть дышит, сердешный, а лихо отстукивает звонкими каблуками; или этот — с молодцеватой небрежностью, с видом старого вояки опустил руку на эфес неуклюже подвязанной шашки и важно-важно о чем-то спорит с соседом; третий подвесил с левого боку револьвер, на правом — пару бутылочных бомб, как змеей, окрутился лентой патронов и мечется от конца до конца по площадке, желая хвальнуться друзьям, родным и знакомым в этаком грозном виде.

С гордостью, любовью, с раскрытым восторгом смотрела на них и говорила про них могутная черная рабочая толпа.

— Научатся, браток, научатся... На фронт приедут — там живо сенькину мать куснут...

— А што думал — на фронте тебе не в лукошке кататься...

И все заерзали, засмеялись, шеями потянулись вперед.

— Вон Терентия не узнаешь,— в заварке-то мазаный был, как фитиль, а тут поди тебе... Козырь-мозырь...

— Фертом ходит, што говорить... Сабля-то — словно генеральская, ишь, таскается.

— Тереш,— окликнул кто-то смешливо,— саблю-то сунь в карман — казаки отымут.

Все, что стояли ближе, грохнули хохотной россыпью.

— Мать возьмет капусту рубить...

— Запнешься, Терешка, переломишь...

— Пальчик обрежешь... Генерал всмятку!

— Ага-га... го-го-го. Ха-ха-ха-ха-ха...

Терентий Бочкин,— ткач, парень лет двадцати восьми, веснушчатый, рыжеватый,— оглянулся на шутки добрым, ласковым взором, чуть застыдился и торопливо ухватил съехавшую шашку...

— Я... те дам,— погрозил он смущенно в толпу, не найдясь, что ответить, как отозваться на страстный поток насмешек и острот.

— Чего дашь, Тереша, чего?..— хохотали неуемные остряки.— На-ко семечек, пожуй, солдатик божий. Тебе шинель-то, надо быть, с теленка дали... Ага-га... Ого-го...

Терентий улыбчиво зашагал к вагонам и исчез в серую суетную гущу красноармейцев.

И каждый раз, как попадал в глаза нескладный — его вздымали на смех, поливали дождем ядовитых насмешек, густо просоленных острот... А потом опять ползли деловые, серьезные разговоры. Настроение и темы менялись с быстротой,— дрожала нервная, торжественная, чуткая тревога. В толпе гнездились пересуды:

— Понадобится — черта вытащим из аду... Скулили все — обуться не во что, шинелей нету, стрелять не знаю чем... А вон она — ишь ты...— И говоривший тыкал пальцем в сторону вагонов, указуя, что речь

ведет про красноармейцев.— Почитай, тыщу целую одели...

— Сколько, говоришь?

— Да, надо быть, тыща, а там и еще собирается — и тем все нашли. Захочешь, найдешь, брат, чесаться тут некогда — подошло время-то он какое...

— Время сурьезное — кто говорит,— скрепляла хриплая октава.

— Ну, как же не сурьезное, Колчак-то, он прет почем зря. Вишь, и на Урале-то нелады пошли...

— Эхе-хе,— вздохнул старина — маленький, щупленький старичок в кацавейке, зазябший, уморщенный, как гриб.

— Да... Как-то и дела наши ныне пойдут, больно уж плохо все стало,— пожалобился скучный, печальный голосок.

Ему отвечали серьезно и строго:

— Кто ж их знать может: дела сами не ходют, водить их надо. А и вот тебе первое дело — тыща-то молодцов!.. Это, брат, *дело* — и большое дело, бо-ольшое!.. Слышно в газетах вон — рабочих мало по армии, а надо... Рабочий человек — он толковее будет другого-прочего... К примеру недалеко ходить — Павлушку возьмем, Лопаря,— каменный, можно сказать, человек... и голову имеет — не пропадет небось!

— Кто говорит, известно...

— Да не то что мужики,— ты, вон она, на Марфушку на «Кожаную» глянь, тоже не селедка-баба. Другому, пожалуй, и мужику пить даст.

Марфа, ткачиха, проходя неподалеку и услышав, что речь идет про нее, быстро обернулась и подошла к говорившим. Широкая в плечах, широкая лицом, с широко открытыми голубыми глазами, чуть рябоватая — она выглядела значительно моложе своих тридцати пяти лет. Одета в новый солдатский костюм: штаны, сапоги, гимнастерка, волосы стрижены, шапка сбита на самый затылок.

— Ты меня что тревожишь? — подошла она.

— Чего тебя тревожить, Марфуша,— сама придешь. Говорю, мол, не баба у нас «Кожаная», а кобыла бесседельная...

— То есть я-то кобыла?

— Ну, а то кто? — И вдруг переменил шутливый тон.— Говорю, что на воина ты крепко подошла... вот что!

— Подошла — не подошла: надо...

— Ясное дело, что надо...— Он минутку смолчал и добавил:— Ну, а *там*-то — как?

— Чего — *как*?

— Дела всякие свои?

— Што ж дела...— развела руками Марфуша.— Ребят в приюты посовала, куда их деешь?

— Куда деешь...— посочувствовал и собеседник. И, передохнув трудно, сказал соболезнующим грудным дыхом:

— Ну, похраним, похраним, Марфуша, а ты не терзайся: похраним... Поезжай спокойная, нам тут чего уж осталось и делать, как не за вас работать?.. Придет, може, время — и мы тогда... а?

— Так вот же...— кивнула Марфа,— да и вернее всего, што так оно будет... на одном отряде разве можно смириться?.. Беспременно будет.

— И ребята, кажись, тово,— мотнул собеседник на вагоны.

— Чего ж им,— ответила Марфа,— только бы ехать, што ли, скорей: ждать, говорят, надоело. Ехать и ехать — одно слыхать, чего толшиться?.. Э-гей, Андреев! — окликнула Марфа кого-то из проходивших.— Насчет отправки чего там балачут?

Петербургский слесарь, только недавно приехавший в Иваново, двадцатитрехлетний юноша с густыми темно-синими глазами, с бледным лицом, стройный и гибкий, с коммунаркой на голове, в истертой коричневой шинелишке,— это Андреев! Подходит четким шагом, точно на доклад; поравнялся, щелкнул в каблуки, взял под козырек и, без малейшей усмешки глядя в упор на Марфу чудесными серьезными глазами,— отрапортовал:

— Честь имею доложить вашему превосходительству: поезд идет через сорок минут!

Марфа дернула за рукав:

— Прощаться-то будем али нет? Ребята ждут,—

слово бы надо прощальное, што ли... Где Клычков? Куда он там запропастился?

Андреев снова вскинул под козырек и тем же невозмутимым тоном отчеканил:

— Пузо чаем прополаскивает, ваше превосходительство!

Марфа ударила по руке:

— Брось ты, черт, обалдел, што ли? На вот, генерала себе какого нашел...

Он вмиг перетрепенулся и к Марфе чистым, звонким, «своим» голосом:

— Марфочка...

— А?

— Марфочка — ты сама-то... гм!

Андреев скорчил выразительную рожу, скомкав губы, вылупив глаза.

— Чего ето? — поглядела на него Марфа.

— Отчекрыжишь поди што-нибудь?

Но Марфа ничего не ответила, приподнялась на носки, посмотрела над толпой:

— Да вон и сами идут, надо быть...

Стоявшие около тоже поднялись, шеями вытянулись туда, куда смотрела Марфа. Там шли трое, окруженные тесным кольцом. Отчетливый выделялся Лопарь — с черными длинными волосами, блестящими глазами, высокий, худой. Он шел и братался, словно сам себе ногой на ногу приступал,— вихлястый такой, нескладный.

С ним рядом Елена Куницына, ткачиха, девушка двадцати двух лет, которую так любили за простую, за умную речь, за ясные мысли, за голос красивый и крепкий, что слыхали так часто ткачи по митингам. Она еще не в коммунарке — повязана платком; не в солдатской шинели, а в черном легоньком пальтишке,— это в январские-то морозы! На бледном строгом лице отпечатлелась внутренняя тихая радость.

С Еленой рядом — Федор Клычков. Этот не ткач, вообще не рабочий; он не так давно воротился сюда из Москвы, застрял, освоился, бегал по урокам, жил, как птица, тем, что добудет. Был в студентах. В революции быстро нащупал в себе хорошего организатора,

а на собраньях говорил восторженно, увлекательно, жарко, хоть и не всегда одинаково дельно. Клычкова рабочие знали близко, любили, считали своим.

Толпа за перроном при виде Куницыной, Клычкова и Лопаря задвигалась, зашептала громким шепотом:

— Сейчас, надо быть, говорить станут.

— Отправляться скоро...

— Да уж раскланяться бы, што ли,— спать пора.

— А вот расцалуемся — и крышка.

— Слышь, звонок.

— Первый, што ли?

— Первый.

— В двенадцать трогать зачнут...

— В самую, вишь, полночь так и норовят!

Сальные короткие пальтишки, дрянненькие шубейки с плешивыми, облезлыми воротниками, с короткими рукавами, протертыми локтями; черные коротышки-тужурки — драповые, суконные, кожаные. Стильная толпа!

Вокзал не широк, народу вбирает в себя мало. Кто посмышленее — зацепились за изгородь, влезли на подоконники, многие забрались на пристройку вокзала, свесили головы, таращили глазами по толпе, скрючившись, висли на дверных скобах. Иные, цепляясь за карнизы, заняли проходы, умостились на вагонных крышах, на лесенках, на приступках... Давка. Каждому охота продраться вперед, поближе к ящику, с которого станут говорить. Попискивают, покряхтывают, поругивают, побраниваются. Вот на ящике показался Клычков,— шинелишка старая, обтрепанная: она унаследовалась от *той* войны. Без перчаток мерзнут руки — он их то и дело сует в карманы, за пазуху, дует в красные хрусткие кулаки. Нынче лицо у Федора бледней обыкновенного: две последние ночи мало и плохо спал, днями торопился, много работал, затомел. Голос, такой всегда чистый и звучный,— глуховат, несвеж, гудит словно из пещеры.

Клычкову дали первое слово — он будет от имени отряда прощаться с ткачами. Холодно. Позамерз-

ла толпа. Надо торопиться. Речи должны быть кратки!

Федор обвел глазами и не увидел концов черной массы,— они, концы, были где-то за площадью, освещенной в газовые рожки. Ему показалось, что за этими вот тысячами, что стоят у него на виду, тесно примыкая, пропадая в густую тьму, стоят новые, а за теми — новые тысячи, и так без конца. В эту последнюю минуту он с острой болью почувствовал вдруг, как любима, дорога ему черная толпа, как тяжело с ней расставаться.

«Увижу ли?.. Вернусь ли?.. Да и все вернемся ли когда в родные места?.. Приду ли еще когда и стану ли говорить, как говорил столь часто в эти годы?»

Переполненный скорбным чувством разлуки, не успев обдумать свое короткое слово, не зная, о чем будет оно, Клычков крикнул как-то особо громко — так он не кричал никогда:

— Товарищи рабочие! Остались нам вместе минуты: пробьют последние звонки — и мы уедем. От имени красных солдат отряда говорю вам: прощайте! Помните нас, своих ребят, помните, куда и на что мы уехали, будьте готовы и сами за нами идти по первому зову. Не порывайте с нами связь, шлите вестников, шлите, что сможете, от грошей своих, помогайте бойцам. На фронте голодно, товарищи, трудно — труднее, чем здесь. Этого не забывайте! А еще не забывайте, что многие из нас оставили беспризорные, необеспеченные семьи, детей, обреченных на голод,— не оставляйте их. Тяжко будет сидеть нам в окопах, страдать в походах, в боях... Но стократ тяжелей будет вынести муку, если узнаем к тому, что семьи наши умирают беспомощные, покинутые, всеми забытые... И еще вам одно слово на разлуку: работайте! дружнее работайте! Вы — ткачи и знать про то должны, что чем больше соткете в Иванове, тем будет теплее в уральских, оренбургских снежных степях,— везде, куда попадет отсюда ваше добро. Работайте и накрепко запомните, что победа не только в нашем штыке, но еще и в вашем труде. Увидимся ли снова когда? Станем верить, что да! Но если и не будет встречи — что тужить: револю-

ция не считает отдельных жертв. Прощайте, дорогие товарищи, от имени красных солдат отряда — прощайте...

Словно буйным бураном завыла снежная степь,— толпа зарыдала ответным гулом:

— Прощайте, ребята! Счастливо... Не забудем...

И когда смолкли — остановилась печальная тишина. Так было минуту, и вдруг по толпе зашелестело шепотком:

— Елена... Елена вышла... Куницына...

На ящике выросла Елена Куницына. Были густы и вовсе черны светло-карие чудесные глаза Елены. Быстрым движением руки скользнула она по щеке, по виску, спрятала прядки волос под платком, а платок обеими руками плотно примяла к голове.

И сказала негромко, словно сама себе:

— Товарищи!

Вся вытянулась к ней онемелая, ждущая толпа.

— Я вам скажу на прощанье, товарищи, что мы будем фронтом, а вы, например, тылом, но как есть одному без другого никак не устоять. Выручка, наша выручка — вот в чем главная теперь задача. Когда мы будем знать, что за спиной все спокойно да ладно — ништо не будет нам трудно, товарищи. А ежели и у вас тут кисель пойдет — какая она будет война? Мы не зря, рабочие-то, два эти года мучились — али за зря, али понапрасну? Нет, товарищи, по делу это все. Вот, к примеру, и мы идем, женщины; нас в отряде двадцать шесть человек. Мы тоже поняли, какой это момент переживает вся страна. Надо, значит, идти — вот вам и весь сказ! Женщины — матери, жены, дочери, сестры, невесты, подруги,— все они вам посылают через меня свой последний поклон. Прощайте, товарищи, будьте крепки духом, а мы тоже...

В ответ ей тысячеустая грудная радость, страстные клятвы, благодарность за умное, за бодрое слово:

— Эх, Еленка, тебе бы в министрах быть! Ну и баба — чисто машина работает!

Из толпы пробрался, влез на ящик одетый в желтую кацавейку, в масленую кепку, в валяные сапоги — старый ткач. Морщинилось темными глубокими поло-

сами иссохшее лицо старика, шамкали смутным шепотом губы. По мокрым, но светлым глазам, по озаренному лицу, словно волны, подымались накаты безмерной радости:

— Да, мы ответим... ответим...— Он замялся на миг и вдруг обнажил сивую, оседелую голову.— Собирали мы вас — знали на што! Всего навидаетесь, всего испытаете, может, и вовсе не вернетесь к нам. Мы, отцы ваши,— ничего, что тяжело,— скажем как раз: ступайте! Коли надо идти — значит, идти. Неча тут смозоливать. Только бы дело свое не посрамить,— то-то оно, дело-то! А в самые што ни есть плохие дни и про нас поминайте, оно легче будет. Мы вам тоже заруку даем: детей не оставим, жен не забудем, по́мочь какую ни есть, а дадим! Известно, дадим — на то война. Нешто можно без того...

Старик степенно развел руками и грустно внятно чмокнул:

— Все равно-де, выходу нет иного!

Потом он минуту постоял, обождал свои мысли и, не дождавшись, махнул рукой, быстро насунул кепку на сивую жидковолосую голову и — вовсе готовый уйти — крикнул слышным, резким голосом:

— Прощайте, ребяты... может, совсем...

Старый голос вздрогнул слезами, и слезная дрожь острым током секанула толпу...

— Может, тово... Всего бывает. Мало ли што, война-то... Она тово...

И в темные морщины из мокрых глаз хлынули обильные слезы. Грязным рукавом кацавейки он слезы мазал по лицу. Многие плакали в толпе. Другие кричали спускавшемуся вниз ткачу:

— Верно, отец! Правильно!! Правильно, старина!

Старик сошел. Ящик остался пуст. Тонко и звонко над толпой пробил второй звонок. Клычков вскочил в останный раз на ящик:

— Ну, прощайте! Еще раз прощайте, товарищи! За нашу встречу, за счастливую будущую встречу: ура!

— Ура... ура... ура!!!

И чуть стихло — команда:

— Отряд, по местам!

Замелькали суетно шапки, фуражки, коммунарки, защелкали прощальные поцелуи. Поплыли торопливым заливчатым гудом напутственные речи, степенные советы, печальные просьбы, напрасные утешенья.

На плече у хмурого красноармейца вздрагивала материнская голова. Слезы замочили серое лицо. Стонала, всхлипывала, плакала рокотно какая-то одна половинка,— другая остыла, серьезная, крепкая и смолкшая в задумье.

Отряд в вагонах. Ближе примкнула толпа,— она из вагонных окон отлилась сплошной безликой массой. Масса ворочалась, гудела, волновалась, словно огромный шерстистый зверь — тысячелапый, тысячеглазый, податливый, как медведь-мохнач.

Третий звонок...

Засвистели свистки соловьями, загудели сычами гудки, зафыркала трудно паровозная глотка, зачадила, задышала, лязгнули колеса по мерзлым рельсам, хрустнули на съеме, треснули вагоны, снялись со стоянки, покатились...

Кричали красноармейцы из вагонов, кричала и вослед бежала гибкая черная толпа. Потом вагоны пропали во тьме, и только можно было слышать, как вдалеке что-то ухало, скрежетало, все глубже, глубже уходило в черную ночь...

Понурые, унылые, со слезами, с горестной речью в полуночном январском холоду расходились со станции по домам ткачи.

До Самары от Иваново-Вознесенска ехали что-то очень долго — не меньше двух недель. Но по тем временам и этот срок — кратчайший. Дорога мало затомила,— любы-дòроги новые места, крепит необычная обстановка, треплет смена впечатлений, тонкой, высокой струной звенит настроенье: острота новизны смывала серую скуку нудной езды, тоску стоянок в тупиках глухих полустанков. Что ни остановка — у эшелона бойкая работа. Весь долгий путь перемечен митингами, собраньями, заседаньями, самодельными

лекциями, говорливыми беседами по кружкам охотников-слушателей. Отряд ткачей-большевиков — толковых, строгих до себя ребят — весь путь проборздил глубоким и нежданным впечатленьем. По станциям, по захолустным полустанкам, по мелким городишкам, селам, деревням — мчалась в те дни неисчислимая «вольница», никем не учтенная, никем не организованная: разные отряды и отрядики, всякие «местные формированья», шальные, полутемные лица, шатавшиеся без цели и без толку из конца в конец необъятной России. И вся эта обильная орава кормилась за счет населения: неоплатная, скандальная, самоуправная. Буйству воля была широкая, некому было то буйство взять под уздцы: власть советская на местах по глуши не окрепла ядреным могуществом.

Остро в те дни ощутил человек, что мало иметь ему только пару светлых глаз, только два тончайших и чутких уха, две руки, готовых в работу, и голову одну на плечах, и сердце в груди одинокое. В те нечеловеческие дни тяжко было человеку.

Лучшие люди Советской страны уходили на фронт. Другие маялись в бессменной иссушающей маяте тыла. Где ж было за всем присмотреть, все прослушать и все поделать, что делать надо! По зарослям глухих провинций, в непролазной пуще сермяжных углов что творилось в те смутные дни — никогда никто не узнает. Горе людское остановилось страданьем в серых озерах глаз. Безответная, шальная, разгульная вольница сшибала на скаку ростки советской жизни и уносилась, хмельная и бесшабашная.

Старого нет — и нового нет. Где же голову приклонит беззащитный человек? И кто распалил этот огненный вихрь?

Ах, большевики? Так это ихняя бражная вольница не дает покоя, так это от них наше лютое горе?

Того не могли понять, что новая власть на разгульную вольницу только-только вила в те дни жгутовый аркан.

И все свое грузное горе, ржавую злобу свою выхлестнули сермяжные углы — на большевиков:

— Грабители! Насильщики! Поганое племя!

И вдруг теперь в отряде, в этой тысяче большевиков-ткачей, увидели сермяжники, жители малых городков, увидели, попросту сказать, хороших людей, которые их внимательно, спокойно выслушивали, на все вопросы мирно отвечали, что надо, объясняли умно и просто, по своей воле не шарили амбары, не вспарывали подвалам животы, ничего не брали, а что брали — за то платили. И крестьяне дивовались. Было это ново. Было это странно. Было это любо. Иной раз к полустанку, где эшелоны задерживались сутками, сползались жители из дальних сел-деревень «послушать умного народу». Работа агитационная была проделана на ять,— она словно двери распахнула к той гигантской работе, что за годы гражданской войны развернули иваново-вознесенцы. И где их, бывало, где ни встретишь: у китайской ли грани, в сибирской тайге, по степям оренбургским, на польских рубежах, на Сиваше у Перекопа,— где они не были, красные ткачи, где они кровью не полили поле боя? То-то их так берегли, то-то их так стерегли, то-то их так любили и так ненавидели: оттого им и память — как песня сложена по бескрайным равнинам советской земли.

Вот ехали теперь на фронт и в студеных теплушках, в трескучем январском холоду — учились, работали, думали, думали, думали. Потому что знали: надо готовым быть ко всему. И надо уметь войну вести не только штыком, но и умным, свежим словом, здоровенной головой, знаньем, уменьем разом все понимать и другому так сказать, как надо. По теплушкам книжная читка гудит, непокорная скрипит учеба, мечутся споры галочьей стаей, а то вдруг песня рванет по морозной чистоте — легкая, звонкая, краснoперая:

Мы кузнецы — и дух наш молод,
Куем мы счастия ключи.
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!!

И на черепашьем скрипучем ходу вагонном, перемежая и побеждая ржавые песни колес,— несутся над равнинами песни борьбы, победным гулом кроют про-

странства. Как они пели — как пели они, ткачи! Не прошли им даром и для песни подпольные годы! То-то на фронте потом, в дивизии, не знал никто другого полка, как Иваново-Вознесенский, где так бы хранили песни борьбы и так бы их пели,— с такой простотой, с беспредельной любовью, с жарким чувством. Те песни гордостью и восторгом воспламеняли полки. Ах, песня, песня, что можешь ты сделать с сердцем человека!

Чем ближе к Самаре, тем дешевле на станциях хлеб. Хлеб и все продукты. В голодном Иваново-Вознесенске, где месяцами не выдавали ни фунта, привыкли считать, что хлебная корочка — великий клад. И тут рабочие вдруг увидели, что хлеба вволю, что дело совсем не в бесхлебье, а в чем-то другом. И горько тут погоревали над общей безурядицей, над тем, что связь слаба у промышленных рабочих центров с хлебородными местами, и словно мстили теперь в хлебном обилье за годы голода — торопились наверстать несъеденные пуды. Уж, кажется, надо бы было поверить, что, продвигаясь в самарскую хлебную гущу, всего там встретят больше и все там будет дешевле. Ан, нет: не верилось,— голод отучил от такого легковерья. На каком-то полустанке, где хлеб показался особенно дешев и бел,— закупили по целому пуду. Как же упустить такой редкостный случай? А через день приехали на место и увидели, что там он белей и дешевле: растерянно улыбались, шептались, смущенные, не знали, куда подевать свои сохнувшие запасы.

Лишь только приехали в Самару и остановились где-то на «пятнадцатых» путях, у беса на куличках, где только ржавые груды рельсов да скелеты ломаных вагонов,— высыпали на полотно, скучились, загалдели, заторопили командира узнать поскорее судьбу:

Куда, когда, на какое дело? Теперь ли тронут враз, али день-другой задержат в городе?

Все это можно было узнать только у Фрунзе. Фрунзе уж командовал 4-й армией. Он выехал из Иваново-Вознесенска несколько раньше самого отряда и

теперь находился в Уральске, а здесь, в реввоенсовете, оставил записку на имя Федора. В той записке указывал, чтобы Лопарь, Клычков, Терентий Бочкин и Андреев гнали немедленно к нему в Уральск, а отряд направится им вослед. Он в теплых, сердечных словах приветствовал земляков, коротко познакомил с обстановкой, указал, какая всем большая и трудная предстоит работа. Клычков прочел записку отрядникам. Бодрые слова любимого командира слушали с восторгом. Кто-то предложил отправить ему приветственную телеграмму.

— Отправить... телеграмму отправить!

— И сказать спасибо! — крикнул кто-то.

— Не то «спасибо»,— перебили голоса:— сказать, что приехали, что готовы на дело — куда какая помочь нужна! Во как!

— Правильно! Так и сказать: готовы-де на дело! И сказать, что все, как один, то есть в самом лучшем смысле!

— Айда, ребята, составляй телеграмму! Да здравствует Фрунзе, ура!

— Ура!.. Ура!.. Ура!..

Шапки, кепки, варяжские шлемы взметнулись над головами, закидались неладно в стороны, как галочья вспугнутая стая.

Федора в страстный жар кинул дружеский тон записки,— он ею потрясал смешно над головою, кричал, восторженный и наивный:

— Товарищи! Товарищи,— вот она, эта маленькая записка! Ее писал *командующий армией,* а разве не чувствуете вы, что писал ее равный совсем и во всем нам равный человек? По этой товарищеской манере, по этому простому тону разве не чувствуете вы, как у нас от рядового бойца до командарма поистине один только шаг? Даже и шага-то нет, товарищи: оба сливаются в целое. Эти оба — одно лицо: и вождь и рядовой красноармеец! Вот в чем сила нашей армии,— в этом внутреннем единстве, в сплоченности, в солидарности,— в этом сила... Так за нашу армию! За наши победы!

И снова красноармейцы в неистовом восторге кидали шапки вверх, кричали «ура», выхлестывали радость и гордость и готовность свою, словно камушки в буйном шторме с морских глубин на морские берега.

Дальше события заскакали белыми зайцами. Отряд получил приказ быстро собраться. В штаб армии вызвали командира и наказали, чтоб был с отрядом готов к выступленью.

Назначенной четверке из ревсовета напомнили:

— В Уральск уезжать немедленно!

Засуетились. Заторопились. Не успели как следует проститься с отрядниками. Да и верилось, что скоро свидятся в Уральске.

От реввоенсовета оттолкнулись две тройки: в первой сидели Федор с Андреевым, в задней — Лопарь и Терентий Бочкин.

Вскинулись кони, свистнул посвист ямщицкий, взвизгнул змеиной смешью кнут степной — и в снежный метельный порох легкие тройки пропали, как птицы.

II. *Степь*

Морозно поутру в степи. Возницы накругло укутаны в бараньи лохматые тулупы. Спрятали их головы кудлатые вороты от дремлющих седоков.

— Лопарь, озяб? — ссутулился к нему иззябший Бочкин.

— Гвоздит... до селезенки! — прохрипел уныло Лопарь.— Остановка-то скоро али нет?

— Кто ее знает, спросить надо приятеля-то... Эй, друг,— ткнул он в рыжую овчинную тушу.— Жилье-то скоро ли будет?

— Примерзли?

— Холодно, кум. Село-то скоро ли, спрашиваю?

— Верст семь, надо быть, а то... и двенадцать! — свеселил ездовой, не оборачивая головы.

— Так делом-то — сколько же?

— А столько же! — веселым зубоскальем хахакал возница.

— Как ты село-то называл?

— Ивантеевка будет...

— А с Ивантеевки до Пугачева — далеко?

— Да што же там останется?

Мужик деловито и строго скосил глаза, прикоченелый палец глубоко впустил в ноздрю. Помолчал минутку. Сообщил:

— Ничего, можно сказать, не останется: к Таволожке осьнатцать да от Таволожки двадцать две,— как есть к обеду на месте!

— А сам ты как — из Николаевки? — выщупывал Бочкин.

— Из нее, откуда ж ищо-то быть?

И в тоне мужичка послышалась словно обида. Какого, дескать, черта пустое брехать: раз в Николаевке брал седоков — известно, и сам оттуда.

— Ну, отчего ж, дядя? Может, и ивантеевский ты,— возразил было Бочкин.

— Держи туже — ивантеевский...

И дядя как-то насмешливо чмокнул и без надобности заворошил торопливо вожжами.

У мужичков такая сложилась тут обычка: привезет, например, какой-нибудь Карп Едреныч из Ивантеевки в Николаевку седока, а Едрен Карпычу из Николаевки в Ивантеевку уж дан наряд везти другого. Так он не везет, не делает лишнего конца, а передает седока Карпу, и тот на усталых лошадках ползет-ползет с ним бог весть сколько времени. Тот ему потом, дяде-то Карпу,— услуга за услугу. Дядям это очень удобно, а вот седокам — могила: какой-нибудь двадцативерстный перегонишко тянут коротким шажком четыре-пять часов. И это несмотря ни на какие исключительные пункты мандата:

«Сверхсрочно... Без очередей... Экстренное назначение...»

Все эти ужасные слова трогали Карпов Едренычей очень мало,— они ухмылялись в промерзлый ус, добродушно и медлительно сдирали сосульки с шершавой бороды, успокаивали волнливого седока:

— Прыток больно. А ты потерпи — помереть успеешь... милай!

Терентий слышал про эту обычку возницкую, вспомнил теперь и понял, отчего так сладко и хитро причмокнул дядя.

— Знаю, брат, на обмен нашего брата возите...

— А то нет! — оживился возница.— Знамо, на обмен,— все оно полегше идет...

— Ну, кому как...

— Никому никак, а всем полегше...— рассеял он Терентьевы сомненья.

— Вам-то, знаю, легче. Кто про то говорит,— согласился Бочкин.— А нам вот от этих порядков — чистая беда: на заморенных не больно прокатишь, протащимся целый день...

— Это у меня-то заморенные? — вдруг обиделся возница и круто обернул тулуп спинищей, молодецки вскинул вожжами, с гиком пустил коней, только снег завихрил, запушил в лицо.— Эй вы, черти! Фью, родимые... Ага-а-а... Недалеко уж... Ннн-о... соколики!

Мужичка не узнать: словно на гонках, распалился он над снежной пустынной степью.

И когда утолил обиду, поудержал разгорячившихся лошадок, повернул голову в высоком вороту, глухо заметил:

— Вот те и мореные!

— Лихо, брат, лихо,— порадовали его седоки.

— То-то, лихо,— согласился дядя и степенно добавил:— А что устамши бывают, на то причина — езда большая: свое справляй, наряды справляй,— дьявол, и тот устанет, не то што лошадь...

— А много, знать, нарядов? — полюбопытствовал Лопарь.

— Мало ли нарядов,— живо отозвался мужичок.— Тут шатается народу взад-вперед — только давай... И чего это мечутся, сатаны, диву я даюсь: толь и шмыгают, толь и шмыгают, а все лошадей! И кому задержал — тыкву дать норовит!

— Так уж и тыкву? — усомнился Лопарь.

— А то што,— аль пожалишься кому?

— Врать-то вы больно, мужики, горазды,— сказал он серьезно вознице.

— Ну, сам соври получше,— чуть обиделся дядя, трудно повертываясь на облучке.

— Черт-те знает што! — в раж входил Лопарь.— Выдумает себе вот человек какую-нибудь историю, да и верит в нее... Верит тебе и верит,— что ты станешь делать?

— Да... историю...— бурчал недовольный кучерило, разобиженный тем, что так круто и недоброжелательно вдруг повернут был разговор.

— Били тебя самого-то когда? — спросил Лопарь.

— А нешто не били... Один такой вот, как ты, шашкой зубанул, сукин сын. Ладно тулуп-то крепок, а то бы до самой кишки секанул...

— Чего он, пьян, што ли, был, дурак?

— А видно, што пьян...

— Ну, с пьяного и спрашивать нечего,— будто невзначай уронил Лопарь слова.

— Так я и не спрашиваю...

Терентию захотелось разузнать, как тут дела с советами,— крепки ли они, успешно ли работают. Он перебил уклончивую речь возницы и стал задавать другие вопросы, но и здесь услышал ту же невязку, недоговорку, уклончивость в ответах, словно мужичок чего-то опасался.

— А пущай... всего бывает... Чего же нам теперь...— получал Терентий завитушки слов вместо серьезных и ясных ответов.

— Да не поймешь ничего, говори яснее,— не выдержал и раздражился Лопарь.

— Недогадлив больно, паренек. А ты подумай,— може, и догадаешься...

— Нет, подожди ты, подожди,— остановил Терентий Лопаря, опасаясь, что тот сорвет беседу.— Что совет-то, спрашиваю, хорош тут али не больно: делом ли занимается?

— А чего ему не делать-то, известно... Наряды вот Горшков только неправильно...

— Неправильно? — и Лопарь на живое слово кинулся, как кошка на мясо.

— Так а што ж: тестя небось кажин раз норовит обойти, а нашему брату, знай, подсыпает, когда и очередев-то нету никаких.

— А ты жаловаться бы,— подсказал Терентий.— В совет иди, докажи, расскажи: ему, негодяю, живо усы-то подкрутят.

— Да, подкрутят,— упадочным голосом сглушил мужичок и безнадежно прихлопнул по крупу вожжами,— того гляди, подкрутят: сам как раз и угодишь, куда не надо...

— Ну, что это чушь-то молотишь? — осердился снова Лопарь.

— Не молотишь, а так точно навсегда,— сокрушенным голоском сказал возница, и голова у него, словно у мертвой птички, свесилась на сторону.

— Случаи были? — крепко и прямо, словно следователь, спросил Терентий.

— То-то и дело, были...

— Ну, и что же?

— Ну, и ничего же,— повел мужичок заиндевелыми губами.— Было да и не было. «Жил да помер до сроку — всего и проку»...

— А молчали што? — вгрызался Лопарь.

— Да так и молчали, чтоб тише было...— невозмутимо и тонко пояснял хитроватый мужичок.— Как помолчишь — оно само отходит...

— Шутка шуткой,— отсек Лопарь,— а того...— И, словно спохватившись, прибавил добродушно: — Да, впрочем, убыток ли еще тебе ехать-то, дядя? В советах вон бумажки висят везде: «Едешь — плати, што берешь — опять за все плати». Читал? Видал сам-то?

— Видал... пущай висит...

Лопарь плюнул досадно, уткнулся глубоко в потный ворот, смолк,— он привык разговаривать в городе, с рабочими, в открытую, совсем по-иному, а так не умел: уклончивые, невнятные, хитрецкие ответы раздражали его не на шутку. Во весь путь до Ивантеевки он не сказал больше ни слова, а терпеливый Терентий Бочкин еще долго-долго в потоке фальшивых и туман-

ных мужичьих слов вылавливал, будто драгоценные жемчужинки, отдельные мелкие факты, редкие мысли и соображения, которыми оговаривался словоохотливый хитрый мужичок.

В санях у Федора и Андреева шел совсем иной разговор.

— Ты сам был, Гриша, у него в отряде? — спрашивал Федор парня.

— Так и ногу с ним навредил,— ткнул Гриша пальцем в сиденье.— Все лето по степям из конца в другой гоняли: они за нами охотют, а мы норовим, как бы их обмануть... *Чеха* — этот дурак, а вот *казару* не обманешь: сам здесь вырос — чего от его ждать?

Гриша, откинув ворот, боком сидел на облучке, и Федору было отчетливо видно его загорелое, багровое лицо: мужественное, открытое, простое. Особо характерно и крепко ложилась его верхняя губа, когда после волнующей речи опускал он ее, притискивая и покрывая нижнюю. Расплюснутый, широкий нос, серые густые глаза, низкий лоб в маслянистых морщинах,— ну, лицо как лицо: ничего примечательного! А в то же время сила в нем чувствовалась ядреная, *коренная,* настоящая. Грише было всего двадцать два года, а, по лицу глядя, вы дали бы ему и тридцать пять: труды батрацкой жизни и страданья с оторванной в бою левой ногой положили неизгладимые печати.

— Ну, и что, *он* молодой? — любопытствовал Федор, продолжая начатый раньше разговор.

— Да, молодой совсем: тридцати годов, надо быть, нету...

— Из здешних, што ли,— казак?

— Какой казак... От Пугачева тут деревня будет Вязовка — в ней, надо быть, и жил. А другие говорят — в Балакове жил, только приехал сюда. Кто их разберет...

— Из себя-то как? — жадно выпытывал Федор, и видно было по взволнованному лицу, как его забрал разговор, как он боится пропустить каждое слово.

— Да ведь што же сказать? Однем словом — ге-

рой! — как бы про себя рассуждал Гриша.— Сидишь, положим, на возу, а ребята сдалька завидят: «Чапаев идет, Чапаев идет...» Так уж на дню его, кажись, десять раз видишь, а все охота посмотреть: такой, брат, человек! И поползешь это с возу-то, глядишь — словно будто на чудо какое. А он усы, идет, сюда да туда расправляет,— любил усы-то, все расчесывался...

— Сидишь? — говорит.

— Сижу, мол, товарищ Чапаев...

— Ну, сиди,— и пройдет. Больше и слов от него никаких не надо, а сказал — и будто радость тебе делается новая. Вот што значит *настоящий* он человек!

— Ну, и герой... Действительно герой? — щупал Федор.

— Так кто про это говорит,— значительно мотнул головою Гриша.— Он у нас ищо как спешил, к примеру, на Иващенковский завод? Уж как же ему и охота была рабочих спасти: не удалось, не подоспел ко времю.

— Не успел? — вздрогнул Андреев.

— Не успел,— повторил со вздохом Гриша.— И не успел-то малость самую. А што уж крови за это рабочей там было — н-ну!..

Гриша тихо махнул рукой и опрокинул тяжелую голову...

В грусти промолчали целую минуту. Потом Гриша тише обычного сказал:

— По-разному говорят, только уж самое будет малое, коли две тысячи считать. Так их между корпусами рядами-то и выложили, весь двор завален был — и женщины там, и ребятишки, ну, и старухи которые — однем словом скажу: всех без разбору. От как, сволочь...

Он слышно скрежетнул зубами и дернул за вялые вожжи.

— Видел сам-то? — пытал его Федор.

— Как не видать... Да уж и говорить бы не надобно... Што же тут видеть: кровь да мясо в грязной земле... Без разбору, подлецы, так на очередь и секли...

— Ну, а он-то как, сам Чапаев?

— Чего же ему оставалось? Во гнев вошел, и глаза блестят, и сам дрожит, как конь во скаку. Шашку с

размаху о камень полоснул. «Много будет,— говорит,— крови за эту кровь пролито! И вовеки не забудем, и возьмем свое!..»

— А взял? — серьезно спросил Андреев.

— Да как еще взял! — быстро ответил Гриша.— Он, словно чумной, кидался по степи, пленных брать не приказал ни казачишка. «Всех,— говорит,— кончать подлецов: Иващенкин завод не позабуду!»

И опять помолчали. Клычков опрашивал дальше охотливого Гришу:

— А што ж, Гриша, у него за народ был, бойцы-то: откуда они?

— Так, здешние, кому ж идти? Наш брат пошел, батрак, да победнее который... Бурлаки опять же были, эти даже первее нас ушли...

— Што же, полк, што ли, чего у вас было?

— Да, был и полк, когда в Пугачах стоял, а потом все больше отрядом звали,— он и сам, Чапаев, полком-то не любил прозывать: отряд, говорит, да отряд, это больше к делу идет...

— Н-да... Отряд... Ну, а раненые с отряда, убитые у вас — их-то куда девали?

— Девали,— раздумчиво протянул Гриша, собираясь с мыслями.— Всяко девали: то не успеешь подобрать, этих казара докалывала,— небось не оставит. А кого заберешь,— по деревням совали: тут у нас везде народ свой. И здесь вот бывали, в Таволожке. Да где не было — везде было...

— А лечили как?

— Тут и лечили, только лекарствов, надо быть, не было никаких, а чем бабушка вздумает, тем и помогает... Коли другой в город снаровит — этому еще туда-сюда, а здесь-то по деревням — эге, как залечивали!.. Ну, и где же ей, бабе темной, ногу закрыть, коли от ноги этой жилочки только болтаются да кости крошеные в погремушки хрустят... Какой тут баба лекарь человеку?

— А были такие? — с дрожью в голосе справился Федор.

— Отчего же не быть: на то война!

— Вот правильно! — брякнул неожиданно Андреев,

все время сидевший молча, глубоко в тулуп укутав голову, словно злой на кого али чем недовольный.— Верно говоришь! — повторил он с силой и дружески хлопнул Гришу по тулупине.

— Ну, известно,— смахнул тот весело рукой.— Всего бывало!

— Гриша,— перебил Федор,— Гриша, а питались по деревням же?

— По деревням...— осанисто ответил парень, видимо очень довольный, что так им интересуются.— С собой возили мы мало,— и где его возить, куда девать было? Тут все по деревням: они придут — они берут, мы придем — опять берем. Деревне кругом пятнадцать выходило, куда ни заверни!

— Да, тяжеленько было,— вздохнул и Клычков.

— Всем тяжело было... А нам рази легко? — подхватил Гришуха, словно боясь, что его поймут неправильно.

— Конечно, не легко,— торопливо поддакнул Федор.

— То-то и оно,— успокоился Гриша.— Всяко было! Мало ли што,— откажутся там иной раз хлеба, к примеру, дать, овса ли лошадям аль и лошадей сменить, коли своих невмоготу уморим: надо было... Раз надо, значит, давай — разговор короткий. И, думаю я, одинаково тут выходило,— што у нас, што у *них*... Чего выхваляться, будто очень все-де красиво загибалось? И некрасиво бывало... Ты целые сутки не жрамши, скажем, да с походу, а тут хлеба куска не дают,— где же она, красота-то, уляжется? Перво-наперво словом: дай, мол, жрать хотим. А он тебе кукиш кажет. Дак в улыбку, што ли, с ним играть? Ну, тут под арест кого, а что пузо потолще — и в морду заедешь, где с ним рассусоливать...

— Били? — затаил дыхание Клычков.

— Били! — ответил просто и твердо Гриша.— Все били, на то война.

— Молодец, Гришуха! — снова и весело сорвался Андреев.

Андреев любил эту чистую, незамазанную, грубоватую правду.

— А меня не били? — обернулся Гриша.— Тоже били... да сам Чапаев единожды саданул. Что будешь делать, коли надо?

— Как Чапаев, за што? — встрепенулся Федор, услышав (в который раз!) это магическое, удивительное имя.

— А я на карауле, видишь ли, стоял,— докладывал Гриша,— что вот за Пугачами, вовсе близко, станция какая-то тут... забыл ее звать. Стою, братец, стою, а надоело... Што ты, мать твою так, думаю, за паршивое дело это — на карауле стоять. Тоска, одним словом, заела. А у самого вокзала березки стоят, и на березках галок — гляжу — видимо-невидимо: га-га-га... Ишь раскричались! Пахну вот, не больно, мол, гакать станете! Спервоначалу-то подумал смешком, а там и на самом деле: кто, дескать, тут увидит,— мало ли народу стреляет по разным надобностям. Прицелился в кучу-то: бах, бах, бах... Да весь пяток и выпалил сгоряча... Которых убил — попадали сверху, за сучки это крылышками-то, помню, все задевали да трепыхались перед смертью. А што их было — тучами так и поднялись... поднялись да и загалдели ядреным матом. Кто его знал, что *он* у коменданта сидит, Чапаев-то. Выходит — туча-тучей.

— Ты стрелял?

— Нет,— говорю,— не стрелял: не я!

— А кто же галок-то поднял, хрен гороховый?

— Так, видно, сами,— говорю,— полетели!

— А ну, покажи! — и хвать за винтовку. За винтовку хвать — а она пустая.

— Што? — говорит.— А патроны где,— говорит,— возьмешь, сукин сын? Казаков чем будешь бить, колода? Галка тебе страшнее казака? У, ч-черт! — да как двинет прикладом в бок!

Молчу, чего ему сказать? Спохватился, да поздно, а надо бы по-иному мне: как норовил это за винтовку, а мне бы отдернуть: не подходи, мол, застрелю: на карауле нельзя винтовку щупать! Он бы туда-сюда, а не давать, да штык ему еще в живот нацелить: любил, все бы простил разом...

— Любил? — прищурился любопытный Федор.

— И как любил: чем его крепче огорошишь, тем ласковее. Навсегда уважал твердого человека, что бы он ему ни сделал: «Молодец,— говорит,— коли дух имеешь смелый...» Ну, а где же все перескажешь? А вот она и «Вантеевка»,— обрадовался Гриша, пересел, как подобает вознице, ударил звучно вожжами, сладко чмокнул, присвистнул и уж так беспокоился вплоть до самого села. Только раз обернулся:

— На совет подвозить-то?

— Да, да, к совету, Гриша.

— А то к Парфенычу бы, он вот про Чапаева расскажет...

— Кто это, Парфеныч-то?

— А из наших, в отряде же был раньше меня. Да руку ему оборвало напрочь,— с тем и воротился...

— Здешний житель?

— Здешний, ну бесхозяйный же теперь,— все начисто испортили казаки: избу разорили, амбары сожгли, как есть нагишом мужика оставили... Поправил, да плохо.

— Укажи, проезжать-то будем,— на всякий случай напомнил Федор.

— Укажу...

Въехали в Ивантеевку — большое, просторное село с широко укатанными серебряными улицами. Малую деревеньку зима обернет в берлогу — засыплет, закроет, снегами заметет. А большому селу зимой только и покрасоваться. Гриша поддал ходу и мчал для форсу на легкой рыси. В одну избушку ткнул пальцем,— это была Парфенычева изба. На другую показал, обернулся быстро, щелканул молча себя по шее, ухмыльнулся: надо было, видимо, понимать, что в этой гонят самогонку. Подкатили к совету; он, по общему правилу, на главной площади, в доме бывшего правления. Выползли из саней, ступали робко на занемелые ноги, сбросили оснеженные, заиндевелые тулупы, зацепили под мышку и в руки свои корзиночки и узелки (жалкий скарбик: у каждого весом полпуда!), по ступенькам поднялись в помещение совета.

Совет как совет: просторный, нескладный, неприютный, грязный и скучный. Еще рано, в городе теперь

еще никого не найдешь по учреждениям, а тут, гляди-ка, что народу наползло! И чего только они с этаких позаранок делать хотят? Притулившись к коричневой сальной стене, вертят цигарки, махорят, прованивают и без того несносный, кислый воздух; жмутся по окнам, выцарапывают разное на обледенелых стеклах, похлопывают с холодку рука об руку, отогреваются, вяло и будто невзначай перекидываются скучными фразами... Видно, что многие, большинство может быть, все — толпятся без дела: некуда деться, нечего делать,— так и сползлись.

Увидя вошедших, повернулись в их сторону, осмотрели, высказали разные соображения насчет мороза, усталости, направления и цели поездки приехавших, трудности самой езды, молвили про недохватки ячменя и овса, про то, что будет сегодня буран непременно и ехать невозможно «ни в каких смыслах».

— Здорово, товарищи,— обратился Лопарь, задержавшийся чего-то на воле и входивший теперь последним.

— Здравствуйте,— промычало несколько голосов.

— Председателя бы повидать...

— А вот сюда,— и указали на комнатку в стороне за отгородкой.

Лопарь всю дорогу играл роль представителя едущей четверки, вел переговоры, получал лошадей, узнавал, где можно остановиться, перекусить. И прочее, и прочее.

Андреев тулупа не снял, подвинул бесцеремонно на подоконнике сидевшего мужичка, закурил, молча дал закурить и тому. Терентий уж вклинился в толпу и вел разговоры, расспрашивал, сколько живет на селе народу, как дела разные идут, как совет работает, довольны ли советской властью,— словом с места в карьер.

Федор полон был рассказами Гриши. Перед ним стояла неотвязно, волновала, мучила и радовала сказочная фигура Чапаева, степного атамана.

«Это несомненный народный герой,— рассуждал он с собою,— герой из лагеря вольницы — Емельки Пугачева, Стеньки Разина, Ермака Тимофеевича... Те

в свое время свои дела делали, а этому другое время дано — он и дела творит не те. По рассказам Гриши можно заключить, что у него, у Чапаева, удаль и молодечество — главные в характере черты. Он больше именно *герой,* чем борец, больше страстный любитель приключений, чем сознательный революционер. В нем преобладают, по-видимому, и возбуждены до чрезмерности элементы беспокойства, жажды к смене впечатлений. Но какая это оригинальная личность на фоне крестьянского повстанчества, какая самобытная, яркая, колоритная фигура!»

Федор узнал от мужичков, где пройти к Парфенычу, и, когда Лопарь после разговоров с председателем совета повел компанию чаевничать, Федор с ними не пошел, объяснил свою охоту и направился по указанному адресу.

Часа через полтора уезжали из Ивантеевки. Федор сидел — молчалив и мрачен: Парфеныча не застал, тот уехал накануне в Пугачев. Андреев задал ему пару-другую вопросов, хотел вызвать на разговор, но, увидев, что не клеится ничего, умолк. Терентий с Лопарем сидели-сидели, надумали песни петь. Дуэт был примечательный: Лопарь не пел, а только всхрипывал, Терентий визжал дичайшей фистулой. Получалось нечто жуткое, путаное и резкое. Когда очень уж надоели, Андреев крикнул им из передней повозки, чтобы перестали выть. Ребята, видимо согласившись, смолкли. Продремали до самой Таволожки. А приехав, не стали ждать нисколько, заказали лошадей, тронули на Пугачев.

Уж при выезде из Таволожки мужики-возницы посматривали косо на черные сочные облака, дымившие по омраченному небу. Ветер дул резкий и неопределенный: он рвал без направленья, со всех сторон, словно атаковал невидного врага, кидался на него, как пес цепной, впивался, рвал остервенело, но каждый раз могучейшим пинком отшвыривался вспять. И снова кидался — и снова отскакивал, озленный, с визгом, с лаем, с гневным судорожным воем. По земле кружились, мчались и вертелись снежные вихрастые воронки: пути забило, наглухо запорошило снегом.

Опускались и быстро густели буранные сумерки. Все настойчивее, крепче и резче ударял по бокам стервенеющий ветер, все чернее небо, круче и быстрей взвиваются снежные хлопья, мечутся в вихре иглами, льдинками, комьями прямо в лицо.

Как в норы кроты — глубоко в тулупы зарылись седоки. Чуть выглядывают возницы. От встречного ветра заходится дыханье, жгучим морозом опаляет лицо. Долго ехали — и чем дальше, тем пуще, вольней размахивался бешеный степной буран. Когда дорога пошла лощиной, по оврагу, на высоком берегу которого тянулся тощий кустарник,— тут как будто стало потише; но лишь выбрались вновь на равнину — тут буран бушевал, как буйный хозяин в пьяном пиру: все, мол, мое, и что искалечу, за то ответ не держу! Хмельно, весело, грозно было в буранной степи.

До Пугачева оставалось верст десяток. Навстречу колыхались караваны верблюдов, попадались отдельные ездовые,— верно, многие из них не доехали в этот раз до родных халуп: то вовсе погибли, то пролежали ночь в снегу; этих отрыли только наутро и кое-как отходили от смерти.

«Такого бурана, — рассказывали степняки, — не было уж много лет. Не иначе,— говорили,— бог послал его в наказанье за холодные молитвы, за то, что храмы божии народ забвенью отдает».

Говорили,— но уж видно было, что слова эти — пустые слова, одна *фраза,* ходячая и обычная, говорят же ее мужички больше для христианской вежливости, а сами ни на грош не верят тому, что говорят.

От бурана и на станцию посбилось народу изрядно. Когда подъехали ездоки наши и снежными комьями вывалились из саней — тут уж не отсылали одного разведчика Лопаря, а направились кто к станционному начальству, кто к коменданту, а милого Терешу наладили по вьюжным путям искать составы, которые норовят идти на Уральск. Это «разделение труда» было вызвано тем, что за время езды до Самары ребята стократ убедились, как, сознательно и бессознательно, мастерски обманывают железнодорожные заправилы по части отправки поездов: если скажут, бывало, что

состав идет «через час»,— это уж, будь покоен, до завтрашнего дня не тронешься с места, а коли скажут «только наутро» — так и жди, что проскочит перед носом.

Долго ли, коротко ли искали,— наконец обрели вагонишко, в котором как раз до Уральска снарядилась группа политических работников. Дотолковались, изъяснились, вгрузились с вещишками. Но много еще пришлось помытариться, прежде чем добрались до Уральска: под Ершовом занесло пути,— вылезали, расчищали сугробы снегов, побранивались с комендантами, правдой и неправдой добывали дрова, согревали промерзлый гробик. Ползли медленно и тошно. Только что заехали за Ершов, случилось неладное с паровозом,— опять возня, опять высадка, долгое нервное ожидание. Потом с буксами не заладилось — и тут приостановка, опять заботы, хлопоты, подорожные ремонты, все новые-новые тревоги. От Пугачева до Уральска ехали целых два дня, а тут и пути-то — рукой подать!

III. Уральск

В Уральске со станции позвонили. От коменданта прислали двое розвальней, погрузились ребята со скарбишком, поехали в Центральную гостиницу. Холод в гостинице необычайный, в номерах и сыро, и грязно, и голо: не на что сесть, не на чем лечь, не знаешь, куда что положить. Кое-как, однако ж, приладились, осмотрелись, закрепили за собой номерок,— так вчетвером в одну комнату и вобрались: не хотелось дружкам разбиваться. После того как с морозу оглушили пару самоваров подряд,— бродили по городу, не знали, куда девать свободное время. Еще на станции узнали они, что Фрунзе утром уехал ближе к позиции — руководить открывшимся наступленьем. В это время ближние позиции находились от Уральска всего в двадцати верстах, и надо было торопиться отогнать неприятеля возможно дальше. Впрочем, эти первые

бои для нас не были особенно удачны, и отогнать казаков удалось не теперь, а только позже,— когда разработан был и более широкий и более осторожный план общего наступления разом с нескольких сторон: не только от Уральска, но еще и со стороны Александрова-Гая на станицу Сломихинскую и через нее вперерез большому пути — Уральск — Лбищенск — Гурьев,— пути, по которому должны были гнать казаков красные части, наступавшие с севера.

Но об этом потом, потом; всему свое время,— к страдному пути от Уральска на Гурьев придется вернуться не раз.

У друзей наших были особые привычки, даже как бы специальности. Например, Терентий Бочкин очень любил писать письма, и почти всегда в этих письмах преобладали у него сведения хозяйственного порядка: разузнает непременно — где, что и почем, все это запомнит, опишет, сравнит...

Клычков — этот вел исправно дневник. В любой обстановке и при любых условиях изловчался и записывал самое важное. Не в книжечку, так на листках, иной раз отмечая на ходу, пристроившись к забору,— но уж все занесет непременно. Приятели над ним обычно подсмеивались, не видя в том ни толку, ни проку.

— И чего ты, Федька, бумагу-то портишь? — скажет, бывало, Андреев.— Охота ж тебе каждую ересь писать? Да мало ли кто что сделал, кто сказал — разве все захватишь? А уж писать, так надо *все,* понял? Частицу писать не имеет смыслу, один даже вред получится, потому как в обман людей введешь...

— Нет, Андреич, ошибаешься,— разъяснял ему Федор.— Частицу я усмотрю, да другой, третий, десятый... сложишь их — и дело получится, история пойдет...

— Так ты ведь там, черт, выдумываешь поди разную дребедень... какая история? — сомневался Андреев.

— Я же знаю, что к чему,— упорствовал Федор,

испытывая острую неловкость от этого бесцеремонного напористого приставанья.

— Что ты знаешь? ничего не знаешь,— осаживал Андреев,— пустяками занимаешься.

Клычков на эту тему говорить не любил и, зная андреевскую несговорчивость, умолкал, на некоторые вопросы не отвечал вовсе и тем прекращал разговор.

Писал он в дневник свой обычно то, что никак не попадало на столбцы газет или отражалось там жалчайшим образом. Для чего писал — не знал и сам: так, по естественной какой-то, по органической потребности, не отдавая себе ясного отчета.

Специальность у Андреева была иная — распознавать все дела по рабочему фронту; сюда его тянуло так же, как Терентия к письму или Федора Клычкова к своему дневнику. Андреев, может быть, даже и против воли, инстинктом, всем, с кем заново и в новом месте толковал, начинал задавать совершенно особые вопросы: есть ли фабрики, давно ли построены, хорошо ли работают, почему и давно ли остановились, сколько рабочих, каковы качеством, сознательны ли, чем, когда и как себя проявили и т. д. и т. д. Так и видно было рабочего, которого тянет в родную среду, к родным вопросам, нуждам и заботам. Он интересовался также общим положением, главным образом — богатством местности, населением, его составом и степенью надежности; впрочем, этими вопросами едва ли не в равной мере интересовались все четверо.

Лопарь был *спецом* по военным делам,— моментально распознавал, что за воинские части стоят поблизости, какие полки лучше, какие — хуже, что делается по политической работе с красноармейцами, много ли коммунистов, как они себя ведут, что вообще за положение на фронте и т. д. и т. д.

Эти специальности определились отчасти уже и в пути, но главным образом — позже, когда все четверо втянулись в настоящую работу. У одних поле наблюдений сузилось, как, например, у Андреева (рабочие центры попадались не часто), у других, как у Лопаря, расширилось; но с этих же первых дней всем было

видно одно: военные дела и интересы захватывали полней и полней, все решительней отодвигали на задний план всякую иную жизнь и иные интересы, пока их не поглотили целиком.

Исколесили город вдоль и поперек. Обстановка новая, удивительная, совершенно особенная. Только и видны серые солдатские шинели, винтовки, штыки, пушки, военные повозки,— настоящий вооруженный лагерь. По улицам проходят красноармейцы колоннами, проходят, суетятся одиночками, скачут кавалеристы, катятся медленно орудия, величественно проплывают к позициям навьюченные караваны верблюдов. Кругом пальба неумолчная, ненужная, разгульная, чуть-чуть притихающая к ночи: одни «прочищают дуло», другие стреляют «дичь», у третьих «сорвалось случайно». Один военный специалист, высчитывая по секундам и минутам среднее количество этих шальных выстрелов, определил, что понапрасну в день растрачивается глупой этой стрельбой от двух до трех миллионов патронов. Верен ли расчет — сказать трудно, но стрельба была воистину бессовестная. Тогда еще не было в тех, в степных войсках, о которых идет речь, сознательной, железной дисциплины, не было кадров сознательных большевиков по полкам, способных сразу полки эти преобразить, дать им новый облик, новую форму, новый тон. Это пришло потом, а в начале 1919 года под Уральском бились — и лихо бились, отлично, геройски бились — почти сплошь крестьянские полки, где или не было вовсе коммунистов, или было очень мало, да и то из них половина «липовых». В этих полках имела успех агитация, будто коммунисты — жандармы и насильники, будто пришли они из города насильно вводить свою «коммунию»...

Нередко в полках и так говорили, что «большевики-де — это товарищи и братья, а вот коммунисты — лютые враги»... Через два дня по приезде Клычкову пришлось даже публично кроить доклад на эту нелепейшую тему: «Какая разница между большевиками и коммунистами».

Впрочем, уж очень-то удивляться не стоит, ибо тема о большевиках и коммунистах обскочила едва ли не всю республику, особенно же остро она «дебатировалась» по окраинам: на Кавказе, на Украине, на Урале, в Туркестане и попала даже в Грузию.

Насколько сложное было тогда положенье в полках, можно судить уже по одному тому, что благороднейший из революционеров, умный и тактичный Линдов, а с ним и целая артель большевиков — пали от руки своих же «красноармейцев».

Когда через несколько дней прибыл в Уральск иваново-вознесенский отряд в своих типичных «варяжских» шлемах с огромными красными звездами во лбу, когда он взял охрану города, по ткачам из-за углов открывалась хищная пальба: стреляли красноармейцы «вольных» крестьянских полков, у которых приехавшие ткачи отнимали и урезывали их бесшабашную «волю». Впрочем, уж очень скоро, как только эти полки увидели, на что способны ткачи в бою, как они стойко и мужественно бьются,— предубеждение разом пропало, выросли иные, дружеские отношенья.

В самом Уральске коммунистов было немного: одни погибли в боях, других увели казаки, часть была еще раньше разогнана и распугана, часть осталась в строю. Работу больше вели приезжие большевики. Центральной фигурой был горняк рабочий по кличке «Фугас» — благороднейшая личность, любимый товарищ, испытанный боец [1]. В противоположность ему и всегда вместе с ним состязался и упоминался некто Пулеметкин, паршивенький интеллигентик, политический франт и позер, тоже коммунист, но из тех, которые по личной линии заслуживают искреннюю, острую неприязнь. Пулеметкин обнажался как честолюбивый бахвалишка, пустомеля и фразер, выскакивающий всюду напоказ и стремящийся у всех завоевать популярность. Приезжая четверка раскусила живо «группи-

[1] У живых — имена чужие, у погибших — свои. (Здесь и далее примечания автора.— *Ред.*)

ровки» около Пулеметкина и Фугаса, примкнула к Фугасу и через несколько дней тесно с ним подружила.

Когда, утомленные ходьбой, воротились теперь в свою нетопленную каморку и Терентий наполовину закончил традиционное письмо, сообщив, что «солянка с хлебом 5 рублей... черная икра за фунт 23...» — из штаба прислали вестового, сообщили, что Фрунзе воротился. Ребята мигом на ноги и айда. Пришли, но и тут все странно, все по-новому, необычайно: их даже не пропустили сразу, а пошли доложить. Кому? Михаилу Васильевичу, с которым они так коротко знакомы, с которым работали так тесно, так просто, по-товарищески обвыкли. Да не сон ли это? Какой черт сон: перед носом часовой стоит со штыком! Он смотрит вовсе не дружелюбно на приехавших молодцов, что пытались так бесцеремонно и самоуверенно проломиться в двери к командующему. Потолкались минутку в коридоре, чувствовали себя неловко, старались не смотреть один другому в глаза.

— Проходите,— позвал кто-то.

Вошли. Встреча была радушнейшая, простецкая, задушевно-товарищеская. Они почувствовали, что перед ними все тот же простой, доступный, всегда такой милый товарищ. Понемногу оправились от первой неловкости, а тут опять — новости. Около Фрунзе сидят военспецы — не какие-нибудь там «окунишки», а «лещи» настоящие: полковники бывшие, генералы... И все-то они норовят сказать ему «так точно» да «никак нет», все-то изгибаются, ловят на лету слова. Ребята понимают, что «дисциплина», что по-иному, быть может, и нельзя, но сами в тон попасть никак не могут: командующего чуть не «Мишей» зовут, не в лад с ним речи ведут, будто где-то у себя в партийном комитете... Полковники слушают недоуменно, смотрят растерянно, неловко улыбаются и настораживаются еще больше, как бы за компанию с приехавшими хлопцами самим не сорваться с нарезу, не нарушить субординацию. Так тут два лагеря и осталось до конца беседы: в одном — приехавшие хлопцы, а в другом — военные спецы. Фрунзе сообщил, какая обстановка сложилась на

фронте, чего можно ждать, что целесообразней теперь предпринять на близкое время. Ребята добродушно хлопали ушами, тщетно силились упомнить все, понять и представить пояснее: ничего не получалось. Во-первых, не знали карты, и потому станицы и укрепленные пункты были для них пустым звуком; с другой стороны, понятия вроде «стратегия», «тактика», «маневренность» и прочие — усваивались только в общем, а ясно не укладывались в сознании.

Скоро спецы ушли, осталась свойская компания. Тут «музыка пошла не та»: планы расшифровывались подробно и откровенно. Федор посматривал сбоку на Фрунзе и недоумевал,— откуда у него эта ясность понимания в военном деле, отчего он так верно все схватывает и ни перед какими вопросами не встает в тупик? Ему все понятно, он тут совершенно легко разбирается, все учитывает, предвидит,— что за черт! А ведь давно ли был гражданской *шляпой?* Уже в те дни, на первых порах командования Фрунзе сказались в нем четко эти особенности, его характерные черты: легкость, быстрота, полнота и ясность понимания, способность к своевременному и тщательному анализу и всестороннему учету, уверенный подход к решению задачи и вера, колоссальная вера в успех, вера не пустая — обоснованная.

Сидели — гуторили. Вспомянули родной Иваново-Вознесенск, общих товарищей, недавнюю работу. Разошлись только за полночь, а наутро Фрунзе срочно выехал в Самару, сказав, что назначенья пришлет оттуда, а до получения, дескать, придется побыть здесь, в Уральске, поработать в комитете партии. Эта случайная партийная работа заняла целых восемь дней, пока всех четверых не распределили по армии.

Меж собой толковали:

— Поизменился... Михайла-то Васильич...

— Надо бы... Работищи-то — пропасть...

— И пожелтел, осунулся, сердешный...

— Прозеленеешь, не то что... Вон они, части-то здесь — орава буйная, мало ли возни с ними будет?

Приказали, говорят, уж не впервой окончить пальбу, а что вышло, ну-ка, послушай!

И ухом припали к окнам: за окнами ухала и звенела бесшабашная стрельба.

— Анархия, черт ее дери! — буркнул сердито Андреев, потом помолчал и уверенно, спокойно пробасил: — Не то ломали — все перекроим...

Подступили торжества 23 февраля — годовщина Красной Армии. Шевеление началось, как это водится, издавна, а работа, действительная организация праздника проведена была и оформлена за три-четыре последних дня. Дотошному Лопарю уж на другой день по приезде было известно, что партийная организация из рук вон слаба, что с празднеством возиться, в сущности, некому, и оно, пожалуй, прогорит, если не вмешаться кому-то активно, не взять дело в одни, в верные руки. Ревком сообщил Лопарю, что делом ведает партийный комитет; а пришел туда — отсылают обратно в ревком, ссылаются на какую-то несуществующую комиссию. По настоянию Лопаря, быстро назначили собрание, пригласили рабочих представителей, но от ревкома опять-таки не явился никто. Лопарь решил действовать на свой страх и риск, объявил собрание действительным и правомочным, сообщил коротко о предстоящем торжестве и о невозможности дальнейшего промедленья с его организацией, предложил избрать деловой исполнительный орган. В этот орган его избрали председателем, Андреева — секретарем. Дело стронулось с мертвой точки. Город разбили на районы, определили места, где будут собранья, открытые массовые митинги, лекции на тему дня, кто и где будет выступать, как использовать театр, кинематограф, оркестры... Снеслись с профессиональными союзами, вызвали оттуда рабочих, работниц,— одним поручили возиться с устройством трибун, других притянули к работе по листовкам, плакатам, очередному номеру «Яицкой правды»; женщинам-работницам вверили детей, которым предполагалось в этот день улучшенное питание, театры,

кинематографы. В три дня все было готово. 23-го ранним утром на главную площадь стягивались со всех концов колонны рабочих — они собирались по профсоюзам. Они выстраивались рядами около трибун, в середину пропустили воинские части, к тому дню слегка подчищенные и пододетые. Площадь полна народу. Речи... все речи и речи. Лучше всех, ближе и искренней принимают рабочие и бойцы простую, умную, краткую речь Фугаса. А за Фугасом, как водится, выскочил Пулеметкин и стал бестолково мять и жевать всем надоевшие и всем знакомые истины про «гидру контрреволюции»... Он мог болтать сколько угодно, если не оборвать, не одернуть... Проходит десять... двадцать... тридцать... минут,— Пулеметкин все молотит. Его уже дергали дважды за полу — не помогает. Надоел смертельно. А день морозный, красноармейцы давно переминаются с ноги на ногу... Замерзли... Терпеть дальше нет возможности. Лопарь Пулеметкину сзади внушительно и явственно отчеканил:

— Если не перестанете сию же минуту,— я закричу «ура». Поняли?

Пулеметкин быстро оглянулся, блеснул водянистыми злыми глазами и, увидев решительное выражение на лице Лопаря, понял, что тот не шутит,— закончил торопливо, слез с трибуны, пропал в толпу. Речи — как речи... Такие речи в тот день говорились по всей Советской России... Вечер — как вечер... И вечера были, верно, по-одинаковому: с лекциями, спектаклями, сеансами...

От площади — по городу с красными знаменами, с революционными песнями. Пришли на могилу павших воинов,— и здесь стояла тоже трибуна: с трибуны говорили Фугас и Лопарь. Порывавшегося выступить Пулеметкина своевременно задержали и выступать ему не дали. Когда Лопарь вспомнил про товарищей, покоившихся в братской могиле, объяснил, за какое они дело погибли и как должны мы чтить их священную память, в ответ на его пламенные, полные свежести и силы слова — глубокое, сосредоточенное, долгое молчанье. И вдруг — выстрел. Этот одинокий и, может быть, совершенно случай-

ный выстрел — словно сигнал: сколько тут было частей — радостно все открыли «огонь по богу». Стрельба поднялась оглушительная, беспорядочная,— это вовсе не был торжественный салют. При желании, в такой сумятице легко было «снять» какому-нибудь белогвардейцу стоявших на трибуне большевиков: этого в горячке никто бы не заметил и не распознал. А вниз спускаться — постыдно; так и простояли на вышке, пока не расстреляли красноармейцы свои патроны. Лопарь стоял бледный, как лунная тень,— в эти несколько минут он испытал могильный ужас. Никогда, никогда потом, даже в самой страшной боевой кутерьме не испытывал он этого смутного, скоблящего, раздражающего трепета, в котором дрогло беспомощное тело. Нет хуже состояния, когда чувствуешь себя беспомощным, во власти слепых случайностей!

По Уральску день Красной Армии прошел, пожалуй что, и сносно, а как он прошел по области — кто его знает: директив дать туда путем не успели, только напомнили в общем, что̀ следует делать. На фронт еще накануне выехали Бочкин с Федором Клычковым; они прихватили что можно было из литературы: юбилейный номер «Яицкой правды», воззваньица, разные листовки. Воротились только глубокой ночью, разбудили спящих приятелей и с жаром рассказывали недоумевающим полусонным Андрееву и Лопарю, как прекрасно встретили их на «передовых позициях» (это произносилось с гордостью неимоверной!!), как бойцы благодарны были за подарки, за память о себе, как слушали речи, просили приезжать снова! Сонные друзья отзывались тупо на эту восторженную речь. Андреев чертыхнулся спросонья и объявил, что ему надоели смертельно эти «охотничьи басни». Разговор явно не клеился. Вскоре, за недостатком слушателей, рассказчикам пришлось умолкнуть, как ни велика было охота рассказать до «мельчайших подробностей» про свою красочную поездку на самые что ни есть «передовые позиции». Этим закончился для наших приятелей день Красной Армии.

В один из ближайших вечеров, после обеда, когда все четверо были в сборе, принесли телеграмму: Лопарю и Бочкину наутро ехать в бригаду!

Кончено! Приступила пора расставаться!

У всех состояние было особенное, прощальное, полное неожиданных мыслей и чувств. И ничего не было удивительного в том, что ехать наутро, а двоим, может быть,— вслед за ними... Они же этого только и ждали! И все-таки были настроены все четверо по-особенному. У Лопаря и Терентия вдруг проявилась небывалая воинственность, словно они только и знали до сих пор, что воевали... Андреев был мрачнее обыкновенного, Федор сосредоточенно молчал и с улыбкой слушал нервно-восторженные повествования отъезжающих товарищей.

Утром в саночки посадили Терентия с Лопарем, простились, расцеловались,— уехали дружки. А тут пришла и другая телеграмма: Андрееву оставаться на месте, работать комиссаром тут же, в дивизии; Федору Клычкову ехать в Александров-Гай, наладить там политическую работу в организующейся группе, начальником которой назначается Чапаев.

Как прочитал, так и обмер Федор, не поверил даже сразу. Перечитал во второй и третий раз,— сомнений нет никаких:

Чапаев...

Ударило вдруг в виски, задрожала толчками кровь, он сразу слова не мог сказать от волненья.

«С таким героем... с Чапаевым плечом к плечу... как это удивительно все сложилось... Что-то выходит диковинное: то я мечтал о Чапаеве как о легендарной личности, то вдруг с ним вместе, совсем рядом, запросто, как теперь вот с Андреевым... Может быть, даже и близко подойдем друг к другу, товарищами станем?.. Ух, интересно, черт возьми,— вот сложилось!»

С того момента Федор полон был одною только мыслью, одним только страстным желанием — скорее увидеть Чапаева. И о чем бы ни заговаривал — сво-

дил к Чапаеву все разговоры. По телеграмме можно было понять, что теперь Чапаева в Александровом-Гаю нет, он туда только собирается ехать, но — все равно, все равно... В Александров-Гай надо спешить немедленно! И Федор не стал дожидаться следующего дня, собрался часа через три. С Андреевым простились по-приятельски, сердечно и просто. Федор уехал, Андреев остался в Уральске один.

IV. Александров-Гай

Федору наговорили, что поездом докатят его к Алгаю (так коротко звали Александров-Гай) чуть ли не на следующий день. А потом оказалось, что в Ершове, Урбахе и Красном Куту — пересадки. Три пересадки — шутка сказать! Кто езжал в 1919 году по железным дорогам, тот поверит, что выдержать в пути три пересадки — дело мучительное и вовсе не легкое. По приблизительным подсчетам, подгоняя к средней норме, Федор установил, что поездка эта отнимет недели полторы. Поэтому передумал, слез в Дергачах, взял лошадей и тронул на перекладных: тут напрямик до Александрова-Гая полтораста верст.

И снова степь, просторы, голубые горизонты, беспредельные простыни снега... Кой-где уж появились проталины — чернеют бугорки обнаженной земли. Если нет большого ветра, днем солнце, тепло: значит, скоро весна закружит хороводами. По степи села здесь редки: двадцать пять — тридцать верст одно от другого; живут они сытой, замкнутой жизнью; тут и невест по другим селам мало отдают,— обходятся восвояси, всех и на всех хватает вволю. Каждое село — будто небольшая республика: чувствует себя независимо, ни в ком и ни в чем не нуждается, имеет большую склонность к самостийности. Эти большие села, что приходится проезжать до Алгая, сыграли огромную роль в истории гражданской войны уральских степей: Осинов-Гай, Орлов-Гай, Курилово... Эти села

дали не только отдельных добровольцев,— они дали готовые красные полки. Верно, что из этих же сел немало кулачья ушло и к белым; но остается несомненным, что перевес был всегда на красной стороне. Когда в Курилово ворвалась в 1918 году казара и, по указанию местных кулаков, начала выхватывать советских работников,— поднялась вся огромная трудовая сельская масса, вооружилась кто чем попало, перебила казаков, остатки выгнала вон и тогда же порешила создать свой особый полк: он был назван Куриловским. Примерно в подобной же обстановке созданы были и другие местные полки: Домашкинский, Пугачевский, Стеньки Разина, Новоузенский, Малоузенский, Краснокутский. Они создавались первоначально для того, чтобы охранять и защищать свои родные села; бойцами и командирами (комиссаров первоначально не было) являлись все свои же односельчане. Спайка была, разумеется, несравненная: тут люди знали друг друга десятки лет, часто были давними товарищами, многих связывали и родственные отношения,— в Куриловском полку служили, например, отец с пятью сыновьями. Бывали, положим, и такие явления, что некогда близкие дружки вдруг разделялись,— один убегал с белыми, другой вступал красноармейцем в родной полк; бывали случаи и еще более разительные, когда члены одной и той же семьи раскалывались на две половины: одна к белым, другая к красным.

Все эти местные полки, созданные для обороны своих сел, скоро вынуждены были ходом событий оставить родные места, уйти глубоко в уральские степи, оттуда на Колчака, от Колчака — снова в степи, и из степей — на панский польский фронт.

В ряду других заслуженным, геройским полком считался мусульманский, насчитывавший четырнадцать национальностей; преобладали в этом полку киргизы, доселе безжалостно и бессовестно эксплуатировавшиеся зажиточным тунеядным казачеством, к которому питали неукротимую, жестокую ненависть. Добровольческие полки эти творили поистине героические дела: без снарядов, без патронов, скверно и

недостаточно вооруженные, раздетые, необутые — они долго держались, стойко и храбро сражались, многократно и успешно били поднявшееся против советской власти уральское казачество. В отношении боевом они стояли неизменно высоко от начала до конца; в отношении политическом они созрели не сразу и не сразу охватили и уяснили причины и масштаб развернувшейся социальной борьбы; слабая дисциплина, своеобразное понятие о «воле», длительная борьба за выборность комсостава, неясное и неточное понимание задач и директив, поступавших из центра,— все эти признаки еще долго-долго отличали от полков центральной России эти молодецкие добровольческие, сплошь крестьянские полки.

Александров-Гай мало чем отличается от других «гаев» — Орлова-Гая, Осинова-Гая да, пожалуй, и всех степных селений, близко похожих одно на другое: село разбросанное, просторное, в центре грязное, на окраинах непролазное. В те времена Александров-Гай был из ряду вон оживленным пунктом: здесь стояли штаб бригады, политический отдел, различные команды, боевые части. На Шильную Балку, на Бай-Турган и Порт-Артур, на Уральск — во все стороны шло оживленное движение, поддерживалась связь то с воинскими частями, то с руководящими центрами; непрестанно двигались повозки, уезжали и приезжали новые люди; куда-то спешили непоседливые кавалеристы, проползали на крестьянских подводах и качались на гордых верблюдах целые воинские караваны, увозили, привозили, разгружали, нагружали,— всюду била жизнь: так она, верно, ни до того, ни после не била в Александровом-Гаю. Местная «интеллигенция» у площади и по главной улице каждый вечер устраивала гулянья наподобие ярмарочных, и тут, разумеется, не дремали красноармейцы, очаровавшие к тому времени добрую половину алгайского женперсонала...

Политический отдел бригады время от времени организовывал митинги как для красноармейцев, так и смешанные. На этих митингах освещался главным образом стереотипный «текущий момент». Жителей

втянуть в политическую жизнь, разумеется, было потруднее, чем красноармейцев,— эти шли охотно, слушали внимательно, просили созывать их чаще, рассказывать больше и подробнее. Желание отличное, но осуществлять его приходилось не всегда и не только по недостатку политических сил,— нет, сил для тех мест и времен, пожалуй, было и достаточно,— часто созывать на митинги и собрания не позволяла военная обстановка: кругом казаки, налететь могут внезапно, застигнув в сборе массу невооруженных бойцов, могут наделать немало бед.

Во главе политического отдела стоял тогда петербургский рабочий, Николай Николаевич Ежиков, человек еще совсем молодой, лет двадцати двух, но зрелый, умный и серьезный. Ежиков был в то время и комиссаром бригады. В селе не только командный состав и красноармейцы, но и жители относились к Николаю Николаевичу с величайшим уважением. Его любили за простую, умную, ласковую речь, за то, что обещаний зря не давал, а раз сказавши, обещанное выполнял, за то, что в селе не было никаких беспорядков, и это по праву приписывалось его моральному воздействию на красноармейцев. А бойцы любили его — и всего больше любили за то, что в походах он был всегда с ними, в боях сам он лежал и бежал в цепи, держался как равный товарищ.

Надо сказать, что в те времена — в самом начале 1919 года — вообще в Красной Армии не была еще развернута как следует политическая работа. Формы и методы ее были неясны, и многие из политработников, особенно же из младших комиссаров, были попросту наиболее сознательными бойцами, которые личным примером показывали, как надо воину Красной Армии терпеть голодуху, стужу без обуви и одежи, как надо выносить трудности и лишенья изнурительных походов, как надо сражаться отважно, а при случае — спокойно, честно умирать. Непрерывные бои не давали возможности неделями и даже целыми месяцами повести хотя бы сколько-нибудь сосредоточенную и систематическую работу. Ограничивались случайными «политналетами», а *настоящую* политическую

работу откладывали до более удобного времени. Под Александровым-Гаем обстановка была не хуже, не лучше, чем в других местах; резервы были крошечные, стояли они на отдыхе неподолгу, а главная масса бойцов неотлучно была на линии огня. Работники политического отдела, кроме тех, что вели «сидячую» работу, то и дело выезжали из политотдела на позицию, отвозили туда литературу, новые распоряжения, инструкции и руководства, сносились там с комиссарами, партийными ячейками, инструктировали тех и других; если удавалось, вели работу и среди красноармейцев, а если подходила нужда,— оставив свои инструкции, брали винтовку и шли в бой. Как раз в те дни, в самом начале марта, трое из сотрудников бригадного политотдела погибли в неравном бою, отступая по лощине с горстью красноармейцев под напором огромной лавины казаков.

Авторитет политических работников в крестьянских полках держался исключительно как авторитет отличных, мужественных и честных воинов Красной Армии. Николай Николаевич в этом отношении почитался чрезвычайно, и среди бойцов его все время ставили лучшим примером.

К началу марта позиции находились около Порт-Артура — крошечного и вдребезги разбитого поселка, стоявшего на дороге к станице Сломихинской (от Алгая на несколько десятков верст); через эту станицу можно было выйти к большому пути — Уральск — Лбищенск — Сахарная — Гурьев. Армия, центр которой был в Уральске, предполагала на ближайшее время открыть общее наступление и путем комбинированных действий отогнать сначала казаков от Уральска возможно дальше, а потом и вовсе уничтожить белую казацкую армию. Со стороны Александрова-Гая удар должен был направиться на станицу Сломихинскую, и в дальнейшем наступление следовало развить через Чижинские болота, выходя на большой Уральско-Гурьевский тракт. Этим маневром перерезался путь казачьим частям, отступающим под

натиском красных войск со стороны Уральска. День наступления был близок. Алгайская бригада готовилась с лихорадочной поспешностью.

Как только приехал в станицу, Федор направился к политотделу. Там провели его к Николаю Николаевичу. Закутанный в черную глухую шубу, с мохнатейшей папахой на голове, в валенках, он сидел в пустом, высоком, совершенно нетопленном кабинете. Сидел один и красными, от холода дрожащими пальцами рылся в ворохе бумаг, лежавших на столе.

Убранство в кабинете убогое: стол да стул — больше ничего. А на столе — огрызок дрянного грошового карандаша, лампадка с подозрительной грязнотцой, видимо — чернила, измызганная ручка, похожая скорей на восковую свечу, самодельный пресс-папье, две политических книжки, какой-то «деловой» журнал и целый ворох, беспорядочная рыхлая куча разнокалиберных бумаг. Поздоровались, познакомились. Федор показал ему телеграмму, в которой Фрунзе говорил, что «тов. Клычков направляется для ведения политической работы в александрово-гайской группе». (Бригада развертывалась в группу, придавались новые части.)

Ежиков посмотрел на бумажку как-то рассеянно и возвратил ее молча Федору. А потом неожиданно:

— Пойдемте-ка,— говорит,— я вас устрою. Чаю, што ли, напьетесь, да и отдохнете с дороги-то.

Федору хотелось теперь же повести с Ежиковым деловой разговор, выяснить общее военное положение, состояние политической работы, перспективы, принятые меры, возможности,— словом, с места в карьер. Но Ежиков так его быстро и заботливо препроводил к себе на квартиру, так охотно раздобыл кипятку и хлеба, что деловой разговор пока что пришлось отложить. Комнату занимал он в огромной пустующей квартире; посередине зал, с боков комнатушки; в одну из них поместился и Федор. В зале стоял рояль, и Ежиков, лишь только усадил Федора за стол, подошел и одну за другой стал плохонько наигры-

вать революционные песни. В комнате было холодно и гулко.

Мало-помалу завязался разговор. Федор смотрел на моложавое бледное и суровое лицо Николая Николаевича, любовался им и чувствовал неизъяснимую радость от сознания, что такой хороший парень руководит здесь политической работой. Как это обычно случается, они в течение одного часа успели друг другу сообщить свои биографии, историю и обстановку своей минувшей партийной работы, как угодили на фронт и чего ожидают в близком будущем. Разговор как будто развивался вполне нормально, а Федору все казалось, что Ежиков не то куда-нибудь торопится, не то нервничает, не то обижен чем-то и недоволен. По лицу было видно, что это прямой, открытый и простой человек, а тут он и в глаза-то Федору ни разу не посмотрел прямо,— все мигает да смотрит в землю, потирает руки, не сидит на одном месте, то и дело вскакивает, посмеивается искусственно и неискренне, слишком предупредительно и поспешно со всем соглашается...

«Что за черт, в чем тут дело?» — задавал себе Федор вопрос и не знал, как ответить, как понять Ежикова.

Пришли в политотдел, в холодный кабинет, и здесь разговор сам собою принял почти официальное направление. Ежиков сам говорил мало и ни о чем не рассказывал, а только выслушивал Федоровы вопросы и коротко на них отвечал — неохотно, сухо, как будто даже пренебрежительно. Когда входил кто-нибудь из сотрудников, Ежиков встречал его обрадованно и затевал разговор бесконечно длинный и, по всей видимости, совершенно ненужный. Если бы в Ежикове вообще можно было предположить болтуна — чему ж тут было бы и удивляться? Но Федор правильно определил, что тот — даже вовсе наоборот — скуп на разговоры и особенно в деловой обстановке: тут он или отдает распоряжения, или осведомляет и объясняет лишь настолько, насколько требует само дело. Поэтому искусственная болтливость Николая Николаевича опять-таки показалась Клычкову ненормальной, и сно-

ва удивился он, почему бы это отвлекаться Ежикову от разговоров с ним, Федором, и так радоваться первому входящему сотруднику?

Из коротких ответов можно было заключить, что партийные ячейки всюду существуют; товарищеские суды работают отлично; литература есть; лекции, собрания и митинги проводятся регулярно и успешно и т. д. и т. д., — одним словом, дело поставлено образцово, и Федору «ставить и развивать» работу, пожалуй что, и не придется, поскольку он приехал ко всему готовому...

Признаться откровенно, Федор и сам чувствовал себя довольно затруднительно, приступая к новому виду работы. Он до сих пор на фронте не бывал, ничего здесь не знал и поэтому «учить» Ежикова не мог, да и приехал он с самым искренним желанием работать — *не командовать, а работать:* вопрос о субординации вовсе его не занимал. С первой же беседы он об этом откровенно сообщил Николаю Николаевичу и по глухому мычанию того не разобрал, хорошо или дурно принял он его откровенность. Беседуя теперь в кабинете и получая скупые, выдавленные ответы, Клычков решил действовать сугубо осторожно и тактично, ибо заподозрил, что тот обижен его назначением, которое ставило Ежикова в подчиненное положение и сводило с пьедестала, на котором он укрепился как в бригаде, так и в самом Алгае. До сих пор он был *единственным* авторитетным политическим центром: к нему сходились все нити, у него все и всегда искали ответа — только у него одного, больше ни у кого. А тут вдруг приехал этот Клычков — политический голова целой группы, в которую бригада входила лишь как часть... Баста! Пьедестал может покачнуться. Клычков Ежикова может понемногу затемнить и оттеснить с господствующей позиции,— вот сомнения, которые, по мысли Федора, должны были волновать Николая Николаевича, вот причины, по которым он с нескрываемым недружелюбием стал относиться к Федору уже через полтора часа после их знакомства...

Насторожился Клычков, не стал дальше расспра-

шивать и чутьем организатора понял, что ему надо делать.

Во-первых, он решил ознакомиться фактически, по документам и отчетам, с работой в бригаде, если не через Ежикова, то через его помощников и сотрудников, добывая от них официальные отчеты и всякие сведения.

Во вторую очередь он решил настоять на созыве небольших совещаний-конференций партийных ячеек, культкомиссий, контрхозкомиссий, собраний военкомов и т. д. Это поможет ему сразу многое увидеть и понять.

Дальше он собрался объехать части и посмотреть там доподлинную постановку работы и, наконец, в предстоящих боях хотел участвовать лично в качестве рядового бойца и тем заслужить себе имя хорошего товарища и храброго человека. Это обстоятельство могло иметь влияние на успех или неуспех всей его дальнейшей политической работы.

Ближайшие несколько дней, вплоть до наступления, Федор осуществлял настойчиво поставленные перед собою задачи. Он уже неоднократно беседовал и в организационном, и в культурно-просветительном, и в информационном отделениях, но всюду встречал тот же предубежденный и недружелюбный прием: влияние Ежикова чувствовалось всюду. С большим трудом удалось ему все-таки получить довольно подробный отчет о состоянии работы в целом. Доклад изобиловал общими местами,— с этим недостатком десятки, сотни раз встречался Федор и впоследствии, когда принял еще более широкую политическую работу. Как водится, изложение начинается с «Адама», затем идут указания на первоначальное «хаотическое состояние», дальше разъясняется, что «работа налаживается», но в некоторых своих частях еще «не на должной высоте»; заканчивается доклад указанием на обилие принятых «плодотворных мероприятий», которые, безусловно, упразднят все существующие недочеты.

В общем, между гордых слов можно было рас-

смотреть, что по полкам довольно исправно и усердно развозятся книжки и создаются библиотечки; школы грамоты вовсе прекратили свою деятельность из-за боевых операций, а когда они работали, то посещались слабо; всякие комиссии как будто существуют формально и организованы всюду, но точных сведений о работе их нет; митинги проводятся, но редко, зато вот спектакли любительскими кружками ставятся часто и посещаются охотно. В этом же роде весь доклад. Кое-какое представление о работе, конечно, давала и эта сухонькая реляция, однако же главные надежды Федор возлагал теперь на личный объезд частей и непосредственное ознакомление с работой на местах.

Попытался он созвать некоторых комиссаров,— предубежденное отношение встретил и здесь; назначил собрание представителей ячеек,— оно и вовсе не состоялось; назначил митинг, но политотдел оповестил худо, и собралась совершенно случайная публика, человек пятьдесят — шестьдесят. Дело не клеилось. Долго продолжаться таким образом не могло. Федор ожидал только приезда Чапаева: этот приезд, верил он, разрубит гордиев узел, разъяснит всю неясность создавшегося положения.

Послезавтра — наступление. Отчего же нет до сих пор Чапаева? Федор послал запрос в армию, но ответа не получил. Завтра выступят на Казачью Таловку, к Порт-Артуру, последние части: до момента наступления они будут в исходных пунктах.

В штабе назначено последнее заседание,— окончательно обсуждается разработанный детально план наступления. Поведено оно будет одновременно с трех пунктов; рассчитано не столько на внезапность, сколько на общую свою организованность и преобладание нашей техники, главным образом — пулеметов. Федор, тогда еще слабо разбиравшийся в военных вопросах, внимательно вслушивался во все, что на этом военном совете говорилось, но сам в обсуждение и споры не вступал, только посматривал в лицо одному, другому, третьему «спецу» и думал:

«А этот — неужто предатель? И неужели весь этот пафос — одна только фикция, видимость, втирание очков нашему брату? А назавтра, лишь только все будет готово, неужто обернутся они из друзей врагами?»

И особенно пристально, с притихшим дыханьем, всматривался он в лицо полковника, командира бригады.

«Неужели?»

Но лицо у комбрига было из тех, что не внушают опасений,— сразу к себе располагает, заставляет верить.

«А все-таки ты, комиссар, будь начеку!»

Заседание «совета» окончено. Все уходили из штаба.

Весь этот день и целый вечер один за другим транспорт за транспортом, караван за караваном уходили на Казачью Таловку. Пустел Александров-Гай. Назавтра уйдут последние: он останется осиротелый и беззащитный.

V. *Чапаев*

Рано утром, часов в пять-шесть, кто-то твердо постучал Федору в дверь. Отворил — стоит незнакомый человек.

— Здравствуйте. Я — Чапаев!

Пропали остатки дремоты, словно кто ударил и мигом отрезвил от сна. Федор быстро взглянул ему в лицо, протянул руку как-то слишком торопливо, старался остаться спокойным.

— Клычков. Давно приехали?

— Только со станции... Там мои ребята... Я лошадей послал...

Федор быстро-быстро обшаривал его пронизывающим взглядом: хотелось поскорее рассмотреть, увидеть в нем все и все понять. Так темной ночью, на фронте, шарит охочий сыщик-прожектор, торопясь вонзиться в каждую щелку, выгнать мрак из углов, обнажить стыдливую наготу земли.

«Обыкновенный человечек, сухощавый, среднего роста, видимо, небольшой силы, с тонкими, почти жен-

скими руками; жидкие темно-русые волосы прилипли косичками ко лбу; короткий нервный, тонкий нос, тонкие брови в цепочку, тонкие губы, блестящие чистые зубы, бритый начисто подбородок, пышные фельдфебельские усы. Глаза... светло-синие, почти зеленые — быстрые, умные, немигающие. Лицо матовое, свежее, чистое, без прыщиков, без морщин. Одет в защитного цвета френч, синие брюки, на ногах оленьи сапоги. Шапку с красным околышем держит в руке, на плечах ремни, сбоку револьвер. Серебряная шашка вместе с зеленой поддевкой брошена на сундук...» — так записывал вечером Федор про Чапаева.

Известное дело — с дороги надо бы чаю напиться, а он чай пить не стал, разговаривал стоя, вестового отослал к командиру бригады, чтобы тот пришел в штаб, куда придет вослед и он, Чапаев. Скоро шумною ватагой ввалились приехавшие с ним ребята: закидали все углы вещами; на столы, на стулья, на подоконники побросали шапки, перчатки, ремни, разложили револьверы, иные сняли бутылочные белые бомбы и небрежно сунули их тут же, среди жухлых шапок и рукавиц. Загорелые, суровые, мужественные лица; грубые, густые голоса; угловатые, неотесанные движения и речь, скроенная нескладно, случайно, зато сильно и убедительно. У иных манера говорить была настолько странная, что можно было думать, будто они все время бранятся: отрывисто и резко о чем-то спрашивают, так же резко и будто зло отвечают; вещи летят швырком... От разговоров и споров загудел весь дом: приехавшие живо и всюду «распространились», только к Ежикову в комнату не попали — она была заперта изнутри.

Через две минуты Федор видел, как один из гостей развалился у него на неубранной постели, вздернул ноги вверх по стене, закурил и пепел стряхивал сбоку, нацеливаясь непременно попасть на чемоданчик Клычкова, стоявший возле постели. Другой привалился к «туалетному» слабенькому столу, и тот хрустнул, надломился, покачнулся набок. Кто-то рукояткой револьвера выдавил стекло, кто-то овчинным грязным и вонючим тулупом накрыл лежавший на столе хлеб, и

когда его стали потом есть — воняло омерзительно. Вместе с этой ватагой, словно еще задолго до нее, ворвался в комнаты крепкий, здоровенный, шумливый разговор. Он не умолкал ни на минуту, но и не разрастался,— гудел-гудел все с той же силой, как вначале: то была нормальная, обычная речь этих свежих степных людей. Попробовали бы разобрать, кто у них тут начальник, кто подчиненный! Даже намеков нет: обращение одинаково стильное, манеры одинаково резкие, речь самобытная, колоритная, насыщенная ядреной степной простотой. Одна семья! Но нет никакой видимой привязанности одного к другому или предупредительности, никаких взаимных забот, хотя бы в самомельчайших случаях,— нет ничего. А в то же время видите и чувствуете, что это одна и крепко свитая пачка людей, только перевита она другими узами, только отчеканилась она в своеобразную форму: их свила, спаяла кочевая, боевая, полная опасностей жизнь, их сблизили мужество, личная отвага, презрение лишений и опасностей, верная, неизменная солидарность, взаимная выручка,— вся многотрудная и красочная жизнь, проведенная вместе, плечом к плечу, в строю, в бою.

Чапаев выделялся. У него уже было нечто от культуры, он не выглядел столь примитивным, не держался так, как все: словно конь степной сам себя на узде крепил. Отношение к нему было тоже несколько особенное,— знаете, как иногда вот по стеклу ползает муха. Все ползает, все ползает смело, наскакивает на других таких же мух, перепрыгивает, перелезает, или столкнутся и обе разлетаются в стороны, а потом вдруг наскочит на осу и в испуге — чирк: улетела! Так и чапаевцы: пока общаются меж собою —полная непринужденность; могут и ляпнуть что на ум взбредет и двинуть друг в друга шапкой, ложкой, сапогом, плеснуть, положим, кипяточком из стакана. Но лишь встретился на пути Чапаев — этих вольностей с ним уж нет. Не из боязни, не оттого, что неравен, а из особенного уважения: хоть и наш, дескать, он, а совершенно особенный, и со всеми равнять его не рука.

Это чувствовалось ежесекундно, как бы вольно при

Чапаеве ни держались, как бы ни шумели, ни ругались шестиэтажно: лишь соприкоснутся — картинка меняется вмиг. Так любили и так уважали.

— Петька, в комендантскую! — скомандовал Чапаев.

И сразу отделился и молча побежал Петька — маленький, худенький черномазик, числившийся «для особенных поручений».

— Я через два часа еду, лошади штобы враз готовы! Верховых вперед отошлешь, нам с Поповым санки — живо! Ты, Попов, со мной!

И властно кивнул головой Чапаев желтолицему сутулому парню. Парню было годов тридцать пять. У него смеялись серые добрые глаза, а голос хрипел, как вороний кряк. При могутной, коренастой фигурище были странны мягкие, словно девичьи движенья. Попов рассказывал, видимо, что-то веселое и смешное, но как услышал слово Чапаева — враз остыл, стушил, как свечи, усмешку в серых глазах, посмотрел прямо и серьезно Чапаеву в глаза ответным глядом и глазами ему сказал:

«Слышу!»

Тогда Чапаев скомандовал дальше:

— Кроме — никого! Комиссар вот еще поедет да конных дать троих. Остальные за нами на Таловку. Лошадей не гнать напрасно. Быть к вечеру!

— Слушай...— оглянулся Чапаев кругом и увидел, что нет, кого искал.— Да... услал же его... Ну, ты, Кочнев, иди посмотри в штабе. Если все собрались — скажешь.

Кочнев вышел. Он показался Федору гимнастом,— такой быстрый, легкий, гибкий, жилистый. Короткая телогрейка, коротенькие рукава, крошечная шапчонка на затылке, на ногах штиблеты, до колен обмотки. Годов ему меньше тридцати, а лоб весь в морщинах. Глаза хитрые, светло-серые, нос широкий и влажный, он им шмыгает и как-то все плутовски его набок искривляет. Зубы белые, волчьи, здоровеннейшие; когда смеется — хищно оскаливает, будто собираясь изгрызть в лоскутья.

Был тут Чеков. Кидался в глаза широкими рыжи-

ми бровями, пышными багровыми усами, крокодильей пастью, монгольскими скулами; как пиявка, налитая кровью — отвисла нижняя губа, квадратом выпер чугунный подбородок, а над ним, как гриб в чугуне, потный и рыхлый нос. Под рыжими рогожами бровей — как угли, Чековы глаза. Широка и крута у Чекова грудь, тяжелого веса лапы-лопаты. Чекову сорок лет с пустяком.

Возился с чайниками, резал хлеб, острил впропалую, сам гоготал, всех задевал и всем отвечал — Теткин Илья, заслуженный красногвардеец, маляр по профессии, добродушный, звонкий, всеми любимый, охотник до песен, до игры, до забавы. Годами чуть постарше Петьки: двадцать шесть — двадцать восемь.

Рядом стоит и ждет терпеливо, молча хлеба от Теткина — Вихорь, лихой кавалерист, горячий командир конных разведчиков, на левой руке без мизинца. Это обстоятельство — мишень для острот.

— Вихорь, ткни его мизинцем, беспалого хрена!

— А мизинчик покажешь — цигарку дам...

— Девятипалая брында... Кобель девятиногий!

Вихоря трудно возмутить: от природы таков, всегда таков, и в бою таков. Много молча может сделать человек!

Больше всех толкался, крепче всех бранился и шумел Шмарин,— в дубленой поддевке, в валенках (все зябнет, больной), с хриплым, как у Попова, голосом, черноглазый, черноволосый, смуглый, изо всех самый старший: ему под пятьдесят.

Кучер Аверька, парнишка,— тут же со всеми, оперся на кнут, зорко доглядывает, как идут хлопоты насчет закуски и чаю. Лицо у Аверьки багровое, нос — что луковица, глаза с морозов осоловелые, губы обветренные, в трещинах, на шее намотан платок,— с ним и спит.

Из вестовых постоянный и любимый — Лексей, давний знакомый Чапаеву, дотошный, изворотливый парень. Когда что надо достать — посылается Лексей,— все добудет, все приготовит и принесет. Перекусить ли надо, чеку на повозку али ремешок к седлу, лекарства домашнего раздобыть,— никого не посы-

лают, кроме Лексея: самый ловкий кругом человек.

И что за народец собрался! Как только лицо — так тебе и тип: садись да пиши с него степную поэму. У каждого свое. Нет двоих, чтобы одно: парень к парню, как камень к камню. А вместе все — перевитое и свитое молодецкое гнездо. Одна семья! Да какая семья!

Вошел Кочнев:

— Командир бригады в штабе, можно идти...

Зашумело легкое шевеленье — любопытство осветило не одну пару на Чапаева устремленных глаз.

— Идем!

И Чапаев мотнул головой Попову, ткнул пальцем Шмарину и Вихорю. Зазвенели шпорами, грузно застучали обитыми в подковы каблуками, вышли. Федор вместе с ними. Федору казалось, что Чапаев уделял ему слишком мало внимания и уравнивал со своею «свитой». Где-то глубоко от этих подозрений затаилась нехорошая опаска, и он вспомнил, как рассказывали про Чапаева, будто в 1918 году, во время боя, когда он был с войсками окружен, а некий комиссар порастерялся,— отхлестал его Чапаев нагайкой на возу... Вспомнил — затревожило скверное чувство. Знал, что могли все это и выдумать, могли и преувеличить, поразукрасить, но отчего ж и не поверить: тогда и времена были не те, и сам Чапаев был иной, да и комиссар мог случиться всякий! Федор шел сзади, и уже одно то, что шел он сзади,— было неприятно.

С командиром бригады Чапаев поздоровался наскоро, отрывисто, глядя в сторону, а тот галантно изогнулся, пришпорил, потом подвытянулся, чуть ли не рапорт выпалил. О Чапаеве был он очень наслышан, только больше все со скверной, с хулиганской стороны, в лучшем случае — знал про Чапаева-чудака, а дельных дел за ним — не слыхал, степным летучкам про геройство чапаевское — не верил.

Изо всех дверей выглядывали любопытные. Так в купеческом где-нибудь доме выглядывают из щелей «домашние», когда случится приехать знатному гостю. Видно было, что наслышался о Чапаеве страхов разных не только один комбриг. В помещении штаба

чисто сегодня не по-обычному. Все сидят и все стоят на своих местах. Приготовились, не хотели ударить в грязь лицом, а может, и опасались: горяч Чапаев-то, кто знает, как взглянет?.. Когда пришли в кабинет командира бригады, тот разостлал по столу отлично расчерченный план завтрашнего наступленья. Чапаев взял его в руки, посмотрел молча на тонкий чертеж, положил снова на стол. Подвинул табуретку. Сел. За ним присели иные из пришедших.

— Циркуль.

Ему дали плохонький, оржавленный циркуль. Раскрыл, подергал-подергал,— не нравится.

— Вихорь, поди у Аверьки из сумки мой достань!

Через две минуты Вихорь воротился с циркулем, и Чапаев стал вымеривать по чертежу. Сначала мерил только по чертежу, а потом карту достал из кармана — по ней стал выклевывать. То и дело справлялся о расстояниях, о трудностях пути, о воде, об обозах, об утренней полутьме, о степных буранах...

Окружавшие молчали. Только изредка комбриг вставит в речь ему словечко или на вопрос ответит. Перед взором Чапаева по тонким линиям карты развертывались снежные долины, сожженные поселки, идущие в сумраке цепями и колоннами войска, ползущие обозы, в ушах гудел-свистел холодный утренник-ветер, перед глазами мелькали бугры, колодцы, замерзшие синие речонки, поломанные серые мостики, чахлые кустарники.

Чапаев шел в наступленье!

Когда окончил вымеривать — указал комбригу, где какие ошибки: то переход велик, то привал неудачен, то рано выйдут, то поздно придут. И все соображения подтверждал отметками, что делал, пока измерял. Комбриг соглашался не очень охотно, иной раз смеясь тихомолком, в себя. Но соглашался, отмечал, изменял написанное и расчерченное. По некоторым вопросам, как бы за сочувствием и поддержкой, Чапаев обращался то к Вихорю, то к Попову, то к Шмарину:

— А ты што скажешь? Ну, как думаешь? Верно аль нет говорю?

Не привыкли ребята разглагольствовать много в

его присутствии, да и мало что можно было им добавить — так подробно и точно все бывало у Чапаева предусмотрено. На него и пословицу перекроили:

«Чапаеву всегда не мешай... Ему вот как: ум хорошо, а два хуже...»

Эту новую пословицу выдумали только для него. И хорошо выдумали, потому что бывали прежде случаи, когда он послушает совета, а потом и плачется, бранится, клянет себя. И не забыть еще ребятам одного «совещания», когда они в горячке наговорили бог знает что. Чапаев слушал, долго слушал и даже все поддакивал:

— Так, так... Да... Хорошо... Вот-вот-вот... Оч-чень хорошо...

Собеседники думали и впрямь, что он соглашается и одобряет. А кончили:

— Ну, ладно,— говорит,— вот што надо делать: на все, што болтали, плюнуть и забыть. Никуда не годится. Теперь слушайте, што стану я приказывать!

И зачал...

Да так зачал, что вовсе по-другому дело повернул — и похожего не осталось нисколечко из того, про что так долго совещались.

На совещании том были все трое — помнили его, и теперь уж лезли мало, много молчали, отлично знали, когда и где можно говорить, чего нельзя:

«Иной раз и совет, может, следует подать, это верно, а то — и словом одним беды натворишь!»

Теперь молчали. Молчал почти все время и Федор: он-то не цепко еще разбирался в военных вопросах и кой-какие пункты понимал с трудом или вовсе никак себе не представлял,— это уж потом, через месяцы, освоился он с боевой и иной фронтовой премудростью, а теперь — чего же со «шляпы гражданской» было и спрашивать?

Заложив руки за спину, он стоял у самого стола и засматривал глубокомысленно по карте и на чертеж, то схмуривая брови, то покашливая в сторону, с явным опасением помешать деловой беседе. Вид у него серьезный, спокойный. Со стороны можно было подумать, что и он тут всем равноценный собеседник...

Федор порешил давно, до встречи с Чапаевым, установить с ним особую, осторожную, тонкую систему отношений: избегать вначале разговоров чисто военных, чтоб не показаться окончательным профаном; повести с ним политические беседы, где Федор будет бесспорно сильнее; вызвать его на откровенность, заставить высказаться по всем пунктам, включительно до интимных, личных особенностей и подробностей; больше говорить о науке, образовании, общем развитии,— и тут Чапаев будет больше слушать, чем говорить. Потом... потом зарекомендовать себя храбрым воином,— это уже непременно и как можно скорее, ибо без этого все в глазах Чапаева, да и всех, пожалуй, красноармейцев, прахом пролетит: никакая тут политика, наука, личные качества не помогут! Когда будет проведена эта ощупывательная, подготовительная работа и Чапаев пораскроется, будет понятен, тогда можно и на сближение идти, а пока — пока держаться осторожно! Не была бы предупредительность и внимательность понята и принята за подслуживание к «герою». (Он, конечно, знал, что имя его гремит повсюду, что на дружбу к нему многим и многим набиться было бы очень лестно.) Только потом, когда Чапаев будет «духовно полонен», когда он сам будет слушать Федора, может быть, чему-нибудь у него учиться,— лишь тогда идти ему навстречу по всем статьям. Но гонору — ни-ни: простоту, сердечность и некоторую грубоватость отношений установить теперь же, чтобы и помыслов не было о Федоре как о белоручке-интеллигенте, к которым на фронте всегда относятся подозрительно и с нескрываемым пренебреженьем.

Все эти приготовления Клычкова отнюдь не были пустяками, они помогли ему самым простым, коротким и верным путем войти в среду, с которою начинал он работать, а во имя этой работы — срастись с нею органически. Он не знал еще, *где* будут границы «срастания», но отлично понимал, что Чапаев и чапаевцы, вся эта полупартизанская масса и образ ее действий — такое сложное явление, к которому зажмурившись подходить не годится. Наряду с положительными, тут имеются и такие элементы, с которыми обращаться

нужно осторожно, следить за их выявлением чутко и и неослабно.

Что такое Чапаев? Как себе представлял Клычков Чапаева и почему именно с ним он надумал установить в отношениях особую, тонкую систему? Надо ли вообще это делать?

Федор, еще работая в тылу, слыхал, конечно, и читал многократно о «народных героях», сверкавших то на одном, то на другом фронте гражданской войны. И когда присматривался — видел, что большинство их из крестьянства и очень мало — из рядов городских рабочих. Герои рабочие всегда были в ином стиле. Выросший в огромном рабочем центре, привыкший видеть стройную, широкую, организованную борьбу ткачей, он всегда несколько косо посматривал на полуанархические, партизанские затеи народных героев, подобных Чапаеву. Это не мешало ему с глубочайшим вниманием к ним присматриваться и относиться, восторгаться их героическими действиями. Но всегда-всегда оставалась у него опаска. Так и теперь.

«Чапаев — герой,— рассуждал Федор с собою.— Он олицетворяет собою все неудержимое, стихийное, гневное и протестующее, что за долгое время накопилось в крестьянской среде. Но стихия... черт ее знает, куда она может обернуться! Бывали у нас случаи (разве мало их было?), что такой же вот славный командир, вроде Чапаева, а вдруг и укокошит своего комиссара! Да не какого-нибудь прощелыгу, болтунишку и труса, а отличного, мужественного революционера! А то, глядишь, и вовсе уйдет к белым со своим «стихийным» отрядом...

Рабочие — там другое дело: они *не уйдут никогда, ни при какой обстановке,* то есть те из них, что сознательно вышли на борьбу. Ясное дело, что и среди рабочих есть вчерашние крестьяне, есть и малосознательные, есть и «слишком» сознательные, ставшие белоручками... Но там, там сразу увидишь, с кем имеешь дело. А в этой вот чапаевской партизанской удали — ой, как много в ней опасного!»

При таком-то подозрительном отношении к стихийной партизанщине и зародилось у Федора желание

самым тонким способом установить свои отношения с новой средой,— с тем расчетом построить, чтобы не самому в этой среде свариться, а, наоборот, взять ее под идейное влияние. Брать надо с головы, с вождя — с Чапаева. На него и направил, на нем и сосредоточил Федор все свое внимание...

Петька — так почти все по привычке звали Исаева — высунул в дверь свою крошечную птичью головку, мизинцем поманил Попова и сунул ему записку. Там значилось:

«Лошыди и вся готовыя дылажи Василей Иванычу».

Петька знал, что в некоторые места и при некоторой обстановке вваливаться ему нельзя — и тут действовал постоянно подобными записками. Записка подоспела вовремя. Все было сказано, отмечено, подписано: сейчас же приказ полетит по полкам. Формалистика с приемом дел отняла немного времени.

— Я командовать приехал,— заявил Чапаев,— а не с бумажонками возиться. Для них писаря есть.

— Василь Иваныч,— шепнул ему Попов,— вижу, ты кончил. Все готово, ехать можно...

— Готово? Едем!

Поднялся Чапаев быстро со стула.

Все расступились, и он вышел первый — так же, как первым вошел сюда.

На воле, у крыльца, собралась толпа красноармейцев,— услыхали, что приехал Чапаев. Многие вместе с ним воевали еще в 1918 году, многие знали лично, а слыхали, конечно, все до единого. Вытянутые шеи, горящие восторгом и изумлением глаза, заискивающие улыбки, расплывшиеся до ушей.

— Да здравствует Чапаев! — гаркнул кто-то из первых, лишь только Чапаев сошел с лестницы.

— Ура-а-а!.. Ура-а-а!..

Со всех сторон сбегались красноармейцы, подходили жители, толпа росла.

— Товарищи! — обратился Чапаев.

Вмиг все смолкло.

— Мне некогда сейчас говорить,— еду на позицию. А завтра увидимся там, потому как мы приготовили

казакам хорошую закуску и завтра угостим... Поговорим потом, а теперь — прощайте!..

Раскатились новые катанцы «ура». Чапаев уселся в санки, за ним примостился Попов. Трое конных ждали тут же. Федору подвели вороного шустрого жеребца.

— Айда! — крикнул Чапаев.

Кони рванулись, толпа расступилась, закричала громче. Так шпалерами и ехали до самой окраины Алгая.

Степная снежная пустыня однообразна и скучна. В прошедшие теплые дни бугорки оплешивились было до самой земли, а теперь и их занесло; всю степь позавеяло, схрустнуло морозом. Кони идут легко и весело. Чапаев с Поповым сидят почти спинами один к одному, можно подумать — переругались: обдумывают предстоящее дело, готовятся к завтрашнему дню. В трех-четырех шагах за повозкой поспевают всадники, ни ближе, ни дальше, все время на одном расстоянье, будто прикованные. Федор едет сбоку. Он иной раз отстанет на целую версту и пустит — в карьер! И любо скакать по степи, благо конь так легок, охоч на скок.

«Завтрашним днем,— думал он, едучи зыбкой рысью,— открывается полоса боевой, настоящей жизни... И завертит-покатится она — надолго ли? Кто может знать судьбу ее? Кто может указать день победы? И когда же будет она, победа наша? День за днем, день за днем в походах проскачут, в боях, в опасностях, в тревоге... Сохранимся ли мы, пушинки? И кто воротится в родные палестины, кто останется здесь, по черным логовам, по снежным пустырям степей?»

И полезли в голову житейские воспоминанья, встали милые, знакомые лица... И сам себе представлялся убитым: лежит на снегу, разбросав широко руки, с окровавленным виском. Даже жалко стало. Прежде жалость эта над собою самим перешла бы непременно в длительную грусть, а теперь — стряхнул, отогнал, ехал дальше спокойный: смешком посыпал свою смерть.

Так прошло часа два с половиной. Чапаю [1], видимо, надоело сидеть недвижно,— остановил санки, посадил на свое место одного из всадников, сам поехал верхом. Подъехал к Федору.

— Значит, вместе теперь, товарищ комиссар?

— Вместе,— ответил Федор и сразу заметил, как крепко, плотно, будто впаянный, сидел Чапаев в седле. Потом оглядел себя и показался привязанным.

«Тряхнуть покрепче — и вон полечу,— подумалось ему.— Вот Чапаев, глянь-ка,— этот уж нипочем не выскочит».

— Вы давно воевать-то начали?

И Федору почуялось, будто тот ухмыльнулся, а в голосе послышалась ирония. «Знает, дескать, что на фронте я только-только, ну, и подшучивает».

— Теперь вот начинаю...

— А то по тылам были? — опять спросил Чапаев.

И опять вопрос язвительный.

Надо знать, что «тыловик» для бойцов, подобных Чапаеву,— это самое презренное, недостойное существо. Об этом Федор догадывался и прежде, а за последние недели убедился вполне, едучи и беседуя многократно с бойцами и командирами.

— По тылам, говорите? Мы в Иваново-Вознесенске работали...— с деланной небрежностью обронил Федор.

— Это за Москвой?

— За Москвой, верст триста будет.

— Ну, и што там, как дела-то идут?

Федор обрадовался перемене темы, ухватился жадно за последний вопрос и пояснил Чапаю, как трудно и голодно живут иваново-вознесенские ткачи. Почему ткачи? Разве нет там больше никого? Но уж так всегда получалось, что, говоря про Иваново-Вознесенск, Клычков видел перед собой одну многотысячную рабочую рать, гордился тем, что близок был с этой ратью,— и в воспоминаниях своих несколько даже позировал.

— Выходит, плохо живут,— согласился серьезно Чапаев,— а все из-за голоду. Кабы голоду не было —

[1] Близкие часто его звали просто «Чапай».

на-ка: да тут все и дело по-другому пошло б... А жрут-то как, сукины дети, не думают небось о том...

— Кто жрет? — не понял Федор.

— Казачьё... Ништо ему нипочем...

— Ну, не все же казачество такое...

— Все! — вскрикнул Чапаев.— Вы не знаете, а я скажу: все! Неча там... д-да!

Чапаев нервно забулькал в седле.

— Не может быть все,— протестовал Федор.— Хоть сколько-нибудь, а есть же таких, что с нами. Да постойте-ка,— вспомнил он с радостным волненьем,— хоть бы и у нас вот тут, в бригаде, из казаков вся разведка конная?

— В бригаде? — чуть задумался Чапаев.

— Да-да,— у нас, в бригаде!

— А это, надо быть, городские... здешние вряд ли,— с трудом поддавался на доводы Чапай.

— Я уж не знаю, городские ли, но факт налицо... Да и не может быть, товарищ Чапаев, чтобы все казачество, ну, *все* было против нас. По существу-то дела этого не может быть...

— Отчего же? Вот побудете с нами, тогда...

— Нет, сколько бы ни был я — все равно: не поверю!

Голос у Федора был крепок и строг.

— Про отдельных чего говорить,— стал слегка сдаваться Чапаев.— Конечно дело, попадают — да мало, нет нисколько...

— Нет, не отдельные... Вы это напрасно... Вон пишут из Туркестана — на целую там область казацкие полки установили советскую власть... А на Украине, на Дону... да мало ли?

— Надейтесь, они вот покажут... сукин хвост!

— Ну, чего же надеяться, я не надеюсь,— пояснял Чапаю Клычков,— и в вашем мнении правды много... Это верно, что казачество — воронье черное, верно... Кто ж против того? Царская власть на то о них и заботилась... Но вы посмотрите на казацкую молодежь,— эта уж не старикам чета... Из молодежи-то больше вот к нам и идут. Седобородому казаку, ясное дело, труднее мириться с советской властью... во всяком случае,

теперь трудно, пока не понял он ее... Ведь думают черт знает что про нас и всему-то верят: церкви, говорят, в хлевы коровьи превращаем, жены у нас у всех общие, жить загоняем всех вместе, пить и есть вместе — за один стол непременно... Где же тут помириться казаку, если он из рода в род привык и к церкви, и к своему сытому, богатому хозяйству, к чужому труду, к степной, своевольной жизни?

— Иксплатотары,— выговорил с трудом Чапаев.

— Именно,— сдержал Федор улыбку.— В эксплуатации-то вся суть дела и есть. Богатые казаки эксплуатируют не только ведь иногородних или киргизов, они и своим братом казаком не побрезгуют... Тут вот разлад-то и происходит. Только старики, хоть они и обиженные, помирились с этим, считают, что сам бог так устроил, а молодежь — эта проще, посмелее на дело смотрит, потому к нам больше и льнут молодые... Стариков — этих не своротишь, этих только оружием и можно пронять...

— Оружием-то, оружием,— встряхнул головою Чапаев,— да воевать трудно, а то бы што...

Федор не понял, к чему Чапай это сказал, но почувствовал, что не зря сказано, что тут разуметь что-то надо особое под этими словами... Сам ничего не ответил и ждал, как тот пояснит, разовьет свою мысль.

— Центры наши — вот што...— бросил неопределенно Чапаев еще одну заманчивую, темную фразу.

— Какие центры?

— Да вот, напихали там всякую сволочь,— бормотал Чапаев будто только для себя, но так бормотал, чтобы Федор все и ясно слышал.— Он меня прежде под ружьем, сукин сын, да на морозе целыми сутками держал, а тут пожалуйте... Вот вам мягкое кресло, господин генерал, садитесь, командуйте, как вам захочется: дескать, можете дать, а можете и не давать патроны-то, пускай палками дерутся...

Это Чапаев напал на самый свой острый вопрос — о штабах, о генералах, о приказах и репрессиях за неисполнение,— вопрос, в те времена стоявший поперек глотки не одному Чапаеву, и не только Чапаевым.

— Без генералов не обойдешься,— буркнул ему

успокоительно Клычков,— без генералов что же за война?

— Как есть обойдемся...

Чапаев крепко смял повода.

— Не обойдемся, товарищ Чапаев... Удалью одной большого дела не сделаешь — знания нужны, а где они у нас? Кто их, знания-то, кроме генералов, даст? Они же этому учились, они и нас должны учить... Будет время — свои у нас учителя будут, но пока же нет их... Нет или есть? То-то! А раз нет, у других учиться надо!

— Учиться? Да-да! А чему они-то научат? Чему? — горячо возразил Чапаев.— Вы думаете, скажут, что делать надо?.. Поди-ка, сказали!.. Был я и сам в академии у них, два месяца болтался, как хрен во щах, а потом плюнул да опять сюда. Делать нечего там нашему брату... Один — Печкин вот, профессор есть, гладкий, как колено,— на экзамене:

— Знаешь,— говорит,— Рейн-реку?

А я всю германскую воевал, как же мне не знать-то? Только подумал: да што, мол, я ему отвечать стану?

— Нет, дескать, не знаю. А сам-то ты,— говорю,— знаешь Солянку-реку?

Он вытаращил глаза — не ждал этого, да:

— Нет,— говорит,— не знаю. А што?

— Значит, и спрашивать нечего... А я на этой Солянке поранен был, пять раз ее взад и вперед переходил... Што мне твой-то Рейн, на кой он чорт? А на Солянке я тут должен каждую кочку знать, потому што с казаками мы воюем тут!

Федор рассмеялся, посмотрел на Чапаева изумленно и подумал:

«Это у народного-то героя, у Чапаева, какие же младенческие мысли! Знать, всякому свое: кому наука, а кому и не дается она. Два месяца вот побыл в академии человек и ничего-то не нашел там хорошего, ничего не понял. А и человек-то ведь умный, только сыр, знать, больно... долго обсушиваться надо...»

— Мало побыли в академии-то,— сказал Федор.— В два месяца всего не усвоишь... Трудно это...

— Хоть бы и совсем там не бывать,— махнул рукой Чапаев.— Меня учить нечему, я и сам все знаю...

— Нет, оно как же не учиться,— возразил Федор.— Учиться всегда есть чему.

— Да, есть, только не там,— подхватил возбужденный Чапай.— Я знаю, што есть... и буду учиться... Я скажу вам... Как фамилия-то ваша?

— Клычков.

— ...Скажу вам, товарищ Клычков, што почти неграмотный я вовсе. Только четыре года, как я писать-то научился, а мне ведь тридцать пять годов! Всю жизнь, можно сказать, в темноте ходил. Ну, да што уж — другой раз поговорим... Да вон, надо быть, и Таловку-то видно...

Чапаев дал шпоры. Федор последовал примеру. Нагнали Попова. Через десять минут въезжали в Казачью Таловку.

VI. Сломихинский бой

Казачья Таловка — это крошечный, дотла сожженный поселок, где уцелели три смуглых мазанки да неуклюже и долговязо торчат обгорелые всюду печи. Халупа, где теперь они остановились, была набита сидевшими и лежавшими красноармейцами,— они прибились здесь в ожиданье похода.

Их не трогали, не тревожили, никуда не выживали: как лежали, так и остались лежать. Сидевшие потеснились, уступили лавку, сами разбудили иных, храпевших особо рьяно, мешавших разговору.

Уж набухли степными туманами сумерки, в халупе было темно. Неведомо откуда бойцы достали огарок церковной свечки, приладили его на склизлое чайное блюдце, сгрудились вокруг стола, разложили карту, рассматривали и обдумывали подробности утреннего наступленья. Чапаев сидел посредине лавки. Обе руки положены на стол: в одной — циркуль, в другой — отточенный остро карандаш. Командиры полков, батальонные, ротные и просто рядовые бойцы примкнули кольцом,— то облокотились, то склонились, перегнулись над столом и все всматривались пристально, как

водил Чапаев по карте, как шагал журавлиным ломаным шагом — маленьким белым циркулем. Федор и Попов уселись рядом на лавке. Тут, по сердцу сказать, никакого совещанья и не было,— Чапаев взялся лишь ознакомить, рассказать, предупредить.

Все молчали, слушали, иные записывали его отдельные указания и советы. В серьезной тишине только и слышно было чапаевский властный голос, да свисты, да хрипы спящих бойцов. Один, что в углу, рассвистелся веселой свирелью, и сосед грязной подошвой сапожища медленно и внушительно провел ему по носу. Тот вскочил, тупо и неочуханно озирался спросонья — не мог ничего сообразить.

— Тише ты, брюква,— погрозил парню сердито.

— Ково тише?

И спящие глаза его были бессмысленны и смешны.

Парня привели в себя, дав тумака в спину; он поднялся, протер глаза, узнал, что тут Чапаев,— и сам, приподнявшись кротко на носки, до самого конца вслушивался внимательно в его речь, может и не понимая даже того, что говорит командир.

Скоро подъехали из Александрова-Гая остальные чапаевцы. Они подвалились в халупу, и давка теперь получилась густейшая.

Чапаев продолжал поучение:

— ...если не сразу — не выйдет тут ничего: непременно враз! Как наскочил — тут ему некуда шагу подать... Всех отсюда спустить теперь же, часа через два. Поняли? У Порт-Артура до зари надо быть. Штобы все в темноте, когда и свету нет настоящего,— понятно?

Кивали ему согласными головами, тихо отвечали:

— Поняли... Конешно, в темноте... Она, темнота-то, как раз...

— Приказ у вас на руках,— продолжал Чапаев,— там у меня часы все указаны, где остановиться, когда подыматься в поход. Верить надо, ребята, што дело хорошо пройдет, это главней всего... А не веришь когда, што победишь, так и не ходи лучше... Я указал только часы да места, на этом одном не победишь,— самому все надо доделать... И первое дело — осторожность: никто не должен узнать, што пошли в наступ-

ленье, ни-ни... Узнают — пропало дело... Коли попал на дороге казак али киргиз, да и мужик, все одно,— задержать, не пущать,— потом разберем.

— Есть таковые,— молвил кто-то из угла.

— Есть, и держи,— подхватил Чапаев весело.— Ты на него, на казака-то, оглядывай со всех сторон. Знаешь, какой он есть: выскочит враз с-под стола... Он тута дома, все дорожки, овраги все знает... Это опять же запомни. Да не рассусоливай с ним, с казаком... будешь сусолить — он тебя сам в жилу вытянет...

— Правильно... Это как есть... Казак повсегда за спиной...

Деловая часть беседы кончена.

Всемогущий Петька достал хлеба, вскипятил в котелочке воды, раздобыл сахару — шесть обсосанных серых кусочков. Компания весело зашумела. Гвалт в избушке вырос густой и ядреный. Бойцы, спавшие доселе походным, чугунным сном, попросыпались недоуменные: кто от крика, кто от смелых пинков, от шарканья по лицу сапогом, винтовкой, шинелью — как угодит. Заторопились всяк со своей посудой. Через пяток минут отодвинули столик на середку, а вкруг попритыкались на седлах, на досках, на поленьях, а то и спустились на корточки, приникли на полу. Церковная желтая свечушка поблескивала кротко, и были видны только оплывшие черные тени да восковые пятна вместо лиц.

Федор чувствовал себя необычайно в этой удивительной новой обстановке. Ему казалось, что никто его вовсе не замечал. Да и кому, зачем его было замечать? Ну, комиссар — так что ж из того?! В военном деле он указать пока ничего не мог; политикой тут не время пока заниматься,— откуда же его и заметить? «Будет время, сойдемся,— подумал он про себя,— а теперь можно и в тени постоять».

Он даже одиноким себя почувствовал средь этой тесной семьи боевых товарищей. Ему стало даже завидно, что каждый из них — вот хотя бы и этот Петька, чумазый галчонок,— и он тут всем ближе, роднее, понятнее его, Клычкова... А как они все чтили своего Чапая! Лишь только обратится к которому — обалдеет

человек, за счастье почитает говорить с ним. Коли похвалой подарит малой — хваленый ее никогда не забудет! Посидеть за одним столом с Чапаевым, пожать ему руку — это каждому величайшая гордость: потом о том и рассказывать станут, да рассказывать истово, рассказывать чинно, быль сдобряя чудесной небылицей.

Федор вышел из халупы и пошел было в поле, но услышал, что в избе поют. Он вернулся, протиснулся вновь к столу. Слушал.

Запевал сам Чапаев. Голос у Чапаева металлический, дребезжащий и сразу как будто неприятный. Но потом, как прислушаться, привлекали искренняя задушевность и увлечение, с которыми пел он любимые песни. Любимых было немного, всего четыре или пять. Их знали до последнего слова все его товарищи: видно, часто певали! Чапаев мог забирать ноты невероятной высоты, и в такие минуты всегда становилось жутко, что оборвется. Но никогда, ни разу не сорвал Чапаев песню; только уж очень ежли перекричит,— охрипнет и дня четыре ходит мрачной тучиной: без песни всегда был мрачен Чапаев и не мог он, не тоскуя, прожить дня. Что ему страшная обстановочка, что ему измученность походная, или дрожь после боя, или сонная дрема после труда,— непременно выкроит хоть десяток минут, а попоет. Другого такого любителя песен искать — не сыскать: ему песни были как хлеб, как вода. И ребята его, по дружной привычке, за компанию неугомонную — не отставали от Чапая.

Ты, моряк, красив собою,
Тебе от роду двадцать лет.
Полюби меня душою —
Что ты скажешь мне в ответ?

Песенка шла до конца такая же растрепанная, пустая, бессодержательная. И любил ее Чапаев больше за припев — он так паялся хорошо с этой партизанной, кочевою, беспокойной жизнью:

По морям, по волнам,
Нынче здесь, а завтра там!
Эх, по морям-морям-морям,
Нынче здесь, а завтра там!

Этот припев, схваченный хором, как гром по тучному небу, неистово ржал над степями. Потом про Стеньку любили, про Чуркина-атамана и о том, как:

Сидит за решеткой в темнице сырой
Вскормленный на воле орел молодой...

Тут пропели, пробалагурили до полуночи. Потом уткнулись кто где словчился,— уснули.

Наступление рассчитано было таким образом, чтобы под Сломихинской очутиться чуть станет светать. Наступали с трех сторон, полками. Стоявший здесь, в Таловке, полк шел в центре, ударял на самую станицу; два другие с флангов огибали полукруг.

Полк из Таловки, на повозках, сговорено было отправить вскорости: через час-полтора. Но теперь еще все было покойно, и нет нигде мрачнеющих знаков близкого боя.

Федору не спалось. Он попытался было и сам расположиться на полу, голову положив на казацкое холодное седло,— нет, не уснуть! То ли привычки нет на седлах спать, то ли от ветру, что гудит неуемно в груди в эту первую ночь перед первым боем.

Им что! Десятки десятков раз бывали они в боях: вдрызг переконтуженные, с перебитыми костями, пробитыми головами, изрешетенные пулями сквозь,— им что! И ничего для них тут нет диковинного. Эка невидаль: ночь перед боем! Они таких ночей отхрапели немало, эти ночи не различны для них с другими, тихими ночами. Но у каждого, непременно у каждого была здесь когда-то в жизни своя «первая боевая ночь». И тогда он, верно, как Федор, бушевал в этом хаосе нерешенных противоречий и мрачных ожиданий, беззвучно ныл от томительных мыслей и чувств.

Не спалось. И не только не спалось — тяжело было необъяснимой, небывалой тяжестью. Посмотрит кругом,— при мертвенном взблеске церковного огарка видно, как разбросались, скорчились, перевились на полу бойцы в общей куче, без разбору.

«Так же вот на поле битвы, верно, валяются трупы, в беспорядке, в агонией скрученных позах, то груд-

ками, то в одиночку, то ровными цепочками скошенных пулеметами бойцов».

В полумраке и лица казались бледней, как в мертвецкой, и храпы — то срываясь залпами, то раскатываясь протяжными свистами и вздохами — напоминали стоны...

Федор вышел из халупы, чувствовал, что не заснуть. Не лучше ли на ядреный воздух морозной ночи? А ночь тихая, черная, степная. Высоко в небе зеленые звезды. Ветер легкий и вольный, какой бывает только в степи.

Среди развалин сожженной станицы, под открытым небом расположился полк. Кой-где у догоравших костров можно было рассмотреть склоненные фигуры одиноко сидевших бойцов: то дежурные, то, как он, такие же вот горемыки, измученные бессонницей, не знающие, как перед боем скоротать ненасытное время. Они лениво подбрасывали в огонь мокрые щепки и потные прутики, собранные в степи,— дров в степи не достать,— озабоченно шевелили уголья, чтобы не стух костер, не остаться бы в черной, глухущей тьме. Там, где сомкнулись трое-четверо вкруг костра, идет возня с котелками, там варят похлебку и чай, пропадает дальним громом рокочущий хохоток, пробавляются ребята прибаутками, по-своему ухлопывают предпоходные часы.

А ночь темнущая-темная. И строгая. Оползла кругом, опоясалась страхами, рассыпалась в миллионах тонких шорохов,— они только жутче заострили молчание степи.

В степи, у развалин, будто привидения, ворочались плавно и величественно огромные мохнатые верблюды. Ныряли шустро во тьме какие-то странные тени. Из черного мрака на светлую дрожащую полосу огня выскакивали вдруг человеческие фигуры и так же внезапно, быстро исчезали в черную бездну ночи. Во всем была неизъяснимая строгая сосредоточенность, явственное ожидание чего-то крупного и окончательного: ожидание боя!

Сколько потом ни приходилось Федору проводить ночей в ожидании утреннего боя,— все они, эти ночи,

похожи одна на другую своею строгой серьезностью, своим углубленным и сумрачным величием. В такую ночь, проходя по цепям, шагая через головы спящих красноармейцев, густо мозги наливаются думами о нашей борьбе, о человеческих страданьях, об этих вот искупительных жертвах, что трупами червивыми остаются безвестные на полях гражданской войны.

«Вот они лежат, истомленные походами бойцы. А завтра, чуть забрезжит свет, пойдут они в бой и цепями и колоннами, колоннами и цепями, то залегая, то вскакивая вперебежку, то вновь и вновь западая ничком в зерковые ямки, нарытые вспешку крошечным заступом или просто отцарапанные мерзлыми пальцами рук... И многих не станет, навеки не станет: они, безмолвные и недвижные, останутся лежать на пустынном поле... Каждый из них, оставшихся в поле на расклев воронью,— такой маленький и одинокий, так незаметно пришедший на фронт и так бесследно ушедший из боевых рядов,— каждый из них отдал все, что имел, и без остатка и молча, без барабанного боя, никем не узнанный, никем не прославленный,— выпал он неприметно, словно крошечный винтик из огнедышащего стального чудовища...»

Федор увидел, как здоровенный кудрявый парень склонился над огнем, возится с картошкой, перевертывает, прокаливает ее на холодеющих угольях костра... Он нет-нет да и сунет в пепел штык, выхватит оттуда пронзенную картошку, пощупает пальцем, робко к губам ее поднесет,— из огня-то! И живо отплюнет, сошвырнет с острия обратно в пепел: он весь поглощен своим невинным занятием. Верно, и у него в голове теперь целый рой неотвязчивых мыслей, быстрых и переменчивых воспоминаний?.. О чем он думает так сосредоточенно, вперившись неотрывным взором в потухающий костер? Уж непременно о селе, о работе, о жизни, которую оставил для фронта и к которой вернулся бы,— ах, вернулся бы с какой радостью и охотой! Да мало ли что передумает он в эту ночь... А вот поутру привезут его, может, сюда же — с оторванной ногой, с пробитой грудью, с расколотым черепом... И будет страшно хрипеть, медленно и напрасно, и зу-



Д. А. Фурманов. Комиссар Чапаевской дивизии.
1919 г.

бовным скрежетом распрямлять перебитые хрусткие члены, будет страшен и дик, весь залитый кровью, весь облепленный кровавыми багровыми сгустками... Снимут эту вот, кем-то нежно любимую черную шапку кудрей, обреют широкую круглую голову и станут копаться в чутком окровавленном теле стальными ножами и иглами... Брр...

А сосед, вон этот мужичок, что с рыжей бородой, уж немолод — ему под сорок годов. Тоже не без думы сидит. И ничего-то, ни словечка единого не говорят они друг с другом: оба полны своими особыми думами, у каждого теперь обостренно, учащенно пульсирует собственная, связанная со всеми и ото всех особенная жизнь... Не до разговоров — тут речь не к месту. Он сидит, рыжебородый мужичок, будто смерз и остыл в недвижной позе: руки скрестил по животу, вобрал под себя охолоделые ноги, немигающим полуночным взором приковался к костру — и думает. Завтра он так же, быть может, без движения, останется лежать на снежной равнине, среди других, как он, отработанных в трупы, чернеющих и багровеющих на чистом рыхлом снежном ковре... Только в одном, в единственном месте — около виска снег пробуравит черною дыркой алая кровь... больше не будет кругом никаких следов.

Эти вот худенькие веснушчатые руки уже не будут сложены на животе — они будут разметаны, как в бреду, по сторонам, и будет похоже, словно мужичка распяли и невидными гвоздями приколотили к снежному лону... Оловянный взор будет так же неподвижен, как теперь: мертвый, остывший взор похолоделого трупа.

Федор живо себе представил эти мертвые картины, оставшиеся в памяти от прошлой войны, когда подбирал и лечил раненых солдат...

— Кто идет? — окликнул часовой.

— Свой, товарищ...

— Пропуск?..

— Затвор...

Часовой с руки на руку перекинул грузную винтовку, пожал от холода плечами и зашагал, пропал во тьму.

Федор вернулся в халупу — там неистовый метался храп и свист. Прицелился в первую скважину меж спящими телами, изловчился, протиснулся, изогнулся, лег... Лег — и уснул.

Было еще совсем темно, когда поседлали коней и из Таловки зарысили на Порт-Артур. (Кстати, отчего это назвали «Порт-Артуром» это маленькое, ныне дотла сожженное селенье?) Пробирала дрожь; у всех недоспанная нервная дикая зевота. Перед рассветом в степи холодно и строго: сквозь шинель и сквозь рубаху впиваются тонкие ледяные шилья.

Ехали — не разговаривали. Только под самым Порт-Артуром, когда сверкнули в сумрачном небе первые разрывы шрапнели, обернулся Чапаев к Федору:

— Началось...

— Да...

И снова смолкли и ни слова не говорили до самого поселка. Пришпорили коней, поскакали быстрее. Сердце сплющивалось и замирало тем необъяснимым, особенным волненьем, которое овладевает всегда при сближенье с местом боя и независимо от того, труслив ты и робок или смел и отважен: *спокойных* нет, это одна рыцарская болтовня, будто есть *совершенно спокойные в бою, под огнем,*— этаких пней в роду человеческом не имеется. Можно привыкнуть *казаться* спокойным, можно держаться с достоинством, можно *сдерживать себя и не поддаваться* быстро воздействию внешних обстоятельств,— это вопрос иной. Но *спокойных* в бою и за минуты перед боем — нет, не бывает и не может быть.

И Чапаев, закаленный боец, и Федор, новичок,— оба полны были теперь этим удивительным состоянием. Не страх это и не ужас смерти, это — высочайшее напряжение всех духовных струн, крайнее обострение мыслей и торопливость — невероятная, непонятная торопливость. Куда надо торопиться, так вот особенно спешить — этого не сознаешь и не понимаешь, но все порывистые движенья, все твои слова, обрывочные и краткие, быстрые, чуткие взгляды,— все говорит о том, что весь ты в эти мгновенья — стихийная тороп-

ливость. Федор хотел что-то спросить Чапаева, хотел узнать его мысли, его состояние, но увидел серьезное, почти сердитое выражение чапаевского лица — и промолчал. Подъехали к Порт-Артуру; здесь стояли обозы; на пепелище сожженного поселка сидели кучками обозники-крестьяне, наливали из котелков горячий чай и вкусно так, сытно, аппетитно завтракали. Чапаев соскочил с коня, забрался на уцелевшую высокую стену, сложенную из кизяка, и в бинокль смотрел в ту сторону, где рвалась шрапнель. Сумерки уже расползлись, было совсем светло. Здесь пробыли несколько минут, и снова на коней,— поскакали дальше. Навстречу крестьянская подвода, в ней что-то лежит, укрытое старенькой, истрепанной сермягой.

— Што везешь, товарищ?

— А вот солдатика поранило...

Федор взглянул в повозку и рассмотрел под сермягой контуры человеческого тела, повернул лошадь, поехал рядом. Чапаев продолжал ехать дальше.

— Тяжелый?

— Тяжелый, батюшка... И голову ему и ноги...

— Перевязан ли?

— Завязали, как же, весь укрыт.

В это время раненый застонал, медленно высунул из-под серого покрывала обинтованную окровавленную голову, открыл глаза и посмотрел на Федора мутным, тяжелым взором, словно говорил:

«Да, браток. Полчаса назад и я был здоров, как ты... Теперь вот — смотри... Сделал свое дело и ухожу... Изувечен... уж пусть другие — очередь за ними... А я честно шел и... до конца шел. Сам видишь: везут...»

Обрывки этих мыслей проскочили у Федора в голове. И было невыносимо тяжело оттого, что это *первый*... Будут другие — ну, так что ж? На тех спокойнее будет смотреть — на то и бой. Но этот *первый* — о, как тяжела ты, первая, свежая утрата!

И так же быстро, как эти мысли, промчались другие — не мысли, а картинки, недавние, вчерашние, там, в Казачьей Таловке, у костра... Быть может, он тоже, как тот, вчера только, да и не вчера, сегодня ночью — сосредоточенно пропекал где-нибудь у костра полу-

гнилую картошку, напарывал ее на штык и вытаскивал, проверяя горячую, раскаленную... губами?

Федор поскакал догонять Чапаева, но тот, видимо, взял стороной. Они встретились только в цепи.

И впереди, к фронту, и с позиции тянулись повозки: одни со снарядами, с патронами, пустые — за ранеными, другие, навстречу им, только с одним неизменным и страшным грузом: с окровавленными человеческими телами.

— Далеко наши? — спросил Федор.

— А недалече, вот тут, верст за пяток будет...

Справа, за рекой Узенем стоят киргизские аулы,— казаков отсюда выбили огнем. Видно через реку, как бродят там взад и вперед дозорные — два красноармейца. Они засматривают в лощинки, проверяют за грудами камня и кизяка, не завалился ли где раненый товарищ... Все ближе, звучней гудит батарея, ближе, отчетливей рвутся снаряды... Вот уж и цепи чернеют вдали. Какие же пять тут верст? — почитай, и двух-то не было. Долга, видно, показалась мужичку дорога под артиллерийским огнем!

Подъехал Федор ко второй цепи и тут увидел Чапаева. С ним шел командир полка, они о чем-то серьезно, спокойно говорили:

— Посылал — не воротился,— отвечал на ранний вопрос комполка.

— А еще послать! — рубанул Чапаев.

— И еще посылал — одинаково...

— Опять послать! — настаивал Чапаев.

Командир полка на минутку замолчал. У Чапаева гневом загоралось сердце. Тронулись веки, хищно блеснули в ресницах глаза, насторожились, как зверь в чаще.

— Оттуда были? — резко спросил Чапаев.

— И оттуда нет.

— Давно?

— Больше часу.

Чапаев крепко схлопнул брови, но ничего не сказал и дальше разговор вести не стал. Федор понял: речь шла о связи. С одним полком связь была отличная, с другим — нет ничего. Потом уж только выясни-

лось, что бойцы усомнились в своем командире — он бывший царский офицер. Они решили вдруг, что офицер ведет их под расстрел. И не пошли, надолго задержались, все галдели да выясняли, пробузили самое горячее время.

Федор шел рядом с Чапаевым, лошадей вели на поводу. Тут же, неслышный, очутился Попов, невдалеке — Теткин Илья, рядом с Теткиным — Чеков. Когда они тут появились, Федор не знал: за суматохой, когда из Таловки выехал с Чапаевым вдвоем, он не приметил, остались ли хлопцы в халупе, ускакали ли раньше они, в ночи, после песен.

До первой цепи было с полверсты. Решили ехать туда. Но вдруг сорвался резкий ветер, нежданный, внезапный, как это часто бывает в степи, полетели хлопья рыхлого, раскисшего снега, густо залепляли лицо, не давали идти вперед. Наступленье остановили. Но пурга крутила недолго,— через полчаса цепи снова были в движенье. Клычков с Чапаевым разъехались по флангам,— теперь они были уж в первой цепи. Показался справа хутор Овчинников.

— Здесь, полагаю, засели казаки,— сказал Чапаев, указывая за реку.— Надо быть, драка будет у хутора...

На этот раз Чапаев ошибся: гонимые казаки и не вздумали цепляться в хуторишке, они постреляли только для острастки и дали тёку, не оказав сопротивленья.

Подходили к Сломихинской. До станицы оставалось полторы-две версты. Здесь гладкая широкая равнина, сюда из станицы бить особо удобно и легко. А казаки молчат... Почему они молчат? Это зловещее молчанье страшнее всякой стрельбы. Не идет ли там хитрое приготовление, не готовится ли западня? Схватывались лишь на том берегу Узеня, а здесь — здесь тихо.

Федор ехал впереди цепи, покуривал и бравировал своим молодечеством: вот, мол, я храбрец какой, смотрите: еду верхом перед цепью и не боюсь, что снимет казацкая пуля...

Это выхлестывало в нем ребячье бахвальство, но

в те минуты и оно, может, было необходимо. Во-первых, подымался авторитет комиссара, а потом и цепь этот задор ободрял бесспорно: когда едет конный перед цепью, она чувствует себя весело и бодро,— об этом знает любой боец, ходивший в цепи. Но возможна эта лихость, конечно, только перед боем; когда открылся огонь и начались перебежки — тут долго не нагарцуешь.

Чапаев носился стремглавый,— он был озабочен установкою связи между полками, хлопотал о подвозе снарядов, справлялся про обозы...

Федор проехал из конца в конец, воротился к правому флангу, слез с коня и сам пошел в цепи, держа коня на поводу. Батарея сосредоточила огонь. Станица, как раньше, молчала. И пока она молчала — шел Федор спокойный, пошучивая, немножко позируя своей простотой и мнимой привычностью к этаким делам: он разыгрывал чуть ли не старого ветерана, закоптелого в пороховом дыму. Но ведь это же было лишь его первое боевое крещение,— что с «гражданской шляпы» и спрашивать? Вы лучше посмотрите, что стало с ветераном через пять минут.

Подпустив саженей на триста, казаки ударили орудийным огнем. За артиллерией с окраинных мельниц резнули пулеметы. Федор сразу растерялся, но и виду не дал, как внутри что-то вдруг перевернулось, опустилось, охолодело, будто полили жаркие внутренности мятными студеными каплями. Он некоторое время еще продолжал идти, как шел до сих пор, но вот немного отделился, чуть приотстал, пошел сзади, спрятался за лошадь.

Цепь залегала, подымалась, в мгновенную мчалась перебежку и вновь залегала, высверлив наскоро в снегу небольшие ямки, свесив туда головы, как неживые. Так, прячась за лошадь, и он перебежал раза два, а там — вскочил в седло и поскакал... Куда? Он сам того не знал, но прочь от боя скакать не хотел — только *отсюда,* из этого места уйти, уйти куда-то в другое, где, может быть, не так пронзающе свистят пули, где нет такой близкой страшной опасности... Он поскакал вдоль цепи, но теперь уже не перед нею, а сзади, по-

мчался зачем-то на крайний левый фланг. Выражение лица у него в тот миг было самое серьезное, деловое — вы бы, встретившись, и не подумали, что парень мчится с перепугу. Вы подумали бы непременно, что он везет какое-то очень-очень важное сообщение или скачет в трудное место к срочному делу.

На пути встретился Попов — этот ехал на правый фланг. Зачем? Да, может быть, за тем же, зачем и Федор скакал на левый? Впрочем, кто его знает, в бою никак не разберешь — за делом ли вывернулся человек али страх отшиб ему разум, и вот он тычется без толку, обалделый, в поисках спасенья. Столкнулись, приостановились, сдерживая коней, заторопились вопросами:

— Есть ли патроны? Хватит ли снарядов? Где Чапаев, как его найти?

Вопросы были для увода глаз.

Пока они кружились на месте, из станицы заметили и решили, что два эти всадника никак не рядовые, а кто-нибудь из верховного начальства. Тогда наладили скорострелку и обложили всадников вкруг снарядами — все ближе, ближе, ближе...

Один упал саженях, может, в двадцати пяти, другой — в пятнадцати, третий — и того ближе. Ясно было: станица берет на прицел! Снаряды ложились кольцом. Кольцо сжималось, смыкалось в огненных звеньях.

— Надо скакать! — шепнул торопливо и слышно Попов.

Лопнул близко новый снаряд.

Федор ничего Попову не ответил, дал вдруг шпоры коню и помчался в тыл, прочь от цепей...

Попов за ним, но обернулся, отстал, пропал в сторону правого фланга. Федор доскакал до бугра,— за бугром лежало с десяток возчиков. Лег он с ними сам и следил, как рвутся снаряды в том самом месте, где за две минуты толокся с Поповым. Коня привязал к ближней повозке. Лежал и вслушивался в звенящий, в гудущий вой несшихся снарядов, и, лишь только вой этот близился, Федор пластом вмиг прилипал к обмерзшему снежному скату и так ничком лежал

недвижный. Потом медленно, опасливо подымал голову и, страдая, следил, не гудит ли где мимо и близко новый. Долго ли пролежал он здесь — кто же знает? Да, именно здесь он, верно, и был бы убит шальным снарядом, изувечившим троих крестьян, что теперь с ним лежали на снегу. Но еще прежде того Федор поднялся, вскочил снова в седло и задумался на миг: куда же теперь? Словно на выручку, с левого фланга подскакал ретиво молодой красноармеец и задохшимся шепотом пробормотал торопливо, не обращаясь ни к кому:

— Где пулеметы? Где тут пулеметы?

— Какие пулеметы?

— Нам пулеметы надо — с левого фланга казаки лавой идут...

Федор сразу решил, что этот вояка такой же, как он, но взглянул в ту сторону, куда указывал кавалерист, и увидел вдруг, и с холодом в груди, несущуюся невдалеке черную массу... Волосы шевельнулись на голове.

— Сейчас из обоза пришлю! — крикнул он, хлестнув коня, и помчался в обоз.

Прискакал туда и не знал, что сказать. Обозники посматривали хитро и косо, пересмеивались,— чуяли, видно, зачем приехал молодец. А может, и показалось это Федору, и не до него, может, было мужичкам,— смеялись и шутили они, чтобы прошли, ушли скорее эти долгие и страшные часы, когда стой вот тут и жди, неведомо как долго. Стой и жди, с места не трогай, до приказу, а кругом сверкают и воют, ищут снаряды жертв. Шальные снаряды летают далеко, они угодят и в самый обоз.

Это только в смех говорят, будто в обозы трусов сплавляют служить. А ты сам послужи — тогда узнаешь, какое это трусиное гнездо — обоз! Хорошо солдату в цепи,— там у каждого винтовка, там грудью идут сотни и сотни разом, там у сотен этих свои впереди пулеметы, там пулеметчикам орудья брешут в подмогу. В цепи что?! Там есть о кого толкнуться, к кому пришиться, кругом — подмога в цепи. А ты огляньсь на обоз: двести возов, двести мужиков, а на двести на всех... одиннадцать винтовок! Винтовок

одиннадцать, а патронов и вовсе мало. Пулемет в запасе стоит, да и тот чинить требует. К тому же на двести — полторы сотни стрелять толком не умеют. А те, что умеют,— калеки да слабомощные; другому и винтовку в плечо не взять, только и дела может делать, что вожжами на кобылке перебирать. Вот тебе и обоз! А казак обозы любит: чего ж его не взять пустыми руками? И как налетела сотня — кто ж оборонит, на кого припереться, откуда подмога? Скачут казаки меж возами, сквозь прорубают головы обозникам. Одиннадцать винтовок, и те молчат — вышибли разом казаки с рук. Вот тебе и обоз, вот тебе и трусиное гнездо: обозники под таким страхом стоят, что страху этого и в цепи не бывает! Так что зря и обидно говорят, будто в обозах трусы, а трусам везде страшно: обозный страх куда будет пострашнее того, что треплет бойца в цепи!

Горела на воре шапка, закатала-замучила Клычкова стыдобушка, не мог он с мужичками в смех, в разговор вступить, а уехать тоже — куда теперь? Так и болтался неприкаянным средь обозов часа полтора: спрашивал прикуривать, справлялся про фураж, про колесную мазь, про хлеб, про консервы, про деревню — дальние, мол, али ближние? И все это не удавалось, не получалось. Слова были пустые и глупые, никому не нужные. Казалось, что обозники гнушались разговором клычковским, уходили прочь от него небрежно и оскорбительно. Как ядовитые черви, медленно и копотливо проползали минуты; они истерзали, изъязвили, изрешетили Федору сердце,— будто мстили за трусость, за позор.

Орудия ревом крыли окрестность. Шарахался по полю гул, будто метался в стороны и смертно ревел гигантский зверь, загнанный в круг. В стоне, в свисте и в реве шли веселее цепи, ободренные огнем.

В черной шапке с красным околышем, в черной бурке, будто демоновы крылья, летевшей по ветру,— из конца в конец носился Чапаев. И все видели, как здесь и там появлялась вдруг и быстро исчезала его худенькая фигурка, впаянная в казацкое седло. Он на лету отдавал приказанья, сообщал необходимое, задавал

вопросы. И командиры, так хорошо знавшие своего Чапая, кратко, быстро сообщали нужные сведения — ни слова лишнего, ни мгновенья задержки.

— Все пулеметы целы? — бросал на скаку Чапаев.

— Целы! — кричал ему кто-то из цепей.

— Сколько повозок снарядных?

— Шесть...

— Где командир?

— На левом...

Он мчал на левый фланг.

Цепи кидались стремительным бегом. В тот же миг срывались с цепей казачьи пулеметы. Цепи падали ниц, впивались в снежную коросту — лежали замертво, ждали новую команду.

Позади цепей носился Чапаев, кратко, быстро и властно отдавал приказанья, ловил ответы.

Вот он круто свернул коня, мчит к командиру батареи:

— Бить по мельницам!

— Все пулеметы с мельниц скосить!

— Станицу не трогать, пока не скажу!

И, быстро повернув, ускакал обратно к цепям. Чаще, крепче и злей заговорили орудия. Станица нервно торопилась остановить бегущие перебежками цепи. Мельницы взвыли и вдруг разорвались, как лаем, сухим колючим треском: были спущены все пулеметы враз. Обе стороны крепили огонь. Но с каждой минутой ближе и ближе красноармейцы, все точней падают-рвутся снаряды, дух мрет от мысли, что смерть так близка, что близок враг, что надо смять его, у него на плечах ворваться в станицу...

Возбужденный, с горящими глазами мечется Чапаев из конца в конец. Шлет гонцов то к пулеметам, то к снарядам, то к командиру полка, то снова скачет сам, и видят бойцы, как мелькает повсюду его худенькая фигурка. Вот подлетел кавалерист, что-то быстро-быстро ему сказал.

— Где? На левом фланге? — вскинулся Чапаев.

— На левом...

— Много?

— Так точно...

— Пулеметы на месте?

— Все в порядке... Послали за подмогой...

И он скачет туда, на левый фланг, где грозно сдвинулась опасность. Казаки несутся лавой... Уж близко видно скачущих коней... Подлетел Чапай к командиру батальона.

— Ни с места! Всем в цепи... Залпом огонь!

— Так точно...

И он пронесся по рядам припавших в землю бойцов.

— Не робей, не робей, ребята! Не вставать... подпустить — и огонь по команде... Всем на месте... Огонь по команде!!!

Крепкое слово так нужно бойцам в эти последние, роковые мгновенья! Они спокойны... Они слышат, они видят, что Чапаев с ними. И верят, что не будет беды...

Как только лава домчалась на выстрел — ударил залп, за ним другой... кинулась нервная пулеметная дрожь...

Тра-та-та... Тра-та-та... Тра-та-та...— играли бессменно пулеметы.

Ах... xxx! Ах... xxx! Ах... xxx! — вторили четкие, резкие, дружные залпы.

Лава сбилась, перепуталась, замерла на мгновенье.

Ахх!.. Ахх!..— срывались сухие залпы. Еще миг — и лава не движется... Еще миг — и кони мордами повернуты вспять. Казаки мчатся обратно, а им вдогонку:

Тра-та-та... Аххх!.. Аххх! Тра-та-та... Ахх!.. Аххх!

Сбита атака. Уж бойцы от земли подымают белые головы. У иных на лицах, неостывших и тревожных, чуть играет пуганая улыбка... Цепи идут под самой станицей... Чаще, чаще, чаще перебежки... Пулеметный казацкий огонь тонким визгом шархает по цепи. И лишь она вскочит, цепь,— бьют казацкие залпы, их покрывает мелкая волнующая рябь пулеметной суеты... Уж бойцы забежали за первые мельницы, кучками спрятались где за буграми, где у забора — все глубже, глубже, глубже — в станицу...

И вдруг взорвалось нежданное:

— Товарищи! Ура... ура... ура!!!

Цепь передернулась, вздрогнула, винтовки схваче-

ны наперевес,— это порывистой легкой скачью неслись в последнюю атаку...

Больше не слышно казацких пулеметов: изрублены на месте пулеметчики... По станице — шумные волны красноармейцев... Где-то далеко-далеко мелькают последние всадники...

Красная Армия вступала в станицу Сломихинскую...

Жалкий и смущенный выезжал Федор Клычков из своего позорного приюта. Ехал опять к цепям. Не знал, что там делается, но слышно ему было, как пальба все тише, тише, а теперь и вовсе встала.

«Верно, наши вошли в станицу,— подумал он.— А впрочем, может быть и иное: наши были окружены, побились-побились и сдались. Может быть, сейчас уж казаки справляют кровавое похмелье. А через десять минут прискачут сюда, за обозами. И вместе с обозом возьмут его, комиссара». О позор! Позорище-позор! Как ему стыдно было сознать, что в первом бою не хватило духу, что так вот по-кошачьи перетрусил, не оправдал перед собою своих же собственных надежд и ожиданий. А где же мужество, смелость, героизм, о которых так много думал, пока был далеко от цепей, от боя, от снарядов и пуль.

Совершенно уничтоженный сознаньем своего преступленья, он чуть рысил в направлении к тому месту, откуда так позорно бежал два часа назад. Проехал и бугорок, на котором лежал с возницами,— там совсем близко увидел огромную яму от снаряда и кровь на снегу. Что за кровь? Чья она? Тогда еще не знал, как ударил сюда снаряд и загубил троих его недавних собеседников.

За бугорком ровная долина — здесь и шла наша цепь. Но где же она теперь? В станице? А может быть, на том берегу Узеня? Может быть, туда загнали ее казаки? Через станицу ли сквозь прогнали?

Он терялся в догадках, в предположениях.

В это время рысью подъехал всадник. Этот, видимо, тоже «искал пулеметы». Он молотил что-то вздорно и бессвязно. Федор посмотрел ему в лицо и понял, что оба они больны одною болезнью.

— Наши-то где? — спросил небрежно тот, подъезжая вплотную.

— А вот сам ищу,— брезгливо ответил Федор и застыдился. Они друг друга поняли до самого позорного днища.

— Может, в станице уж они? — деланно зевая и с притворной безмятежностью спросил незнакомец.

— Может быть,— согласился Федор.

— Ну, так што же, едем, што ли?

— Куда?

— В станицу-то.

— А как там казаки?

— Едва ли... Верно, вошли... А впрочем...

— То и дело-то: попадешь в лапы — не помилуют!

В этом роде предлагали друг другу несколько раз, столько же раз один другого отговаривали, предостерегали, указывали на необходимость как-нибудь исподволь узнать, осторожно: кто занимает теперь станицу.

За разговором все плыли и плыли вперед, не заметили, что были всего в полуверсте, что с мельниц их давно и отлично видать, что деться все равно никуда нельзя и даже в случае преследованья едва ли имеется смысл удирать: пулеметы с мельниц достанут вослед!

Так ехали и дрожали от неизвестности, дрожали и ехали дальше.

Совсем неподалеку от крайних халуп увидели мальчугана годов десяти.

— Малец, эй, малец, вошла тут Красная Армия али нет?

— Вошла,— прозвенел мальчишка весело.— А вы откуда приехали?

— Беги, беги, мальчуган, гуляй! Про военные дела рассказывать нельзя,— урезонил отечески Федор его баловливое и неуместное любопытство.

Спутник, лишь только услышал, что опасности нет,— куда-то нечаянно и вмиг пропал. Клычков, спокойный, но все такой же приниженный и смущенный, въезжал теперь в станицу, занятую красными полками. Он все успокаивал себя мыслью, что со всеми

новичками, верно, то же бывает в первом бою, что он себя оправдает потом, что во втором, в третьем бою он будет уж не тот...

И не ошибся Федор: через год за одну из славнейших операций он награжден был орденом Красного Знамени. Первый бой для него был суровым, значительным уроком. Того, что случилось под Сломихинской, никогда больше не случалось с ним за годы гражданской войны. А бывали ведь положенья во много раз посложнее и потруднее сломихинского боя... Он выработал в себе то, что хотел: смелость, внешнее спокойствие, самообладание, способность схватывать обстановку и быстро разбираться в ней. Но это пришло не сразу,— надо было сначала пройти, видимо, для всех неизбежный путь: от очевидной растерянности и трусости до того состояния, которое отмечают как достойное.

Расспрашивая встречных, где остановился штаб, Клычков отметил, что все отвечали как-то наспех, словно нехотя, куда-то торопясь,— вся станица была в движении, до чрезвычайности была оживлена и возбуждена. Казаков выбили, угнали и теперь еще продолжали их где-то гнать те части, которым поручено было преследование. Значит, причины возбужденья не в этом — не в военной опасности, не в боевых приготовлениях. Но в чем же?

Он подъехал незаметно к штабу — к огромному дому купца Карпова. Здесь в сборе были все: Чапаев, его ребята, Ежиков. Особенно запомнился Федору Ежиков. Он, видимо, понял, в чем дело, и встретил гуляку чуть сдержанной улыбкой:

— Тылы подтягивали... товарищ... Клычков? — А глаза золотистые и смеются-смеются у дьявола — насмехаются.

— Да... Позадержался там...— неловко пробурчал Федор и обратился к Чапаеву: — Армию известили?

— Сейчас вот собираемся... Из Уральска вести добрые — там двинули вперед, дорогу ко Лбищенску чистят...

— То-то бы дело... А нам тут как, относительно Сахарной-то?

Спросил и смутился: слова показались излишней болтовней, как и сам себе казался он здесь почти что лишним...

«Они все тут шли, сражались, жизнью рисковали, а я, извольте-ка — через два часа пожаловал!»

Угрызения совести шерстили сердце, полымянной мукой кидались в лицо.

Одна за другой подходили к дому женщины-крестьянки. Настойчиво жестикулируя, они доказывали что-то вестовым и караульным, тщетно пытаясь проникнуть в штаб. В окно было видно, что их не пустят,— невозмутимый, усмешливый вид красноармейцев был тому порукой. Федор вышел на волю, расспросил, в чем дело, узнал, что они жаловались на новых своих гостей — красноармейцев, которые-де растаскивают имущество. Федор немедленно отправился с ними на место, расспросил, осмотрел, записал, обещал разыскать и воротить пропавшее.

Грабежи были — этого никак нельзя отрицать. Грабежи во время вступления войск в населенные пункты, видимо, явление неизбежное, и это Федор многократно впоследствии имел возможность наблюдать, как на своих, на красноармейских, частях, так и на войсках врага. Это — нечто стихийное, с чем трудно бороться, что в корне уничтожить немыслимо, пока существует война. Это свойственно бойцу наших дней по природе всей его взвинченной, специфически военной, разрушительной психологии. Военные грабежи пропадут только с войной. Это так. Однако же это вовсе не значит, будто с ними нельзя бороться уже теперь и бороться даже очень, очень успешно.

Федор наткнулся на целый ряд грабежей, вовсе бессмысленных, не имевших в себе нисколько корыстного начала. Идет, к примеру, красноармеец, тащит огромный узел со всяким барахлом.

— Что у тебя? Покажи.

Он совершенно спокойно раскладывается с узлом на снегу, развязывает, вытаскивает оттуда детские рубашечки, пеленки, игрушки разные, тряпки, платьица...

— На что это тебе, дружина?

Молчит. Сам видит, что ни к чему.

— Зачем брал-то, спрашиваю?

— А мы все кому што: взял и понес.

— Зачем же, все-таки?

— Почем я знаю...

— А у меня женщина была, плакала, искала. Надо быть, это самое бельишко и есть...

— Может, оно... Пущай берет,— согласился парень без жалости.

— Не «берет», а отнести надо,— внушительно, дружески, беззлобно сказал ему Клычков.

— И отнести можно,— согласился тот.— Конешно, отнести,— чего ей, бабе, барахтаться? Ты укажи, я сам снесу.

Федор узнал, где тот хватил узел, и направился вместе с ним. Красноармеец принес, молча положил его на железную ощипанную кровать, помялся неловко на месте, взялся за скобу и вышел молча.

Федор встретил другого. Этот голову всунул в плетеную детскую колясочку — может, в печку тащил, а может, и просто позабавиться. Бывало и это — по-разному забавлялись.

Сгребут, бывало, здоровеннейшие лапищи какого-нибудь вихрастого Михрютку, у которого сапожнищи потяжеле да грязи на них в аршин, у которого в ляжках три пуда да полпуда в льняных кудрях,— сгребут и волокут его к такой вот что ни на есть ангельской колясочке. Визжит-брыкается Михрютка, страстным воем пугает мимо идущую публику. В станице ли, в деревне али в городе — игра везде одинаковая. Как ни визжи, а забава состоится: в подмогу со всех сторон сбегаются ребята, помогут они вязать, держать, скрутить парня начисто в детскую колясочку. Свяжут его, прикрутят честь честью и руки веревкой заплетут, а потом выбирают, где горка покруче, да с горки его... на колесиках... кувырком!

Ха-ха-ха! То-то забава молодецкая!

И тут результат был один: колясочку парень Клычкову возвратил без малейшего сожаления, она ему

была совершенно не нужна и соблазнила только своим разукрашенным видом...

Многое разыскали, многое возвратили, станица поутихла, перестала жаловаться. Чапаев приказал немедленно созвать командиров, а когда собрались,— жестким тоном распорядился он произвести массовые обыски и арестовать всех, у кого хоть что найдется из украденного. Что будет отобрано — все сносить в определенные места, назначить особую раздаточную комиссию, пригласить пострадавших и удовлетворить, но... только бедноту: ни одному «буржую» чтобы не было отдано ломаного гроша. Это имущество пойдет в полковые кассы, которые создать надо теперь же, немедленно! Тех, что сами снесут вещи, не трогать, не арестовывать... Кроме этого всего — собрать через два часа на площади всех бойцов, сообщить, что будет говорить «сам Чапаев» — так и наказал передать: «Сам Чапаев говорить, мол, будет!»

Два часа спустя Петька Исаев докладывал Чапаеву, что собрались на площади и ждут его красноармейцы. Тут же пришел командир одного из полков,— вместе направились к площади. Командир дорогой пояснял Чапаю настроенье бойцов.

Чапаева Федор слушал впервые. От таких ораторов-демагогов он давно уж отвык. В рабочей аудитории Чапаев был бы вовсе негоден и слаб, над его приемами там, пожалуй, немало бы посмеялись. Но здесь — здесь иное. Даже наоборот: речь его имела здесь огромный успех! Начал он без всяких вступлений и объяснений с того вопроса, ради которого созвал бойцов,— с вопроса о грабежах. Но дальше он зацепил попутно и огромную массу ненужнейших мелочей, все зацепил, что случайно пришло на память, что можно было хоть каким-нибудь концом «пришить к делу». В речи у Чапая не было даже и признаков стройности, единства, проникновения какой-либо одной общей мыслью: он говорил что придется. И все же, при всех бесконечных слабостях и недостатках — от речи его впечатление было огромное. Да не только впечатление, не только что-то легкое и мимолетное — нет: налицо была острая, бесспорная, глубоко проникшая сила дей-

ствия. Его речь густо насыщена была искренностью, энергией, чистотой и какой-то наивной, почти детской правдивостью. Вы слушали и чувствовали, что эта бессвязная и случайная в деталях своих речь — не пустая болтовня, не позирование. Это — страстная, откровенная исповедь благородного человека, это — клич бойца, оскорбленного и протестующего, это — яркий и убеждающий призыв, а если хотите, и приказание: во имя правды он мог и умел не только звать, но и приказывать!

«Я,— говорит,— приказываю вам больше никогда не грабить. Грабят только подлецы. Поняли?!»

И на это приказание отозвались оглушительные и приветственные и благодарственные, от глубин сердца радостные крики многотысячной толпы. Был неописуемый восторг. Красноармейцы клялись, веруя в слова, честно клялись своему вождю, что никогда не допустят грабежей, а виновных будут сами расстреливать на месте.

Увы, они не знали, что это *невозможно* сделать, что с *корнем* вырвать это на *войне* нельзя, но клялись они убежденно, и нет сомненья, что *сократили* грабежи до последней фронтовой возможности.

Помнятся обрывки чапаевской речи.

— Товарищи! — крыл он площадь металлическим звоном.— Я не потерплю того, што происходит! Я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам же первый *этой* вот расстреляю подлеца! — И он энергически в воздухе потряс правой рукой.— А я попадусь — стреляй в меня, не жалей Чапаева. Я вам командир, но командир я только в строю. На воле я вам товарищ. Приходи ко мне в полночь и за полночь. Надо — так разбуди. Я навсегда с тобой, я поговорю, скажу, што надо... Обедаю — садись со мной обедать, чай пью — и чай пить садись. Вот я какой командир!

Федору стало неловко от беззастенчивого, ребячьего бахвальства, а Чапаев, минутку подождав, крыл невозмутимо:

— Я к этой жизни привык, товарищи. «Академиев» я не проходил, я их не закончил, а все-таки вот сфор-

мировал четырнадцать полков и во всех них был командиром. И там везде у меня был порядок, там грабежу не было, да не было и того, штобы из церкви вытаскивали рясу поповскую. Што ты — поп? Оденешь, што ли, сукин сын? На што украл?

Чапаев грозно обернулся в одну, в другую сторону, даже перегнулся назад, глянул пронзающе и быстро, словно хотел узнать среди многотысячной серой массы того злодея, о котором теперь говорил.

— Поп, известное дело, врет,— отвесил Чапаев крепкую мысль.— Он и живет обманом, а то какой же поп, коль обману нет? Не трожь, говорит, скоромного, а сам будет гуся в масле жрать, только кости потрескивают. Чужого, говорит, не тронь, а сам ворует,— этим попы и опостылели нам... Это верно, а все-таки веру чужую не трожь, она не мешает тебе. Верно ли говорю, товарищи?

Место было выигрышное. Чапаев это знал и потому именно в *этом* месте поставил свой хитрый вопрос. Красноармейцы-крестьяне, раскаленные чапаевской речью, словно давая исход задушившему долгому молчанию, прорвались буйными криками. Только этого и ждал Чапаев. Симпатии слушателей были теперь всецело на его стороне: дальше речь как ни построй — успех обеспечен.

— Ты вот тащишь из чужого дома, а оно и без того все твое... Раз окончится война — куда же оно все пойдет, как не тебе? Все тебе. Отняли у буржуя сто коров — сотне крестьян отдадим по корове. Отняли одежу — и одежу разделим поровну... Верно ли говорю?!

— Верно... верно... верно...— рокотом катилось в ответ.

Вспыхивают кругом оживленные лица, рыщут пламенеющие восторгом глаза... Красноармейцы летучими обрывками слов, кивками, смешками, веселым глазом — выражают друг другу острое сочувствие, согласие, довольство... Чапаев держал в руках коллективную душу огромной массы и заставлял ее мыслить и чувствовать так, как мыслил и чувствовал сам.

— Не тащи!..— выкрикнул он, резко поддав левой

рукой. На минутку встал, не находил нужного слова.— Не тащи, говорю, а собери в кучу и отдай своему командиру, все отдай, што у буржуя взял... Командир продаст, а деньги положит в полковую кассу... Ранят тебя — вот получи из этой кассы сотню рублей... Убили тебя — раз тебе на всю семью по сотне! Што, каково? Верно говорю али нет?

Тут уж случилось нечто непредставимое — восторг перешел в бешенство, крики перешли в исступленный, восторженный вой...

— Все штобы было отдано,— заканчивал Чапаев, когда волненье улеглось,— до последней нитки отдать, што взято. Там разберем, кому отдать, у кого што оставить, вам же на помощь. Поняли? Чапаев шутить не любит: пока будут слушать — и я товарищ, а нет дисциплины — на меня не обижайся!

Он закончил речь свою под отчаянные рукоплесканья, под долго несмолкавшее «ура».

На ящик, с которого только сошел Чапаев, влетел красноармеец, мигом распахнул шинель, задрал гимнастерку и быстрым движеньем расстегнул стягивавший штаны массивный серебряный казацкий пояс.

— Вот он, товарищи,— кричал парень, потрясая поясом над головой,— семь месяцев ношу... в бою достался... сам убил, сам с убитого снял... А отдаю. Не надо... на што он мне? Пущай на помощь идет на общую. Да здравствует наш геройский командир товарищ Чапаев!

Толпа задрожала в приветственных восторгах.

Федор видел, какое глубокое впечатление произвела чапаевская речь, он радовался этому эффекту, но только все тревожился вот относительно «сотни коров» да одежи, которую будут делить «пополам»; потом и с комиссиями этими полковыми тоже не все было ладно.

— Товарищ Чапаев,— обратился он,— мне охота теперь же ознакомиться с красноармейцами, да и рассказать бы я им хотел вкратце насчет нашей общей обстановки в стране, только скажите-ка им сами, что будет, мол, говорить комиссар, товарищ Клычков...

Чапаев — тут же на ящик, предупредил, и Федор стал рассказывать про борьбу на других фронтах —

с Колчаком, Деникиным, со всеми вожаками белых армий. Коснулся коротко международной обстановки, остановился в двух словах на экономической жизни государства... В разных местах, как бы попутно и в виде иллюстраций, он привел чапаевские примеры, остановился на них и, не отвергая прямо, дал такие к ним «объяснения», что от предложений остался только легкий душок...

Федор подходил к разрушению чапаевских положений крайне осторожно и все время подпускал выражения вроде того, что «хорошую и верную мысль товарища Чапаева о нашем *общем* имуществе враги наши истолковывали бы, конечно, так, будто мы берем, тащим и делим кому и что и как вздумается... Но не так думаем мы с товарищем Чапаевым, да и вы, конечно, думаете не так»,— и Федор подкапывал и сваливал с ног ту «дележку», которую, пожалуй, и предлагал Чапаев. Во всяком случае, так можно было развить и понять его знаменитый пример: «...сотню отобранных коров мы разделим сотне крестьян — каждому по корове...» Без разъяснений таких положений оставить было невозможно.

Пребывание, правда, очень краткое, в группе анархистов, крестьянское прошлое Чапаева и удалая его натура, невыдержанная, бесплановая, недисциплинированная,— все это настраивало его на анархический лад, толкало к партизанским делам.

Да, великое дело — слово: ни грабежей, ни бесчинств, ни насилий в станице больше не было.

Как только окончили митинг, Федор разыскал Ежикова и хотел с ним посоветоваться — сегодня ли создать ревком в станице или отложить до утра? Но Ежиков промычал нечто непонятное и от прямого ответа уклонился. Федор решил действовать один: оповестил жителей, чтобы собрались теперь же к помещению станичного управления, пригласил с собой троих политических работников, наметил вопросы, решился сам попытать счастья в новом деле,— ревкомов в полосе военных действий ему создавать еще не приходилось. Станичников собралось немало — помещение не смогло вместить пришедших. Когда Ежиков узнал, что

ревком все-таки будет и без него создан,— он явился сам. Федор этого маневра сразу не понял, догадался он только потом: Ежикову очень, очень хотелось собрать побольше материала о бездеятельности Федора, о его непригодности, слабости и т. д., чтобы того отозвали, а его, Ежикова, оставили комиссаром группы. Он и ревком хотел создать самостоятельно, а Федора поставить перед совершившимся фактом. Да не успел.

Собравшиеся держались неуверенно, как вообще это бывает в подобных случаях. И чему тут удивляться? Вчера были казаки, вчера собирали их здесь же и выбирали свою власть... Сегодня красные пришли, ревком назначают, а завтра, может быть, опять вернутся казаки,— что тогда? Не будут ли сняты головы у станичников, посаженных править станицей?

В ревком работать никто не шел — робели. Те, что не робели и понимали события во всей их сложной и серьезной совокупности, давно уж покинули станицу, ушли по городам, включались в Красную Армию.

Назначили в ревком своих политработников. Стали говорить о работе — что делать в первую очередь, что — во вторую, с чем можно обождать... Решили на первоначальные расходы собрать с присутствующих — кто что может, а потом с шапкой пройтись и по всей станице. Затем связаться с Уральском, получить оттуда указанья-распоряженья, а может быть, и материальную подмогу.

Федор им усердно разъяснял задачи ревкомов, попутно разъяснял и задачи советской власти. Слушали сельчане, соглашались, одобряли... В станице утверждена была советская власть. Над крылечком казачьей управы утвержден был красный небольшой флажок.

К вечеру пустая воротилась разведка. Она тыкалась в разные стороны, вынюхивала, выщупывала, высматривала, но чижинские разливы не позволяли и думать о проезде на санях до большого Уральского тракта. Это верно, что по утрам приморaживало креп-

ко. Это верно, что степь была в рыхлом, в липком снегу. Но уж дороги приметно окисли и распустились, а теплые мартовские дни и вовсе их оплешивили. Надо было приостановить дальнейшее наступление, ждать новых распоряжений. В большом доме у Карпова — купца — собрался весь командный состав: Чапаев приказывал расставлять охрану, подтягивать обозы, наводить порядок в советской станице... Тут же приводили пленных. Долго и безрезультатно допрашивали киргиза, захваченного в степи. Стало известным, что у Шильной Балки — селения в нескольких десятках верст — пошаливают казаки и чуть ли не заняли самый поселок: туда надо было перебросить немедленно часть имеющихся сил — и это обсуждали. Да мало ли разных дел, где про все передать!

Свисли черными туманами сумерки. Истомленные походом и тревогами отгремевшего дня — спали командиры. Заснул и Федор. Чапаев скоро разбудил его — подписать приказ. Проснулся, подписал, опять уснул. И опять разбудил его Чапаев. Всю ночь, до утра, без сна просидел этот удивительный человек. Проснется Федор и видит, как сидит Чапаев один, только светит скупая лиловая лампешка. Сидит он, склонившись грузно над картой, и тот же любимый циркуль с ним, что был в Александровом-Гаю: померит-померит — запишет, опять смерит и снова запишет. Всю ночь, до петушиного рассвета, мерил он карту и слушал молодецкий храп командиров. У дверей, сжав винтовку в обе руки, дремал часовой и серым лбом долбил по черному ребру штыка.

В Сломихинской пробыли четыре дня. Фрунзе по прямому проводу сообщил, что бригаду бросает на Оренбургский фронт. Обстановка скоро заставила изменить и это решение,— перебросили бригаду не к Оренбургу, а в Бузулукский район. Для детальных переговоров Чапаева и Клычкова Фрунзе вызывал в Самару — к себе!

Собрались в четыре минуты. Знали, что больше сюда не вернутся. Побросали в санки походные саквояжики. Не стойт на месте борзая тройка,— выбрали ядреных, самолучших коней!

Аверька уж сидит, готовый в степную скачь, и вожжи подобраны, как старушечьи губы — сухо и крепко! На крыльце Попов, Чеков, Теткин Илья, вся братва чапаевская — высыпали провожать.

— Да скорей бы нас отсюда, товарищ Чапаев...

— Как приеду — вызову враз!

Тройка тронула...

Сверкнули в снежную пыль прощальные крики. С крыльца — как в зеркальцах — плеснулась в глазах разлучная тоска. Кто-то взвизгнул, кто-то кнутом взмахнул, кто-то шапку вскинул до крыши... В серой тоске и в снежных заметах пропало крыльцо...

Степи-степи! Кумачи вечерние, колыбели белые да пуховые!

А по степи ветер, как девичий вздох — ходит пахучими и холодными валами, ходит над белыми снегами, ходит над снежными пустырями, пропадает в чистую синь раннего мартовского неба!

От Сломихинской путь держали обратно, на Александров-Гай — по тому самому пути, где шли еще так недавно с полками... Ехали и молчали. Степь ездоку как люлька — гонит в усладный сон.

Вот уж и Казачья Таловка. Ну, давно ли здесь готовились к бою, изучали и циркулем вспарывали карту, совещались, мозговали, как бы в орех расколотить казару! И ночь — с песнями, с веселым разговором, а потом — с мертвой тишью, здоровенным храпом усталых, крепко-накрепко уснувших бойцов...

Федор припомнил костры и у костров рыжебородого того мужичка и рослого кудрявого парня, что повертывал на угольях картошку и выхватывал на штык. Где они теперь? Остались ли живы?

Так до самого Александрова-Гая — в воспоминаньях о пережитом, в отчетах перед собою за свои поступки.

В Алгае были недолго: передохнули, перекусили — и в путь.

Крыли степь перекладными тройками вплоть до самой Самары.

VII. В пути

Чапаев был из тех, с которыми сойтись можно легко и дружно. Но так же быстро и резко можно разлететься. Эх, расшумится, разбунтуется, зло рассечет оскорбленьем, распушит, распалит, ничего не пожалеет, все оборвет, дальше носа не глянет в бешенстве, в буйной слепоте. Отойдет через минуту — и томится. Начинает трудно припоминать, осмысливать, что наделал, разбираться, отсеивать важное и серьезное от случайной шелухи, от шального чертополоха... Разберется — и готов пойти на уступки. Но не всегда и не каждому: лишь тогда пойдет, когда *захочется,* и только перед тем, кого уважает, с кем считается... В такие моменты надо смело и настойчиво звать его на откровенность. На удочку шел Чапаев легко, распахивался иной раз так, что сердце видно.

Человек он был шумный, крикливый, такой строгий, что иной, не зная, подойти к нему боится: распушит-де в пух, а то — чего доброго — и двинет вгорячах!

Оно и в самом деле могло так быть — на незнакомого да на робкого. Чем в тебе больше страху, тем горше свирепеет сердце у Чапаева: не любил он робкого человека. И поглядеть со стороны — зверем зверь, а поближе приглядись — и увидишь простецкого, милейшего товарища, сердце которого открыто каждому чужому дыханью, и от этого дыханья каждый раз вздрагивает оно радостно-чутко. Присмотрись — и поймешь, что за этой пыльной бранью, за этой нахмуренной суровостью ничего не остается, ни малого камушка у пазухи,— все он выстреливает разом, подчистую. И когда отговоришь с ним,— согласен ты или не со-

гласен,— знаешь зато и чувствуешь, что исчерпал вопрос до донышка. Неконченных дел и вопросов с Чапаевым никогда не остается — у него всегда все кончено. Сказал — и баста!

Голову свою носил Чапай высоко и гордо — недаром слава о подвигах его громыхала по степи.

Та слава застлала Чапаю глаза, перед самим собою рисовала его непобедимым героем, кружила ему голову хмелем честолюбья.

Сподручные хлопцы в глаза и за глаза больше всех шумели про подвиги чапаевские. Это они первые распускали и были и небылицы, они их размалевывали яркими мазками, это они раньше всех пели Чапаю восторженные гимны, воскуряли фимиам, рассказывали про его же собственную чапаевскую непобедимость. Когда Чапаю превосходно врали и даже льстили — он слушал охотно, облизывался, как кот с молока, сам поддакивал и даже кой-что прибавлял в речь враля. Зато пустомелю и мелкого подхалима, не умеющего и соврать путем, выгонял в момент. И впредь наказывал — не пускать к себе.

Поражала еще в характере у него одна удивительная такая черточка: он по-детски верил слухам, всяким верил — и серьезным и пустым, чистейшему вздору.

Верил тому, что в Самаре, положим, на паек выдают по десять фунтов махорки, а вот на фронте и осьмушки нет.

Верил, что в штабе фронта или армии идет день и ночь сплошное и поголовнейшее пьянство, что там одни спецы-белогвардейцы и что они ежесекундно нас предают врагу.

Верил тому, что снаряды, обувь, хлеб, винтовки, пополненье, что бы там ни было,— все это опаздывает по злой воле отдельных лиц, а не из-за общей нехватки, расстройства транспорта, порчи мостов, положим, и т. д. и т. п.

Верил, что тиф заносят птицы: чем больше птиц, тем больше тифу; верил, что сахар растет чуть не целыми головами; что коня не бить — он испортится...

Чему-чему только не верил он по простоте, по чистоте сердечной!

Или вот товарища берет, ну, Попова, что ли. Попов — комбриг. Попов — парень сам герой и был с Чапаем во всех переделках, ходил в атаку не раз, не раз прострелен, контужен, одним словом — не зря комбриг.

И вот какой-нибудь случай в боях: не успел Попов обозы стянуть в срок, не успел на помощь другой бригаде подойти, отступил, положим, на пяток верст, да с тем, чтобы десять разом нагнать...

И уж кто-то шепчет доверчивому начдиву:

— Трус Попов-то... Побежал... Зря не помог — растерялся вовсе... Да пьянствовал, подлец, всю неделю... Против тебя, Чапаева, слово говорил... Зависть имеет...

И слушает, внимает жадно и верит доверчивый Чапай, распаляется гневом.

— Да я ему, подлецу!.. Да я голову оторву!.. Расстреляю за пьянство!.. Это што: людей у меня губить... а сам пьянствовать! А Чапаев отвечай... Позвать немедленно!

И ждет, взбесованный, когда приедет Попов, побросав дела, услыхав про грозовье. Прискакал Попов, в коридоре справляется:

— Сердит?

— У-ух, как сердит...

— Все на меня?

— На тебя одного...

— Поди, наговорил кто?..

— Да уж не без того...

— Ну, пронесет, бог даст...

И, наспех стянув ремни, оправив штаны, кобур, подтянувшись по-военному, входит Попов:

— Здравья желаю, товарищ Чапаев!

А тот и не глядит. И не отвечает. Бешеные глаза под тяжелым свесом ресниц упали вниз. Дергает усы Чапай, молчит целую минуту. А потом — как пробка выскочит из бутылки:

— Опять пьянствовать?

— Да я и не...

— Молчать! Распустились, сукины дети...

— Товарищ Чапаев, я...

— Молчать!.. Расстрелять тебя мало, подлеца! В такой обстановке и до чего распустились, дьяволы! Это што? Это што такое? Это подо што Чапаева подвели?

Попов молчит. Он знает, что выскочит газ — и пробку вынимай спокойно. Он знает, что выкричит Чапаев гнев свой — и притихнет. А как притихнет, тут ему и докладывай, рассказывай, как было, опровергай клевету и вздорные слухи... Сначала поартачится, все еще по упрямству не станет слушать, но ты — иди-иди-иди настойчиво и прямо к цели.

Только ему краешком поколыхай ту веру в клевету — обмякнет, как ситный, посмотрит тебе ласково в глаза и скажет виновато:

— А я, понимаешь ли...

— Понимаю, понимаю...

— Да-да, так вот я, понимаешь ли... Ну, говорят, отступил... Ну, говорят, пьянство опять же...

— Ну да, ну да.

— Так я и поверил — как же не поверить? А ты бы вместо меня разве не поверил? Как же. Того гляди — тут каждый поверит!

И уж Чапаев смеется. И уж ласково треплет Чапай Попова по плечу. Чай пить с собой усаживает, не знает, как окупить вину...

Прошло два дня, прошло три дня — случись с Поповым то же и так же, так же от начала до конца будет верить Чапаев клевете и вздорному слуху, станет бушевать, кричать, грозить, а потом — потом ласкаться виновато...

Он был доверчив, как малое дитя. Оттого и сам много страдал, но перемениться не мог.

Только одному он не верил никогда: не верил тому, что у врага много сил, что врага нельзя сломить и обернуть в бегство.

— Никакой враг против меня не устоит! — заявлял он гордо и твердо.— Чапаев не умеет отступать! Чапаев никогда не отступал! Так и скажите всем: отступать не умею! Наутро же гнать неприятеля по все-

му фронту! Передать, что я приказал! А кто осмелится поперек идти — доставить в штаб ко мне... Я живо обучу, как ж..у назад держать надо!

В своем деле и в своем масштабе Чапаев был большой мастер и знаток: он знал превосходно всю свою дивизию — ее бойцов, ее командиров; меньше знал и почти вовсе не интересовался политическим ее составом. Он превосходно знал ту местность, где развертывались боевые операции,— знал ее то по памяти, от юности, то от жителей, по расспросам, то изучал ее по карте со знающими людьми. А память у него свежая, цепкая — так все и заклещит, не выпустит, пока не надо. Знает он жителей, особо — крестьянскую ширину; городом интересовался меньше; знает — что тут за мужик, чего можно ждать от него, на что можно надеяться, в чем опасность прогадать. Все, что надо, знал про хлеб, про обувь, про одежу, сахар, патроны, снаряды, махорку — про все знал: ни с каким его вопросом не застанешь врасплох.

Зато вот по вопросам другого порядка — по политическим, и особенно тем, что идут за пределами дивизии,— по этим вопросам не понимал, не знал ничего и знать не хотел. Больше того: многому вовсе не верил.

Международность рабочего движения, например, он считал сплошным вымыслом, не верил и не представлял, что оно может существовать в такой организованной форме. Когда же ему указывали на факты, на газетные сведения, он только лукаво ухмылялся:

— А газеты-то — сами же пишем... Чтобы веселее было воевать, вот и выдумали.

— Да нет, тут же лица, города, числа, цифры. Тут неопровержимые факты.

— А што они, цифры,— цифру я и сам выдумать могу...

Первое время он упорно этому верил, обратного и слушать не хотел, только ухмылялся. Потом, после частых и длительных бесед с Клычковым, и на это он изменил свой взгляд, как изменил его на многое другое.

Дальше, он считал, например, всю возню с анархистами ненужной и глупой затеей.

— Анархисту надо волю дать, он тебе вреда не принесет никакого,— говаривал Чапаев.

Программы коммунистов не знал нисколечко, а в партии числился вот уже целый год,— не читал ее, не учил ее, не разбирался мало-мальски серьезно ни в одном вопросе.

Наконец, припоминается отношение его к «штабам» — так он называл все органы, откуда получал приказы, директивы, а равно людей, патроны, одежду,— все, что полагается. Ему до конца в этом вопросе удавалось привить очень мало: Чапаев был глубочайше убежден, что в «штабах» засели почти исключительно одни царские генералы, что они «продают налево и направо», а «народ», под руководством таких вот вождей, как сам он, Чапаев, не дается на удочку и, поступая *поперек* штабных приказов, обычно не проигрывает, а *выигрывает*. Недоверие к центру было у него органическое, ненависть к офицерству была смертельная, и редко-редко где был приткнут по дивизии один-другой захудалый офицерик из «низших чинов». Впрочем, были и такие из офицеров (очень мало), которые зарекомендовали себя непосредственно в боях. Он их помнил, ценил, но... всегда остерегался.

Не чтил и интеллигенцию. Тут ему не нравилось, главным образом, *разглагольствование* о делах и отсутствие видимого, *живого* дела, до которого он сам был такой охотник и мастер. Тех же из интеллигенции, которые умели *дело делать,* считал редчайшим исключением. Из этого отношения его к офицерству и к интеллигенции вполне естественно вытекало у Чапая стремление всюду поставить *своих* людей: во-первых, потому, что они — люди не слов, а дела, и надежны; во-вторых, с ними ему легче, и, наконец, как говорил он многократно,— «учить надо крестьянина и рабочего теперь же, а учить можно только на деле... Я ему приказываю быть начальником штаба — отказывается, дурак, а сам того не знает, что для него же делаю. Прикажу, поставлю, почихает неделю, а там,

смотришь, и заработает, хорошо заработает, никакому офицеру так не сработать!»

Эта линия — выдвигать повсюду своих — была у него центральная. Поэтому и весь аппарат у него был такой гибкий и послушный: везде стояли и командовали только преданные, свои, больше того — высоко чтившие его командиры.

Все эти особенности чапаевского характера Клычков рассмотрел довольно быстро и, рассмотрев, только больше убедился, что прежде надо завоевать у него авторитет и лишь потом перекрещивать, обуздывать его, направить на путь сознательной борьбы — не только слепой и инстинктивной, хотя бы и красочной, героической, такой шумной и славной.

Чем же завоевать авторитет? Надо взять его, Чапаева, в духовный плен. Разбередить в нем стремление к знаньям, к образованию, к науке, к широким горизонтам — не только к боевой жизни.

Здесь Федор знал свое превосходство и убежден был заранее, что лишь только удастся *пробудить* — песня Чапаева, анархиста и партизана, будет пропета, его исподволь, осторожно, но упорно будет можно отвлечь и к другим мыслям, пробудить интерес и к другим делам. Веры в свои силы, в свою способность у Федора было много.

Чапаев из ряда вон, он не чета другим — это верно, его трудно будет обуздать, как дикого степного коня, но... и диких коней обуздывают!.. Только надо ли? — вставал вопрос. Не оставить ли на произвол судьбы эту красивую, самобытную, такую яркую фигуру, оставить совершенно нетронутой? Пусть блещет, бравирует, играет, как многоцветный камень!

Мысль эта у Клычкова была, но она показалась и смешной и ребяческой на фоне гигантской борьбы.

Чапаев теперь — как орел с завязанными глазами: сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесны и страстны, неукротима воля, но... нет пути, он его ясно не знает, не представляет, не видит...

И Федор взялся хоть немножко осветить, помочь ему и вывести на дорогу... Пусть не удастся, не вый-

дет,— ничего: попытка не пытка, хуже все равно от этого не будет...

Если же удастся — ого! Революции таких людей во как надо!

Только отъехали от Александрова-Гая, как в задний ряд отошли из памяти и Сломихинская, и недавний бой, и все события этих последних дней. Вставало новое — то неведомое, огромное дело, по которому спешили теперь в Самару. Они еще не представляли себе всей мучительной опасности, что создалась на колчаковском фронте, и не были осведомлены о серьезности наших последних поражений под Уфой. Но уж и без того ясно было, что не попусту вызывают их столь срочно на переговоры: подготовляется, видимо, большое дело, и в этом деле им придется играть не последнюю роль.

— Как думаете, зачем? — спросил Клычков.

— В Самару-то?

— Да.

— Перебрасывать... На другом месте нужны,— уверенно ответил Чапаев.

Точно оба ничего не знали, гадать попусту не хотели... разговор оборвался сам собой. Каждый думал втихую — бескрайные невысказанные думы...

Приехали в первое попутное село. Остановились у совета... Крестьяне, лишь только заслышали, что приехал Чапаев, набились в избу, теснились, проталкивались, жаждая взглянуть на прославленного героя. Скоро о приезде узнало и все село. На улице закружилась беготня, все спешили застать, взглянуть на него. У крыльца напрудилась многолюдная толпа: ребятишки, бабы, наползли даже седобородые, сухие, белые старики. Все с ним здоровались, с Чапаевым, как с хорошим и давним знакомым, многие называли по имени-отчеству. Оказалось, что и здесь, как под Самарой, нашлись старые бойцы, воевавшие с ним вместе в 1918 году. И плывут, плывут умилительные, медовые улыбки, играют радостью серые чужие лица. Иные смотрят серьезно и пристально, словно хотят насмотреться досыта и отпечатать навеки в па-

мяти своей образ геройского командира. Иные бабы стояли в смешном недоуменье, ничего не зная и не понимая, в чем тут, собственно, дело и на кого и почему так любопытно смотрят: побежали мужики к совету, побежали с ними и они... Мальчишки не галдели, как галдят всегда, стояли смирно, терпеливо чего-то ждали. Да и все чего-то ждали,— хотелось, видно, послушать, как Чапаев станет говорить... Отдельные, случайно пойманные слова прыгали из уст в уста по толпе. Их перевирали, их перепутывали, но гнали дальше, дальше и дальше...

— Сказал бы нам што-нибудь, товарищ командир,— обратился к нему председатель совета.— Мужичкам же, видишь, охота послушать умную речь.

— Чего скажу? — улыбнулся Чапаев.

— А как там живут, скажи, кругом-то... Чего-нибудь да надумай...

Чапаев ломаться не любил. Охоту послушать у мужичков знал и видел сам,— чего же не поговорить.

Пока запрягали лошадей, он обратился к крестьянам с речью. Трудно сказать что-нибудь про главную тему этой чапаевской речи,— он повторял самые общие места про революцию, про опасность, про голод. Но и эти слова были по душе: шутка ли, сам Чапаев говорит! С напряженнейшей внимательностью выслушали они до последнего слова замысловатую, сумбурную его речь, а когда окончил — сочувственно покачивали головами, пришептывали:

— Это вот так да!

— Ну, так ищо бы!

— Ай, и молодец!

— Много хорошего сказал, вот спасибо, братец... Вот так уж спасибо!

Сколько сел и деревень ни проезжали — Чапаева знали всюду, встречали его везде одинаково почетно, радостно, местами — просто торжественно. Деревня высыпала целиком посмотреть на него, мужички вступали в разговоры, бабы охали и шептались, мальчишки долго-долго кричали и бежали за санями, когда уезжали. Кой-где произносил он «речи». Эффект и успех были обеспечены: дело было не в речах, а в

имени Чапаева. Это имя имело магическую силу,— оно давало знать, что за *«речами»,* быть может бессодержательными и ничего не значащими, скрываются значительные, большие дела. Это очень удивительное свойство человеческое, но уж всегда так: случайному и подчас *глупому* слову известного и славного человека всегда придается больше весу, чем бесспорно *умному* замечанью какого-нибудь бледненького, незаметного «середняка».

На одном из перегонов разговорились про частные дела: кто откуда, чем занимался, в какой среде вырос,— словом, на темы бескрайные. Федор рассказал про черный рабочий город, где родился, получил первые детские впечатления, понял впервые, что жизнь — суровая борьба... Потом — кочевая жизнь, и так вплоть до самой революции... Когда он кончил свою коротенькую автобиографию, Чапаев стал рассказывать о себе. Чтобы не забыть, Федор в первой же деревушке на память записал чапаевскую повестушку.

БИОГРАФИЯ ЧАПАЕВА

...Мне Чапаев рассказал про себя,— писал Клычков.— Верить ли — не знаю. Во всяком случае, на иных пунктах берет меня сомнение, например, на его родословной,— очень уж явственно раскрасил. Мне думается, что в этом месте у него фантазия, однако ж передам все так, как слышал, отчего не передать? Вреда не вижу, а кому захочется точно все установить — пусть-ка пошатается по тем местам, про которые говорю,— там сохранились у Чапая и друзья и родственные люди. Они порасскажут, верно, немало про жизнь и борьбу степного командира.

— Знаете, кто я? — спросил меня сегодня Чапаев, как сидели в санях, и глаза у него заблестели наивно и таинственно.— Я родился от дочери казанского губернатора и артиста-цыгана...

Я было предположил, что он «шутить изволит», но, выждав минутку и не услышав от меня крика изумленья, продолжал Чапаев:

— Знаю, что поверить трудно, а было... все было, как есть... Он, цыган-то, увлек ее, мать, да беременную и бросил — как знаешь сама. Ну, куда же бедняжке деваться? Туда-сюда, а матери не миновала. Мать-то вдовой уж была. «Дедушки» моего, губернатора, в живых тогда не стало... Приехала это к матери да тут же при родах и умерла. Я остался щенок щенком. Куда, думают, укрыть этакое сокровище? Да и придумали. Зовут это дворника, а у дворника-то брат в деревне жил,— этому брату и подарили, словно игрушку какую. Живу, расту, как все ребятишки росли. У него же своя семья в целую кучу! Раздеремся, бывало, верещим — святых выноси... Про малое детство почти што и не помню ничего, да, надо быть, и помнить-то нечего — оно в деревне у всех одинакое. А подрос к девятому году — в люди отдали, и шатался я по этим людям всю мою жизнь... Перво-наперво дали свиней пасти — и я практику на них выдержал: большую скотину сразу не дают. Когда на свиньях наловчился, пастухом сделался настоящим, а из пастухов-то артель меня плотничья взяла, своему делу зачала учить... С ними и работал, по нарядам ходил, а потом из плотников в лавчонку угодил, к купцу... Торговать учился, воровать норовился, да не вышло ничего — очень уж не по душе был этот мне обман... Купец — он чистым живет обманом, а ежели обмана не будет в купце,— жить ему сразу станет нечем. Вот я тогда это все и понял, а как понял — ничем тут меня не вразумишь: не хочу да не хочу, так и ушел... Што теперь я злой против купца, так все оттого, што знаю я его насквозь, сатану: тут я лучше Ленина социалистом буду, потому што на практике всех купцов разглядел и твердо-натвердо знаю, што отнять у них следственно все, у подлецов, подчистую разделать, кобелей. Плюнул я на торговлю в тот раз и подумал промеж себя: чего же, мол, делать-то я стану, сирота? А в годах был — по семнадцатому. Мекал-мерекал, да и выдумал по Волге ходить, по городам, народ всякий рассмотреть, да как кто живет разузнать самолично... Купил шарманку опять же себе... И была еше тогда со мной *девушка* Настя!..

«Пойдем,— говорю,— Настя, по Волге ходить: я петь да шарманку вертеть, а ты плясать почнешь. Зато уж и в Волгу-то мы насмотримся и все города-то мы обойдем с тобой!» И пошли... В разных местах, как зима зажмет, и подолгу живали с ней, работать даже принимались на голодное живье... Да што тут за работа — услуженье одно... по зимнему делу... А как оно на апрельских зеленях покатится солнышко, как двинет матушка льды на Каспийское море,— подобрали мы голод в охапку да берегом, все берегом, бережком... И музыка шарманная и жаворонки поверху свистят, да Настя тут, да песня тут... Эх ты, не забыть тебя — не забуду! Ну ж и красавица ты по весне плывешь!

И вдруг опустилась Чапаева голова, стих печально веселый голос:

Много в апрелях солнца, а кроме солнца — преет апрелем земля... И от прелости той не уберег я ее, касатку... Свернулась, как листик зеленый. И осталась пустая моя шарманка... А плясунку в Вольском на берегу схоронил... А сам цыгану шарманку загнал — и остался я будто вовсе один... Да, жисть-то, она всегда такого подбирает — подобрала и меня: царская служба к годам подошла... Коли служба подошла — служить пошел, а служить пошел — война пришла... Да с самых тех пор и выходу нет из-под ружья... Вот она какая...

— Вы же были женаты? — спрашиваю я Чапая.— Помнится, вы что-то и насчет ребятишек...

— А, да... Я это перед войной... Это верно, что женат-то был, только недолго оно. Как германская стукнула — враз забрили... Приехал как-то на побывку — неладное говорят о жене. Я и так и не так: скажи, говорю, как это все произошло, обнаковенно?

«Ни при чем,— говорит,— я, Вася, все это злой наговор людской».

Так-то оно так, што злой наговор, а все же я промеж прочего и на самом деле узнал, как она в полном бесчестье происходит. Ну, што же, говорю, змея зеленая, хоть и любил я тебя, а иди же ты, сука, на четыре стороны, не хочу я больше знать тебя в жиз-

ни. Детей же беру с собой... И больно уж обида меня взяла! Два ведь года не видел ее, а других штобы баб — пальцем не шевелил. Я никогда этого... Все ждал, што к ней ворочусь, только для нее и берег себя... Ну, и как же тут сердцем не встревожиться! Прибыл муженек, а она — вон што!

Поехал я назад, на позицию, да с горя так и лезу, так и лезу под огонь. Один, думаю, конец, раз в жизни ничего не выходит... Всех георгиев четырех заслужил, унтером сделался, в фельдфебели вышел, а пуля не берет... Уж и ранетый был не единожды, а все вот цел да цел... Только одна и жила беда: воевать умел, а грамоты не знаю никакой. И так-то мне тошно, стыдобушка берет, да и зависть погрызла: читают ребята, пишут кругом, а я и знать не знаю ничего... Както, помню, «серым чертом» прапорщик меня обозвал, а я его как шугану по-русски в три этажа,— зло уж больно взяло... Так все лычки у меня и ободрали, остался я опять на солдатском низу. Зато грамоте тут обучился: читать и писать, все как есть заучил. Дело делом, война врастяжку пошла, а вот и революция подоспела — гонют меня в Саратов, в гарнизонный полк.

Што ты, думаю, шут те дери? Кругом и разговоры умные и знают люди, што говорят, отчего-почему движенье народа произошло, а я один того не знаю. Дай, в партию поступлю... Одного толкового человека упросил — он меня к кадетам все приноравливал, только оттуда я скоро... есером стал: ребята, гляжу, как раз на дело идут... Побыл с есерами и на собрания ихние хаживал — и тут услышал анархистов. Вот оно, думаю, дело-то где! Люди зараз всего достигают, и стеснения притом же нет никакого — каждому своя воля... А Керенский организоваит в то время добровольцев отряд, из сербов. Меня командиром ставили. Да я же его и развалил, отряд-то весь,— против Керенского сам обернул. Тогда меня, голубчика, разжаловали, в Пугачев отправили, командиром роты назначили. А времена ж ведь какие тогда? В Пугачеве совнарком был свой, и председатель этого совнаркома был парень — ну, одним словом, настоящий...

Я ему что-то полюбился, видать, да и мне по сердцу! Как послушаю, аж самому охота умным жить. Он-то меня, совнаркомщик, и стал выучивать да просвещать. С тех пор уж все я по-другому разумею. Да и всю анархизму кинул — сам в большевики ступил... И книжки пошли у меня другие — читать же я больно охотник. Ту войну, как грамоте обучился, лежу в окопах и читаю, все читаю... Ребята смеяться начнут: псаломщиком будешь, мол, зачитаешься, а мне и смеху нет. Про Чуркина атамана читал, Разина, Пугачева Емельку, Ермака Тимофеича, доставал про Ганнибала, тоже читал Гарибальду итальянского, самого Наполеона... Я, знаете, все больше люблю, штобы воевать человек умел да сам бы себя не жалел, коли надо бывает... Всех я этих знаю. И к тому ж других читал... Тургенева, говорили, хорошие сочинения, да не достал, а у Гоголя все помню, и Чичкина помню... Эх, кабы мне да побольше образоваться — тут по-другому голова б работать стала. А то чего же, как есть темный человек! Был темный, темный и остался...

Да некогда было и учиться мне: на Пугачи, так и гляди, казаки наскочут... Как где надо притом же хлеб доставать али бунт какой усмирить,— завсегда меня посылали:

— Здесь Чапаев?

— Здесь,— говорю...

— Поезжай.

И больше ничего: учить меня не надо, знаю сам...

Довел Чапаев свою автобиографию до самого Октябрьского переворота.

Все ли у него так рассказано, как было,— откуда мне знать? Прихвастнуть любил — этот грех за ним водился,— может, и тут что приплел для красного словца... Только и приплел ежели, так пустяк какой [1].

Биография как будто самая рядовая, нет в ней ничего замечательного, а в то же время — присмотритесь: всеми обстоятельствами, всей нуждой и собы-

---

[1] Относительно «губернаторского» происхождения, по-видимому, сплошная выдумка; в этсм все потом сомневались.

тиями личной жизни он толкаем был на недовольство и протест.

У Федора и еще было кой-что приписано, да мы уж остановимся на этом и рассуждения его о Чапаеве приводить не будем. Что у Чапаева за жизнь была после Октября — об этом сведений одинаковых нет: слишком красочна была эта полоса. Он, как вихрь, метался по степи. Его сегодня видели в одном селе, а назавтра — за сотню верст в стороне... Казаки трепетали одного имени Чапаева, избегали вступать с ним в бой,— так были околдованы его постоянными успехами, победами, молодецкими налетами.

До Самары ехали четыре дня. Сел и деревень по пути перевидали множество. И где бы ни произносилось имя Чапаева, оно всюду производило одинаковый эффект. Сам Чапаев держал себя с неподражаемым апломбом. Был такой случай: к какому-то селу подъехали поздним вечером, народу нет по улицам, про совет спросить не у кого. Хотели толкнуться в избу к кому-нибудь, да вылезать неохота на морозе; поехали прямо на церковь, в расчете, что найдут совет «там, где-нибудь, на площади».

Наконец попадается встречный.

— Товарищ, где здесь совет?

— Там вон, за оврагом...— показал он в другую сторону.

Повернули, приехали. Огромнейшее здание, похожее на сарай, старое, глухое, дикое, да и в месте совершенно диком — за оврагом, на отлете села, так и видно, что в забросе... Стучали-стучали, насилу отперли. Выходит дряхлейший глухой старикашка.

— Чего,— говорит,— надо, соколики?

— Где дежурный? — сердито спрашивает Чапаев.

— А нету никого... по домам все, тут днем только ходют... Нету никого...

— Позвать немедленно председателя...

Федор в таких случаях никогда не протестовал против настойчивости и даже резкости обращения:

по тем временам особой вежливостью мало чего можно было добиться. Иной раз видят, что мямля человек, так его и метят затереть, забыть, не дать ему ничего... Суровое было время, по-суровому тогда и поступать приходилось, коли хотел какое-нибудь дело делать, а не слова долбить.

За председателем послали — тот еще по дороге от вестового узнал, что вызывает его «сам Чапаев». Подходит оробелый, снимает шапку, кланяется.

— Это што же, братец, совет-то тебе — свинюшник, што ли? — грозно встретил его Чапаев.— Куда ты его к черту на кулички выбросил — места тебе нет посреди-то села, а?

— Да народ не дает,— робко заметил председатель.

— Какой народ? Не народ, это кулаки не хотят, а народ тут ни при чем... Ишь ты, уступчивый какой...

— Да я хотел...

— Чего хотел! — оборвал Чапаев.— Тут делать надо, не хотеть... А властью называешься... Завтра же перевести совет на площадь, занять там дом хороший и сказать, што Чапаев приказал. Понял?

— Понял,— промямлил тот.

— Я поеду обратно из Самары, смотри, если застану в этой дыре...

Бессловесный и, видимо, никчемный председатель из числа «подставных» засуетился, забегал насчет лошадей... Даже и ночевать не стали «в таком селе», ночью же укатили.

Приехали в Самару. Явились к Фрунзе. По-товарищески позвал он Чапаева и Федора зайти к нему вечером на квартиру — дотолковаться как следует по поводу предстоящих операций. Пришли. Фрунзе объяснил положение на фронте, говорил о том, как решительно надо теперь действовать, какие нужны командиры по моменту... Когда Чапаев по каким-то делам отлучился минут на пяток, Фрунзе спрашивает Федора:

— Дело серьезное, товарищ Клычков... Думаю на-

значить Чапаева начальником дивизии. Что скажете? Я знаю его мало, но слухов о нем — сами знаете... Как он на деле-то? Вы с ним хоть сколько-нибудь да поработали...

Федор высказал ему все, что думал,— хорошее высказал мнение, оттенил только незрелость политическую.

— Я и сам того же мнения, — заключил Фрунзе.— Человек он, бесспорно, незаурядный... Пользу может дать огромную, только вот партизанщиной все еще дышит жарко... Вы постарайтесь... Ничего, что горяч: они, и горячие-то, ручными бывают...

Федор коротко пояснил Фрунзе, что в этом направлении как раз и ведет свою работу, что симпатию и доверие Чапаева уже безусловно заслужил и думает, что в дальнейшем сойдется с ним еще ближе.

Вошел Чапаев. После короткой беседы Фрунзе сообщил ему о назначении и сказал, что ехать надо теперь же на Уральск и там ждать распоряжений, так как общий план предстоящей операции все еще довольно неясен. Простились. Ушли. Через два часа уезжали из Самары. Перед отъездом Чапаев попросил разрешения заехать в Вязовку — свое родное село; Фрунзе согласился. Поехали на Вязовку.

— У вас кто в Вязовке-то? — спросил Федор.

— Все в Вязовке... Старики там, отец с матерью — названые... Двое парнишек, девчонка — эти живут со вдовой одной... У той, видите ли, двое своих, вот вместе все и живут...

— Знакомая хорошая?

— Да, хорошая знакомая... Очень знакомая,— Чапаев хитро улыбнулся.— Друг у меня помер, а она осталась, друг-то и завещал, штобы оставалась со мной...

В Вязовке встретили с большим триумфом. Председатель совета сейчас же созвал заседание в честь приезда дорогого гостя. Там Чапаев говорил свои «речи»... Вечером в народном доме его имени «местными силами» поставили спектакль. Играли безумно скверно, зато усердие было проявлено колоссальное:

артистам хотелось заслужить чапаевскую похвалу... Переночевали, а наутро — марш в Уральск!..

Федору показалось, что с ребятишками Чапаев обходится без нежности; он его об этом спросил.

— Верно,— говорит,— с тех пор, как у меня эта щель семейная объявилась, ништо мне не мило, и детей-то своих почти што за чужих стал считать...

— А воспитывать как же станете?

— Да што же воспитывать: мне вот все некогда, а тут — кто их знает как, я даже и не спрашиваю об этом... Посылаю из жалованья, и кончено...

— Да жалованья мало...

— Мало, знаю... притом еще за ноябрь с декабрем у меня не получено... Вон где ноябрь... А теперь март за половину. Не платят...

— Плохо дело...

— Каждый теперь што-нибудь теряет, товарищ Клычков, каждый,— проговорил серьезно Чапаев.— Без этого, знать, и революция быть не может: один имущество свое теряет, другой — семью, иной, глядишь, вот ученье погубит, а мы — мы и жизнь-то, может, вовсе утеряем.

— Да,— задумался Федор,— может, и жизнь... А интересно, в самом деле: конца войне нет... Все новые и новые враги со всех сторон... И кругом в опасности... Мы вот с вами долго ли наездимся вместе? А близки ведь уж и новые походы...

— И думать не думаю про это,— отмахнулся рукой Чапаев.— Кто его знает, конец-то... Иной раз в такую кашу засыпался — и выходу, кажется, нет никуда, ан, жив. Лучше не думать наперед. Я единожды к чехам в деревню по ошибке прикатил, в девятьсот восемнадцатом еще году было... Своя, думаю, да своя деревня-то, а шоферу што! — он увезет куда хочешь... Только въехали — батюшки: чехи! Ну, говорю, Бабаев (шоферу-то), закручивай, как знаешь,— а у самого пулемет на руках... Крути, говорю, на улице, а я стрелять стану... Успеешь закрутить — спасемся, а то — поминай как звали... Он крутит, а я палю, он крутит, а я палю... Как завернул, да как даст ходу, а кавалеристов тут человек пятна-

дцать на нас выехало, вот и началось вдогонку-то... Обернулся я лицом назад — пыль дугой, не видно ничего, только стреляют, слышу, на скаку-то: они на нас, а я все туда да туда... Обе ленты расстрелял... Ну-ка, лопни тут шина, што от меня осталось бы?.. Чех за мою голову и тогда награду обещал: принеси, говорит, голову Чапаева, золота дадим... У меня хлопцы прочитают эти бумажки, смеются над чехом-то, а один раз написали: «Приходите, мол, к Стеньке Разину в полк, мы вам и без золота отдадим...» Написали, запечатали в письмо да мальчишке деревенскому дали отнести... У меня много бывало всяких *происшествиев*.

— И сохранен вот...— сказал Федор.— Чем сохранен — случайностью ли обстоятельств, своею ли находчивостью, кто знает? А поди, десятки раз на волоске от смерти был.

— Так вот,— отозвался охотно Чапаев,— именно десятки и есть, и даже многие десятки. Я себе все сам задаю этот вопрос: што это я какой живучий, словно нарошно кто меня оберегает?.. А другому, как только первая пуля полетела,— хлоп, и нет человека.

— Ну, так что же,— спросил Федор,— сами-то вы все-таки как думаете: случайность тут или другое что?

— Да нет, случайность где же — везде голова нужна... ой, как нужна голова! Ведь бывает, што всего одну минуту переждал, и нет тебя, да не одного тебя — сто человек можно загубить... Нас, сонных, чех захватил в деревне... А я на другом конце ночевал, вскочил в одних штанах, да «ура-ура»... А и нет у нас ничего — оружия-то никакого, да обрадовалась ребятня, да как кинулась — разом отняли у кого што. И не токмо пленных своих отняли, а ихних в плен набрали... *Находка* нужна, товарищ Клычков, без находки разом пропадешь на войне.

— А пропадать-то неохота? — пошутил Федор.

— И тут неодинаково,— серьезно ответил Чапаев.— Вы думаете, каждому человеку жизнь свою жаль? Да не только што, а и один не всегда ее лю-

бит как следует. Я, к примеру, был рядовым-то, да што мне: убьют аль не убьют, не все мне одно? Кому я, такая вошь, больно нужен оказался? Таких, как я, народят сколько хочешь. И жизнь свою ни в грош я не ставил... Триста шагов окопы, а я выскочу, да и горлопаню: на-ка, выкуси... А то и плясать начну, на бугре-то. Даже и думушки не было о смерти. Потом, гляжу, отмечать меня стали — на человека похож, выходит... И вот вы заметьте, товарищ Клычков, што чем я выше подымаюсь, тем жизнь мне дороже... Не буду с вами лукавить, прямо скажу — мнение о себе развивается такое, што вот, дескать, не клоп ты, каналья, а человек настоящий, и хочется жить настоящему-то как следует... Не то што трусливее стал, а разуму больше. Я уже плясать на окопе теперь не буду: шалишь, брат, зря умирать не хочу...

— А в дело? — спросил Федор.

— В дело? Вот вам клянусь,— горячо сказал Чапаев,— клянусь, чем хотите, што в *дело* трусом не буду никогда... Ежели в дело — тут всякие другие мысли пропадают... А вы думали — што?

— Да нет, я ничего не думал, так спросил...

— Так ли? Может, в *штабе* про меня?

Федор не понимал, о чем он говорит.

— С полковничками? — продолжал Чапаев, и в голосе чувствовалось едва сдерживаемое раздражение.— Там, конечно...

— Да нет, серьезно же говорю вам,— успокоил его Клычков,— ни с какими «полковничками» ничего я не говорил, да и чего мне?

— А то они понаскажут...

— Не любят? — спросил Федор.

— Ненависть имеют ко мне,— медленно и внушительно сказал Чапаев.— Я телеграммы да писульки им такие отсылал, что в трибунал хотели... Только вот война помешала, а то, чего доброго, и на суд попадешь... Ему там у стола сидеть — малина: полезай, говорит, на рожон... А я на рожон никогда тебе не полезу, хоть ты кто хочешь будь... На-ка, разыскались командиры... Патронов коли тебе надо — так нет

их, а на приказы — ишь, гораздые какие... Ну, и шил я их почем зря... Хулиган, говорят, партизан, чего с него взять...

— Так, товарищ Чапаев,— изумился Федор,— что же вы думаете — полковниками у нас, што ли, Красная-то Армия управляется?

— А то што?

— Да как што: а реввоенсоветы, комиссары наши, командиры красные...

— «Ревасовет» выходит, што ничего и не понимает в другой раз, а наговорят ему — и верит...

— Нет, это не то, совсем не то,— возражал Федор.— У вас неправильное представление о ревсоветах... Там народ свой сидит, и понимающий народ, вы это напрасно...

— А вот увидите, как в поход пойдем,— тихо ответил Чапаев, но в голосе уж ни уверенности, ни настойчивости не было.

Федор рассказал ему, как организовывались реввоенсоветы, какой в них смысл, какие у них функции, какая структура... И видел, что Чапаев ничего этого не знал, все эти сведения были для него настоящим откровением... Слушал он чрезвычайно внимательно, ничего не пропускал, все запоминал — и запоминал почти буквально: память у него была знаменитая... Федор всегда удивлялся чапаевской памяти: он помнил даже самомалейшие мелочи и нет-нет — да ввернет их где-нибудь к разговору.

Федор любил эти долгие, бесконечные беседы. Говорил и знал, что семя падает на добрую землю. Он замечал в последнее время, что мысли его иногда Чапаев выдавал за свои — так, в разговоре с кем-нибудь посторонним, как бы невзначай... Федор видел, как тот почувствовал в нем «знающего» человека и, видимо, решил, в свою очередь, использовать такое общенье. От вопросов об управлении армией, о технике, о науке — они перешли к самому больному для Чапаева вопросу: о его необразованности. И договорились, что Федор будет с ним заниматься, насколько позволят время и обстоятельства... Наивные люди: они хотели заниматься алгеброй в пороховом дыму! Не при-

шлось заняться, конечно, ни одного дня, а мысль, разговоры об этом много раз приходили и после; бывало, едут на позицию вдвоем, заговорят-заговорят и наткнутся на эту тему.

— А мы заниматься хотели,— скажет Федор.

— Мало ли што мы хотели, да не все наши хотенья выполнять-то можно...— скажет Чапаев с горечью, с сожалением.

Видел Федор, как жадно ухватывался Чапаев за всякое новое слово,— а для него многое-многое было новым! Он целый год состоял в партии, кажется, дело бы ясное по части религии, а тут как-то Клычков вдруг увидел, что Чапаев... крестится.

— Что это ты, Василий Иваныч? — обратился он к Чапаеву.— Коммунист господень, да в уме ли ты?

(Они уже через две недели знакомства перешли на «ты».)

Чапаев смутился, но задорно отвечал:

— Я считаю — и коммунисту, как он хочет. Ты не веришь — и не верь, а ежели я верю, так што тут тебе вреда какого?

— Не мне вред, я не про себя,— напирал Федор.— Я тебе-то самому изумляюсь — как ты, коммунист, и в бога верить можешь?

— Да, может, я и не верю.

— А не веришь, что крестишься?

— Да так... хочу вот... и крещусь...

— Ну, как же можно... Разве этим шутят? — увещевал его серьезно Клычков.

Тогда Чапаев рассказал ему «историю» из времен далекого детства и уверял, что эта именно история и дала всему начало.

— Я мальчишкой был маленьким,— рассказывал он,— да и украл один раз «семишник» от иконы,— у нас там икона стояла одна чудотворная... Украл и украл... купил арбуза да наелся, а как наелся, тут же и захворал: целых шесть недель оттяпал... Жар пошел, озноб, поносом разнесло, совсем в могилу хотел... А мать-то узнала, што я этот семишник украл,— уж она кидала-кидала туда... одних гривенников, го-

ворила, рубля на три пошло, да все молится-молится за меня, чтобы простила, значит, богородица... Вымолила — на седьмой неделе встал... Я с тех пор все и думаю, што имеется, мол, сила какая-то, от которой уберегаться надо... Я и таскать с тех пор перестал,— яблока в чужом саду не возьму — все у меня испуг имеется... Под пулями ничего, а тут вот робость одолевает... Не могу...

Федор на этот раз говорил немного, а потом неоднократно подводил разговор к теме о религии, рассказал о ее происхождении, о так называемом боге. Больше Чапаев никогда не крестился... Но не только креститься он перестал, а сознался как-то Федору, что «круглым дураком был до тех пор, пока не понимал, в чем дело, а как понял — шутишь, брат: после сладкого не захочешь горького...»

В результате этих нескольких бесед Чапаев совершенно по-иному стал рассуждать о вере, о боге, о церкви, о попах; впрочем, попов он ненавидел и прежде, только крошечку все-таки и насчет них робел думать: все казалось, что «к богу они поближе нас, хоть и подлецы порядочные».

Чем дальше, тем больше убеждался Федор, что Чапаев, этот кремневый, суровый человек, этот герой-партизан может быть, как ребенок, прибран к рукам; из него, как из воскового, можно создавать новые и новые формы — только осторожно, умело надо подходить к этому, знать надо, что «примет» он, чего сразу не захочет принять... Основная плоскость, на которой можно было его особенно легко вести за собою,— это плоскость науки: здесь он сам охотно, любовно шел навстречу живым мыслям. Но и только. В другом — неподатлив, крепок, порою упрям. Условия жизни держали его до сих пор «в черном теле», а теперь он увидел, понял, что существуют новые пути, новое всему объяснение, и стал задумываться над этим новым. Медленно, робко и тихо подступал он к заветным, закрытым вратам, и так же медленно отворялись они перед ним, раскрывая путь к новой жизни.

VIII. На Колчака

Ожидая распоряжений, в Уральске пробыли десять дней. Тоска была мертвая, дела никакого. Толкались в штабе Уральской дивизии, стоявшей здесь, поддерживали связь с бригадой своей дивизии,— эта бригада в те дни еще не переброшена была в Бузулукский район. Скучали — мочи нет. Только один раз, и на самое короткое время, увиделся Федор с Андреевым,— тот почти непрерывно разъезжал по фронту и в Уральск заглядывал только налетами. Он осунулся, пожелтел, глубоко ввалились и казались почти черными его чудные синие глаза,— видно, что недосыпал часто, много волновался, а может, и с питанием не все было ладно. Клычков его встретил в коридоре штадива, совершенно одетого, готового к отъезду, несмотря на то, что приехал он сюда всего полчаса назад. Друг на друга посмотрели долгим, испытующим взглядом, как будто спрашивали:

«Ну, что нового дала тебе эта новая жизнь: что приобрел и что потерял?»

И, кажется, оба заметили это *новое,* что ложится неизгладимой печатью на взгляд, на лицо, на движенья у того, кого уже коснулась боевая жизнь.

Поговорили на ходу всего несколько минут и распрощались до новой встречи...

Чапаев нервничал выше меры — он без дела всегда был таков: как только на день, на два, бывало, придется остановиться и ждать чего-нибудь,— Чапаева не узнать. Он в таком состоянии привязывается ко всем безжалостно, бранится по пустякам, грозит наказаниями...

Внутренняя сила, его богатая энергия постоянно ищет выхода, и когда нет ей применения в делах, она разряжается попустому, но разряжается непременно.

Уральская дивизия в это время фронт свой имела где-то около Лбищенска. Операции шли ни хорошо, ни худо: без больших поражений, но и без значительных побед. Вдруг — несчастие: в неудачном бою по-

гибло что-то очень много народу. Фронт за Лбищенском колыхнулся. Новоузенский и Мусульманский полки были растрепаны; им на помощь срочно послали куриловцев. Целая катастрофа. И все так неожиданно. Как гром среди ясного неба. Не ждали, не предполагали, не было никаких признаков. Начальник Уральской дивизии — хладнокровный, испытанный командир — и тот растерялся, не сразу освоился с происшедшим, не знал вначале, что надо предпринять. Советовался с Чапаевым, вместе порешили — как быть.

Но восстановить фронта уже не удалось,— Уральск вскоре был окружен кольцом и в этом кольце продержался целые месяцы...

Как только получена была весть о катастрофе и передана в центр, Фрунзе приказал немедленно особой комиссии расследовать причины поражения; в комиссию входил и Чапаев, председателем назначили Федора. Чапаеву, видимо, было обидно, что председательство поручено не ему, а комиссару, но это сказалось лишь потом. Чапаев и не предполагал, что тут, кроме обстоятельств чисто военных, может быть не меньшую, если не большую роль могли играть обстоятельства политические: так, видимо, взглянул на дело центр, потому и поручено всем делом руководить Клычкову.

Приступили немедленно к собиранию всяких материалов, документов, копий различных приказов и распоряжений, сводок, телеграмм... Чапаев взял у Федора бригадный приказ, который говорил о столь неудачном наступлении на поселок Мергеневский,— в этом приказе была канва для объяснения происшедшего, поэтому значение приказу Клычков придавал исключительное. Чапаев внимательно его рассмотрел, составил «критическое свое мнение», сидит, диктует машинисту. Входит Федор.

— Рассмотрел приказ-то, Василий Иваныч?

— Ну, рассмотрел, так што же?

— Я над ним тоже подумал довольно... обсудим,— предложил Федор.

— Можно прочитать, вот напечатано...

В голосе и в манере Чапаева чувствовались плохо скрываемая небрежность и какое-то недовольство, пока совершенно непонятные Федору.

— Прочитай-ка,— заметил он,— потолкуем, может изменения какие внесем...

— Да уж без изменений,— отрезал Чапаев.— Ты у себя изменяй, а я как написал, так и отошлю.

— Это почему? — изумился Федор и почувствовал, как его больно кольнул этот недружелюбный ответ.

— Да потому... Раз «председатель», так свое мнение и докладывай... А я «спец»... Я только «спец»...

Он дважды с обидой выговорил это слово.

— Ну, чего ты молотишь? — обиделся Федор.— Чего молотишь зря? Разбиваться-то зачем: обсудим вместе, вместе и отошлем.

— Да нет уж,— упирался Чапаев.

Клычкову не хотелось дальше толочься на этом вопросе.

— Ну, читай,— опустился он на стул.

Чапаев прочитал свою критику на бригадный приказ Уральской дивизии,— разбор был довольно толковый, тщательный, серьезный. От обсуждения Федор уклонился — мнение свое решил послать отдельно.

— Как скажешь? — спросил Чапаев.

— Да хорошо, по-моему,— сквозь зубы процедил Федор.

— А то плохо? — повысил вдруг тон Чапаев.— Плохо-то плохо, да не у меня... да! Мы знаем, што делаем, а вот там финтифлюшки разные... шкура поганая...

Федор не понял, по чьему адресу отливает Чапаев такие эпитеты.

— Стервецы...— продолжал он со злобой.— Затереть человека хотят... Ходу не дают... Ну, мы управу найдем, мы о себе скажем...

Это Чапаев измывался по поводу «проклятых штабов», которые считал скопищем дармоедов, трусов, карьеристов и всяких вообще отбросных элементов...

— Постой, Чапаев, чего ты срамишься? — полу-

шутя обратился к нему Федор.— Ни с того ни с сего — какого черта! Белены объелся, что ли?

— Давно объелся, давиться начал,— и в голосе Чапаева послышалась укоризна.— Давишься... Да... А взять-то нечего... У меня, брат, никуда не подкопаешься, Чапаев своему делу хозяин...

— Про что ты?

— Про то, все про то, што в академьях мы не учены... Да мы без академьев... У нас по-мужицки и то выходит... Мы погонов не носили генеральских, да и без них, слава богу, не каждый такой *стратех* будет...

— Не хвались, не хвались, Василий Иванович, это тебе не к лицу... Пусть тебя другие... А сам-то...

И Федор приложил палец к губам. Давешнее неприятное чувство так и подмывало его чем-нибудь язвнуть Чапаева, так сказать, отомстить ему. Чем же? А самым уязвимым местом — знал это Федор — является у Чапаева разговор о признании и непризнании его доблестей, способностей, военного таланта, особенно, если к этому подпустить что-нибудь о «штабах». Момент был таков, что даже и бередить не приходилось,— Чапаев был уж неспокоен без того.

— Молчи лучше насчет стратегии-то,— выпалил Федор.

— Што же это молчать? Молчи сам,— негодующе передернулся Чапаев.

Переломив себя, стараясь казаться совершенно спокойным, Клычков сказал ему тихо:

— Вот что, Чапай... Ты хороший вояка, смелый боец, партизан отличный, но ведь и только! Будем откровенны. Имей мужество сознаться сам: по части военной-то мудрости слаб... Ну, какой ты стратег? Посуди сам, откуда тебе быть-то им?

Чапаев нервно дергался, и злыми огоньками блестели его волчьи серо-синие глаза.

— Стратег плохой?! — почти крикнул он на Федора.— Я плохой стратег? Да пошел ты к черту после этого!

— А ты спокойнее,— злорадствовал Федор, довольный, что хоть немножко пронял его за живое,—

чего тут нервничать. Чтобы быть хорошим военным работником, чтобы знать научную основу стратегии,— да пойми ты, что всему этому учиться надо... А тебе некогда было, ну, не ясно ли, что...

— Ничего мне не ясно... Ничего не ясно...— оборвал его Чапаев.— Я армию возьму и с армией справлюсь.

— А с фронтом? — подшутил Федор.

— И с фронтом... а што ты думал?

— Да, может быть, и главкомом бы непрочь?

— А то нет, не справлюсь, думаешь? Осмотрюсь, обвыкну — и справлюсь. Я все сделаю, што захочу, понял?

— Чего тут не понять.

У Федора уже не было того нехорошего чувства, с которым начал он разговор, не было даже и той насмешливости, с которою ставил он вопросы; эта уверенность Чапаева в безграничных своих способностях изумила его совершенно серьезно...

— Что ты веришь в силы свои, это хорошо,— сказал он Чапаеву.— Без веры этой ничего не выйдет. Только не задираешься ли ты, Василий Иваныч? Не пустое ли тут у тебя бахвальство? Меры ведь ты не знаешь словам своим, вот беда!

Еще больше возбудились, заблестели недобрым блеском глаза: Чапаев бурлил негодованием, но ждал, когда Федор кончит.

— Я-то!..— крикнул он.— Я-то бахвал?! А в степях кто был с казаками, без патронов, с голыми-то руками, кто был? — наступал он на Федора.— Им што? Сволочь... Какой им стратег...

— А я за стратега тоже не признаю. Значит, выходит, что и я сволочь? — изловил его Федор.

Чапаев сразу примолк, растерялся, краска ударила ему в лицо; он сделался вдруг беспомощным, как будто пойман был в смешном и глупом, в ребяческом деле...

Федор умышленно обернул вопрос таким образом исключительно в тех целях, чтобы отучить как-нибудь Чапаева от этой беспардонной, слепой брани в пространство... И не только потому, что это «нехорошо»,

а все это было для Чапаева крайне опасно: услышат недруги, запомнят, а потом со свидетелями да с документами припрут его к стене — деться будет некуда, сквернейшее создастся положение. А у Чапаева сплошь и рядом можно было слышать, как он костит сплеча и штабы, и реввоенсоветы, и ЧК, и особые отделы, и комиссаров — всех, всех, кто по отношению к нему может проявить хоть малейшую власть. Шумит, бранится, проклинает, грозит, а все впустую: объясни ему — и все поймет, согласится, даже отступится иной раз от своего мнения — хоть медленно, туго и неохотно. Отступать не любил даже в том, что сказал. Говоря к слову, он и приказов своих никогда не менял; в этом заключалась их особенная, убеждающая сила.

Теперь, когда Чапаев был пойман на слове, Федор решил процесс *обучения* довести до конца, уйти и оставить Чапаева в раздумье: «Пусть помучится сомнениями, зато дольше помнить будет...» И когда Чапаев, оправившись немного от неожиданности, стал уверять, что «не имел в виду... говорил только о них» и так далее, Федор простился и ушел.

Когда в полночь Клычков возвращался, он в комнате у себя застал Чапаева. Тот сидел и смущенно мял в руках какую-то бумажонку.

— Вот, почитайте,— передал он Федору отпечатанную на машинке крошечную писульку. Когда Чапаев был взволнован, обижен или ожидал обиды, он часто переходил на «вы». Федор это заметил теперь в его обращении, то же увидел и в записке.

«Товарищ Клычков,— значилось там,— прошу обратить внимание на мою к вам записку. Я очень огорчен вашим таким уходом, что вы приняли мое обращение на свой счет, о чем ставлю вас в известность, что вы еще не успели мне принести никакого зла, а если я такой откровенный и немного горяч, нисколько не стесняясь вашим присутствием, и говорю все, что на мысли против некоторых личностей, на что вы обиделись. Но чтобы не было между нами личных счетов, я

вынужден написать рапорт об устранении меня от должности, чем быть в несогласии с ближайшим своим сотрудником, о чем извещаю вас как друга. Чапаев».

Вот записка. От слова до слова приведена она, без малейших изменений. Последствия она могла иметь самые значительные: рапорт был уже готов, через минуту Чапаев показал и его. Если бы Федор отнесся отрицательно, если бы даже промолчал — дело передалось бы «вверх», и кто знает, какие бы имело последствия? Странно здесь то, что Чапаев совершенно как бы не дорожил дивизией, а в ней ведь значились пугачевцы, разинцы, домашкинцы — все те геройские полки, к которым он был так близок. Здесь сказалась основная черта характера: без оглядки, сплеча, в один миг приносить в жертву даже самое дорогое, даже из-за совершенной мелочи, из-за пустяка.

А подогреть в такой момент — и «делов» еще, пожалуй, наделает несуразных.

Прочитал Федор записку, повернулся к Чапаеву с радостным, сияющим лицом и сказал:

— Полно, дорогой Чапаев. Да я и не обиделся вовсе, а если расстроен был несколько, так совсем-совсем по другой причине.

Федор промолчал и лишь на другой день сказал ему про настоящую причину.

— Вот телеграмма,— показал Чапаев.

— Откуда?

— Из штаба. По приказу, выезжать надо завтра же на Бузулук... В Оренбург не едем... Кончить все дела и ехать...

Подумали и порешили до утра не откладывать, а прикончить все теперь же и ночью выехать,— окончательный разбор неудачной операции Уральской дивизии все равно в один день не закончишь: надо выезжать на место, достать еще некоторые документы и т. д. Решено. Сейчас же в штадив. Вызвали кого было надо. Переговорили. Через полтора часа уезжали из Уральска на Бузулук.

В те дни на пути к Самаре творилось нечто невообразимое. К Кинелю то и дело мчались и ползли составы от всех сторон: от Уфы и Оренбурга, ближние и дальние, одни с войсками, со снарядами, с провиантом, бронепоезда... Другие — встречные — то пустые поезда, то санитарные, и опять составы с войсками, войсками, войсками... Тянулись обозы с Уральска, и оттуда шли войска.

Совершалась спешная перегруппировка: перебрасывались огромные массы, вводились новые и свежие, отводились в тыл потрепанные, деморализованные, временно непригодные к делу. Колчак уже взял Уфу и приближался к Волге. Обстановка создавалась грозная. Самара была под ударом; вместе с нею под ударом были и другие крупные поволжские центры. Обстановка допускала возможность отхода на Волгу. Это был бы тяжкий удар для России. Красное командование не хотело этого отхода, горячо взялось за оборону, во что бы то ни стало решилось устоять, переломить создавшееся положение, вырвать у врага инициативу и погнать его вспять от центра советского государства. В Бузулукском районе готовился мощный кулак: отсюда следовало нанести первые удары. 25-й Чапаевской дивизии поручалась большая задача — ударить Колчака в лоб и, в кругу других дивизий, гнать его от Волги, имея ближайшей целью захват Уфы.

Кроме тех частей, что двигались от Сломихинской, кроме действовавшей под Уральском и спешно переброшенной к Бузулуку, в район Сорочинской, бригады Еланя — талантливого молодого командира,— в 25-ю дивизию включалась бригада под командой какого-то офицера, через две недели перебежавшего к белым. В этой бригаде, сгруппированной неподалеку от Самары, в районе Кротовки, находился и Иваново-Вознесенский полк.

Колчак двигался широчайшим фронтом: на Пермь, на Казань, на Самару,— по этим трем направлениям шло до полутораста тысяч белой армии. Силы были

почти равные — мы выставили армию, чуть меньшую колчаковской. Через Пермь на Вятку метил Колчак соединиться с англичанами, через Самару — с Деникиным; в этом замкнутом, роковом кольце он и торопился похоронить Советскую Россию.

Первые ощутительные удары он получил на путях к Самаре: здесь вырвана была у него инициатива, здесь были частью расколочены его дивизии и корпуса, здесь положено было начало деморализации среди его войск. Ни офицерские батальоны, ни дрессировка солдат, ни техника — ничто после первых полученных ударов не могло приостановить стихийного отката его войск до Уфы, за Уфу, в Сибирь, до окончательной гибели. В боях под Белебеем участвовали полки Каппелевского корпуса — цвет и надежда белой армии; они были биты красными войсками, как и другие белые полки. Красная волна катилась неудержимо, встречаемая торжественно измученным и разоренным населением.

Железнодорожные станции и полустанки похожи были на бутылки с муравьями: все ползут, спешат, сталкивают один другого, срываются, подымаются и снова спешат, спешат, спешат... Приходили поезда — с них соскакивали, как сумасшедшие, целые толпы красноармейцев, мчались в разные стороны, гурьбой сбивались у маленьких кирпичных сараюшек, выстраивали очереди, звенели чайниками, торопились, бранились, негодовали, топтались на месте, ожидая кипятку; другая половина ударялась врассыпную по станции и окрестному поселку, закупала спички, папиросы, воблу — что попадало под руку, выпивала у торговок молоко, закупала хлебища, хлебы, хлебцы и хлебишки... Никогда не убывающей и отчаянно протестующей толпой хороводились у коменданта, проклинали порядки и непорядки на чем свет стоит, костили трижды несчастного коменданта, просили невыполнимого, клялись несуществующим, ожидали несбыточного: то требовали немедленно «бригаду», машиниста ли, паровоз ли новый, теплушки другие или обменять теплушки на классные... Когда в комендантской сообщали, что «нет, нельзя, не будет» — к буре

протестов и оскорблений присоединяли угрозы, клялись отомстить самолично или наслать какого-нибудь своего грозу-командира.

Вдруг звонок.

— Который?

— Третий.

И целая ватага протестантов, как оголтелая, срывается от комендантской решетки и мчится куда-то по путям, сбивая встречных, вызывая то изумление, то проклятия и угрозы.

Три звонка... Свисток... Эшелон трогается,— и вот еще долго ему вдогонку мчатся партиями и в одиночку отставшие красноармейцы, повисая на подножках, ухватываясь за лесенки и приступки, взбираясь на крыши... Или, измучившись, махнув рукой, присядут на рельсах, усталые, и будут болтаться до нового попутного состава — может, день, а может быть, и два, кто знает, сколько? — одного состава не заметил, другой не взял, третий ушел перед носом...

В теплушках тьма: ни свечки, ни лампы, ни фонарика. На голых досках, замызганных лаптями, грязными сапогами, сальными котелками, политых щами и чаем, заплеванных, забросанных махорочными цигарками,— лежат красноармейцы. Долги ночи — долго лежать во тьме, в холоде, чуть укрывшись дрянной дырявой шинелишкой, ткнув в изголовье брезентовую сумку. На станциях долго таскают взад и вперед, переставляют, передают, с кем-то соединяют, от кого-то отцепляют, немилосердно бьют буферами, до содрогания мозгов... Кричат и бранятся в темноте какие-то люди с крошечными ручными фонариками... Где-нибудь на далеких задних путях поставят «отстояться». А там сгрудились такие же составы, и в них также битком набиты красноармейцы,— выглядывают из верхних крошечных оконцев, соскакивают, выбегают, залезают, карабкаются вверх. Движение около «замороженного» эшелона всегда идет круглые сутки: одни торопятся «по делам», другие просто побегать — согреться, третьи высматривают, где плохо спрятаны шпалы, дрова, ящики — все, чем можно топить, иные «так себе» болтаются совершенно без-

мятежно целую ночь около станции и ищут, не будет ли каких приключений.

После многих дней пути, после долгих мытарств, изнурительных стоянок, скандалов, может быть, драк и даже перестрелки — приехали! В широко распахнутые двери теплушек живо выбрасываются вещи; накидают их высокую груду, двоих со штыками оставят сторожить, остальные — в подмогу. Там сводят по подмосткам коней, спутывают, увязывают, сгоняют табуном, окружат, сторожат — не разбежались бы. Медленно скатывают орудия, повозки с разным имуществом, автомобили — все, что имеется...

Готово! Опорожненный состав, как сирота, смотрит пустыми, теперь еще более холодными теплушками. Гвалт, перебранка, путаница, неразбериха, случайная разрозненная команда, которую никто еще не слушает. А вот настоящая:

В поход!

И начинается беганье — заботливое, торопливое, разыскиваются роты, взводы, отделения... Наконец все построено... Тронулись. И заколыхались рядами — широкими, стройными; застучали, загремели повозки, заржали, зафыркали отстоявшиеся кони, залязгало оружие, то здесь, то там срывается случайный выстрел... Первые версты — ровными рядами, первые версты — бодро и четко, со звонкими, сильными песнями, а дальше... дальше отсталых, перемученных, больных посадят на повозки, перепутаются ряды, и не слышно больше песен: теперь только бы на отдых поскорее... Вот он и отдых, привал: одни через минуты будут молодецки храпеть в мертвом сне, другие, неугомонные, и теперь останутся песни петь, гармонику слушать, плясать плясовую — вприсядку, с гиканьем, «под орех»... С привала до привала, с привала до привала и — в окопы.

Начинается боевая жизнь.

Бригаду, что пришла к Бузулуку, получил Попов; Сорочинской командовал Елань, а Шмарину, несколько позже, вручили ту, из которой к белым убежал ее бесславный командир. Дивизия сосредоточилась. Сосредоточились другие дивизии, сосредоточились, наце-

лились армии, замер весь фронт в ожидании первых ударов.

«Быть или не быть» — вот какую цену этим первым ударам придавали многие в ту пору.

«Если не вырвем инициативу, если будем отброшены за Волгу и Колчак замкнет на юге и севере роковое кольцо (а это так возможно) — быть или не быть тогда Советской России?»

Да! все опасности эти были тогда серьезнее и ближе, чем многие думали. Вятка, Казань, Самара, Саратов уже захлестывались первыми брызгами огромной белогвардейской волны. Путь на Самару у Колчака был самый желанный, самый важный, самый серьезный: отсюда ближе всего к сердцу России. Недаром на вагонах у него значилось:

«Уфа — Москва».

Передовые разъезды уж близко показывались под Бузулуком — в последние дни потерян был и Бугуруслан. Все напряженней обстановка, все ближе враг, все опасней положение.

Кое-что у нас еще не готово, не все подвезли, не все в сборе, не хватает снарядов, неудобна весенняя распутица,— да некогда ждать, каждый день сгущает тучи, близит страшную черную грозу...

Стоит готовая к бою, налитая энергией, переполненная решимостью Красная Армия... Ощетинилась штыками полков, бригад, дивизий... Ждет сигнала... По этому сигналу — грудь на грудь — кинется на Колчака весь фронт и в роковом единоборстве будет пытать свою мощь...

28 апреля... незабываемый день, когда решалось начало серьезного дела: Красная Армия пошла в поход на Колчака.

IX. Перед боями

Бузулук и не думал эвакуироваться. Все поставлено было на ноги,— готовились к схватке. Партийный комитет, исполком, профессиональные союзы сомкну-

лись вокруг стоявшей здесь дивизии, отдавали все силы Красной Армии. Суровый лозунг «все для фронта» осуществлялся здесь настойчиво,— вероятно, таким же образом, как сотни раз осуществлялся он в других осаждавшихся центрах.

Бузулук был под ударом; неприятельские разъезды показывались всего в нескольких десятках верст от города. Сюда бежали со всех концов, а главным образом — со стороны Бугуруслана, одиночные советские и партийные работники, которых не успели захватить колчаковские разъезды, не успела выдать своя сельская белая шкура. Многие тут же вступали в армию рядовыми бойцами, потом доходили с победоносными полками до своих сел и снова брались за работу, а иные уже не оставляли полков и уходили с ними в безвестную даль — бойцами, рядовыми красноармейцами.

В атмосфере, насыщенной нервными настроениями, кровью и порохом, чувствовалось приближение целой эпохи, новой полосы, большого дня, от которого начнется новое, большое расчисление. Отдавались последние подготовительные распоряжения, все напрягалось, собиралось, устремлялось к единой цели. В городке, обычно таком скромном и сонном, засвистели трепетные мотоциклеты, проносились автомобили, по всем направлениям скакали конные, проходили четким и сильным ходом колонны бойцов.

Штаб дивизии помещался на углу двух главных улиц; в этом центре оживление не уменьшалось ни ночью, ни днем,— здесь, как в фокусе, собиралась и отражалась вся напряженная, шумная и торопливая жизнь последних дней.

Чапаев с Федором, тесные друзья и неразлучные работники, у себя на квартире бывали редко: жизнь проходила в штабе. Из центра то и дело поступали приказы и распоряжения; с мест, от своих частей, тоже приходили разные сведения и запросы, шли бесконечные «собеседования» по телефону, по прямому проводу... Самыми долгими и самыми скандальными переговорами были, конечно, те, что кружились около всяких нехваток. Но в ту пору нехваток было столько, сколько и самих вопросов, поэтому отношения с частя-

ми (да и с центром) обычно проходили в повышенных тонах и полны были то уверениями, то просьбами, то угрозами «дать делу совсем иной ход». Чапаеву думалось, что стоит только нажать на «разные там совнархозы» — и мигом появится в изобилии все необходимое. Увидит он или узнает про какие-нибудь два-три десятка телег, про четыре бочонка колесной мази, узнает, что где-нибудь на складе хранится аршин полтораста сукна, сколько-нибудь шапок, валенок, полушубков,— и мечет громы-молнии, домогается, чтобы все это было отдано в армию. Лозунг «все для фронта» он понимал слишком уж буквально. И думалось Чапаеву, что этими крохами и лоскутьями можно будет накормить и приукрыть всю нашу многомиллионную армию. Об экономической разрухе и неизбежных недостатках он говорил многократно, а вот представить себе дело в его конкретной сущности, видимо, еще не мог, не умел и выводов из слов своих не сделал никаких. От претензий и легкомысленных попыток его обычно отговаривал Клычков и, надо сказать, отговаривал без большого труда: Чапаеву всегда было достаточно привести пару серьезных доводов для того, чтобы он с ними молча согласился.

Молча, только молча! А чтобы отказаться от слов своих, взять их обратно, признать неправильным что-нибудь и открыто *заявить* о том,— ну, уж этого не ждите, этого Чапаев не сделает никогда! Больше того — ему и самые доводы должны быть представлены категорически и убедительно,— он терпеть не мог стонущих и мямлящих людей и обычно слов их в расчет не принимал, что бы эти слова собою ни означали.

Любил человек сильное, решительное, твердое слово. А еще больше любил решительное, твердое, умное дело!

Через два дня бригада Еланя выступила в поход. Надо было ее навестить — стояла от Бузулука всего в сорока верстах.

Измученный непрерывными боями, дважды раненный, потерявший всякую способность спокойно мы-

слить и говорить, в двадцать два года казавшийся стариком,— таков был командир бригады Павел Елань.

Он еще в 1917 году бросил в деревне свое незамысловатое хозяйство и поступил в Красную гвардию. Скоро судьба столкнула его с Чапаевым, которому пришелся Елань по душе умной речью, быстрым делом и поразительной смелостью, доходившей до безрассудства. Чапаев назначил его командиром пешей разведки. И были случаи, когда втроем-вчетвером подбирался Елань к спящим казакам, а чаще того — к чехословакам. Откроет пальбу, нагремит, обезоружит и пригонит, глядишь, разом десятка полтора. Этих дел за ним числилось множество — таких же лихих, фантастических операций, которые выделывал и так любил сам Чапаев. На Иргизе, в Гусихе, в бою с чехами Еланю пробило ногу; похворал-похворал, отлежался. Чуть рана поджила — он опять в строй. Побыл недолго — в новом бою пробило руку. И не страшна была рана, не пугали операция, боль, мучительное лечение,— это все бы пустое, а вот жалко оставлять боевых товарищей. И тут не долежал — воротился раньше времени.

Непрерывные жаркие бои на Уральском фронте отняли последние силы, растрепали и без того слабые нервы. Его мускулистое загорелое лицо то здесь, то там подергивается нервной рябью; широкие ноздри дрожат, как у дикого зверя; растрепались мочальные русые волосы, испачкан чернилами красный — увы; уже морщинистый — высокий лоб; сухим, металлическим блеском горят воспаленные серые глаза; на широких, рабочих ладонях — заскорузлые мозоли; ворот рубахи все время отстегнут, как будто жарко, душно ему; голос неровный, дрожит в разговоре, срывается на высокий пронзительный фальцет. Когда говорит Елань — с ним говорит весь его худенький, мускулистый, упругий организм: в такт сюда и туда подергивается голова, топают ноги, стучат кулаки. Елань себе цену знает и в обиду себя никогда, никогда никому не даст, даже своему командиру.

Его коснулась и разбередила стихийная и какая-то сказочная слава, которая выпала в степях на долю Чапаева. Закружилась от зависти голова, захватило от жарких надежд и желаний дыханье.

«А отчего бы и мне не быть Чапаевым?»

И он все время был полон этим чувством, которое отымало теперь в их встречах и искренность и теплоту, омрачало так еще недавнюю чистую дружбу. Чапаев чувствовал в Елане эту перемену, но никогда не согласился бы отпустить его от себя: он знал, что на таких Еланях родилась, держится и ширится его личная слава. А Елань не оставил бы Чапаева за славу, лучи которой падали и на него, за широкий путь, который тот открыл перед ним и на который увлекал за собою в неудержимом красочном порыве.

Встретились приятельски. Не пропустив ни одной минуты — сейчас же за стол, к карте, к приказам, к прямому проводу, телефону... Гонцов за командирами полков, за начхозами, врачами, комиссарами... Картина установлена точно. Как будто все-все теперь предусмотрено, ничто не должно сорваться, только бы разыграть все, как по написанным нотам... Надо быть большим мастером, чтобы уметь разыгрывать по нотам! Елань был мастер на этот счет выдающийся, и уже через три дня слышно было, как он искалечил целую вражью дивизию. Сидели и вымеривали, вымеривали и обсуждали, обсуждали и спорили, не соглашались, предостерегали друг друга, потом договаривались, мирились на том, что всем казалось разумным.

— Теперь собраться надо с полками,— сказал Чапаев.— Кой-што, может, и им объясним...

— А... мигом!

Поднялся Елань и всем командирам наказал привести немедленно бойцов в самый просторный кинематограф...

— Да сказать, что товарищ Чапаев доклад станет делать! — крикнул он вдогонку.— Пусть приготовятся слушать...

Не понять, зачем сказал: вправду ли, в шутку ли, в насмешку ли над охотником «докладывать» Чапае-

вым? По тону ничего нельзя было понять — у него на шутки и на команду одинаковая речь.

Через полчаса в огромном, сыром, неприютном зале кинематографа среди серых шинелей — яблоку негде было упасть; еще больше осталось за дверями, не уместилось. На эстраде стол, на столе, как водится, графин с водой, стакан, блестящий звонок с деревянной ручкой... Как только появился Чапаев — зашушукали, откашливались наспех, поправляли шапки, сами хотели казаться молодцами. А как сказал он первое слово, такое могучее и любимое: «Товарищи!» — сомкнулась тесно безликая толпа, онемела, напряглась в ожидании желанных слов.

— Товарищи! — обратился Чапаев.— Идем воевать на Колчака. Много побили мы с вами казаков в степи — не привыкать к победам. Не уйдет от нас и адмирал Колчак...

Бурей неудержимых восторгов, криков и оглушительных аплодисментов прорвалась молчавшая толпа. Атмосфера сразу накалилась. Через две минуты все воспринималось острей и горячее: грошовому слову алтын была цена, алтынное слово ценилось на рубль. У Чапаева было в запасе несколько выигрышных фраз — он не упускал никогда случая вставить их в свою речь. Это по существу были совершенно безобидные и даже вовсе не красочные места, но в примитивной, подогретой и сочувственной аудитории они производили невыразимый эффект.

— Я, товарищи, не старый генерал...— грозил протестующий Чапаев.— Этот генерал, бывало, за триста верст дает приказ взять во что бы то ни стало такую-то вот сопку. Ему говорят, што без артиллерии не дойдешь, што тут в тридцать рядов завита колючая проволока... А он, седой черт, приказ высылает: гимнастику вас учили делать? прыгать умеете? Вот и прыгайте!..

В этом месте аудитория всегда разражалась дружным хохотом и шумно выявляла оратору свое сочувствие: безобидная элементарная картина приходилась по сердцу, попадала в точку.

— А я не генерал,— продолжал Чапаев, облизнувшись и щипнув себя за ус,— я с вами сам и навсегда впереди, а если грозит опасность, так первому она попадает мне самому... Первая-то пуля мне летит... А душа ведь жизни просит, умирать-то кому же охота?.. Я поэтому и выберу место, штобы все вы были целы да самому не погибнуть напрасно... Вот мы как воюем, товарищи...

В этих словах и в этих тонах выдерживал он всю свою речь. Впрочем, надо к чести его сказать, долго болтать не любил: не то что не мог, а понимал превосходство коротких речей.

Когда окончил — трудно уж было выступать Еланю, да и Федор произвел не ахти какое впечатление. За речами — концерт. Он был такой чудесной импровизацией, какую можно было встретить лишь в те дни, и, верно, только на фронте.

Едва умолкли последние слова последнего оратора,— еще, казалось, стояли они в воздухе и все ждали следующих, других слов,— как грянула гармошка. Откуда он, гармонист, когда взгромоздился на эстраду — никто не заметил, но действовал он, бесспорно, по чьей-то невидимой-неслышимой команде. И что же грянул? «Камаринского»... Да такого разудалого, что ноги затряслись от плясового зуда... Чапаев выскочил молодчиком на самую середину эстрады и пошел и пошел... Сначала лебедем, с изгибом, вкруговую... Потом впритопку на каблуках, чечеткой... А когда в неистовом порыве загикала, закричала и захлопала сочувственно тысячеголовая толпа, левой рукой подхватил свою чудесную серебряную шашку и отхватывал вприсядку — только шпоры зазвенели да шапка сорвалась набекрень. Уж как счастлив был гармонист — вятский детина с горбатым лоснящимся носом и крошечными, как у слона, глазами на широком лице: подумайте, сам Чапаев отплясывает под его охрипшую, заигранную до смерти гармонь!

Последний прыжок, последняя молодецкая ухватка — и Чапаев отскакивает в сторону, вытаскивает изрядно засаленный дымчатый платок, отирает довольное, веселое, мокрое лицо...

Целый час не пустовать эстраде: плясуны теперь выскакивают даже не в одиночку, а целыми партиями. Охотников нашлось так много, что сущая конкуренция. Заплясавшихся подолгу бесцеремонно гонят: отплясал, дескать, свое — давай место другому!

За плясунами пошли рассказчики-декламаторы: такую несли дребедень, что только ахнуть можно. Не было еще тогда на фронте ни книжек, ни сборников хороших, ни песенников революционных,— на фронт все это попадало редко, красноармейцы мало что знали, кроме собственных частушек да массовых военных песен...

За рассказчиками надрывались певцы: тоже не задумывались долго над песнями, распевали, что раньше взбредет на ум. Канитель!.. Но веселая, сочная, многоцветная, искренняя канитель. От походов, от боевой страды, от окопной напряженной скуки, от полуголодной жизни — с какой охотой и радостью отдыхали бойцы! Потом весь день по избам или кучками на грязных, оттаявших улицах, за столом, в конюшне, за семечками — везде только и разговору было, что про веселый митинг-концерт... И в центре всех разговоров-воспоминаний стоит Чапаев: такой-то вот командир и люб бойцам... Сегодня на заре по холодному туманному полю пусть ведет он цепи и колонны на приступ, в атаку, в бой, а вечером, под гармошку, пусть отчеканивает с ними вместе «камаринского»... Знать, по тем временам и вправду нужен, необходим был именно *такой* командир, рожденный крестьянской этой массой, органически воплотивший все ее особенности. Вырастет масса — отпадет и в этом нужда. Уж и тогда не нужен был бы такой вот Чапаев, положим, полку иваново-вознесенских ткачей: там его примитивные речи не имели бы никакого успеха, там выше удали молодецкой ставилась спокойная сознательность, там на беседу и собрание шли охотнее, чем на «камаринского», там разговаривали с Чапаевым, как с равным, без восхищенного взора, без распылавшегося от счастья лица. Поэтому меньше всех любил Чапаев бывать в полку ивановских ткачей, таких скупых на триумфы и восторги.

Когда Федор впервые явился в политический отдел дивизии, он почувствовал недоброжелательное, холодное, видимо, предубежденное отношение. «В чем может быть дело?» — недоумевал он — и не думал, что неблагосклонное отношение политработников к «партизану и мордобойцу» Чапаеву переносилось механически и на него, «чапаевского комиссара».

Больше того. Здесь, в политическом отделе, уже было известно о приятельских отношениях между Клычковым и Чапаевым, а объясняли это очень просто. Или «наш комиссар» подпал под чапаевское влияние, ходит перед героем на задних лапках и является механической фигуркой, выполняющей бессознательно не свою — чужую волю. Или же «нашему комиссару» и под влияние-то подпадать нечего: сам такой же партизан и «удалец»...

Одни предполагали так, другие — по-другому, но все сходились, что «комиссара надо одернуть» с первого же шага. Поэтому, когда Федор пришел в подив, там ему начальник со злорадством, ни слова не говоря о работе, о нуждах, о планах, сунул в руки какую-то бумажку и стал насмешливо, глядя прямо в глаза, следить, какое произведет она впечатление. Бумажка оказалась повесткой,— трибунал вызывал Клычкова «в качестве обвиняемого». Он сразу не понял, в чем дело, а потом вспомнил и рассмеялся... Рыжиков (начальник политотдела) недоумевающе смотрел на Федора и, видимо, ожидал совершенно иного эффекта.

— К суду за что-то? — процедил он сквозь зубы Клычкову.

— Знаю... Пустяк... Не поеду... Это, видите ли, так случилось. В прошлый наш приезд в Самару идем с Чапаевым по дороге,— кругом высокие сугробы нанесло, узко, тесно, некуда с дороги ткнуться, кроме как в снег... И вдруг на саночках мчится какой-то фертик — комиссаром связи, что ли, оказался, не помню... Только холеный такой... видно, что в партию протерся случайно... Мчится, подлец, и хоть бы ха! Прижал нас, заставил в снег заскочить, чтобы не угодить под лошадь... Ну, я ему вгорячах-то, кажется, затрещину посулил за такую подлость... Остановил лошадь, слез,

расспросил, записал и Чапаева. Ну, вот и все... В трибунал подал...

По мере того как Федор непринужденно рассказывал эту пустейшую историю, лицо Рыжикова все более и более утеривало свое торжествующее и злорадное выражение. Выходило, что «история» действительно глупейшая, и радоваться совсем не приходится тому, будто «комиссар наш так и есть... что-то уже там натворил... В трибунал вызывают...» Все оказывалось чепухой. А с другой стороны, и самый вид Федора, такой простецкий и дружеский, и манера держаться, и весь разговор свидетельствовали о том, что это совсем не «какой-то партизан и мордобоец». У Рыжикова мнение о Федоре поколебалось уже после первой с ним встречи, а дальше и окончательно переменилось: насколько подозрительным и нехорошим было оно вначале, настолько искренним и доверчивым стало впоследствии.

В трибунал Федор ответил, что дело мелко, ехать некогда, а тут бои открываются и здесь он считает себя нужнее...

«А впрочем, любому заочному постановлению,— писал он,— конечно, считаю себя обязанным подчиниться, но извещаю, что дело все обстояло следующим образом...»

И он сообщил дело подробно, от начала до конца. В трибунале поняли, поверили, согласились — больше Федора не тревожили. Было слышно, что фертика этого при последующих «чистках» из партии выгнали как «случайный элемент».

У Клычкова с Рыжиковым, а через Рыжикова и со всеми политработниками очень быстро установились отличные отношения. Клычков скоро убедил их в том, что про Чапаева наговорено им много всякого вздора, а на самом деле он, Чапаев, совсем-совсем не таков.

Лишь один раз, да и то в самом начале, произошел неприятный и резкий разговор — о полномочиях. Вопрос о полномочиях и распределении функций между комиссаром и начальством политотдела дивизии на всем протяжении гражданской войны был вообще одним из скандальнейших и туманнейших вопросов.

Чему же удивляться, если он рассорил теперь, хоть и ненадолго, Рыжикова с Федором?

Рыжиков упирал на полную автономию политического отдела, на непосредственную связь его с армией, на полную безотчетность перед комиссаром, соглашаясь только на легонькое информирование... А Федор, наоборот, все вопросы повертывал в другую сторону и ссылался на разные инструкции и постановления, которыми обильно запасся в Самаре, внимательно рассмотрел, усвоил и теперь безжалостно опровергал Рыжикова «на законном основании». Вопрос разрешился очень легко, но разрешила его не полемика, не аргументы того или другого, не формальные основания, ссылки и разные «пункты» — разрешила сама боевая жизнь. Федору первые же дни и недели показали, что руководить агитацией и пропагандой, заниматься организационными вопросами политработы, направлять систематически и детально работу среди населения, следить за повседневной отчетностью, работою статистического и информационного отделений, связываться с ячейками, объять необъятную область культурно-просветительного дела — где же ему, когда же ему?

Все это — прямая работа политотдела, а следовательно, и его начальника. Комиссару, иной раз на пять-шесть дней отлучающемуся по бригадам и совершенно не бывающему в эти дни в дивизионных центрах,— ему только впору подметить на местах, что и как *делается,* что и как *надо делать,* что является делом первой очереди, что — второй, третьей, куда нужны силы, где их, на какой работе сосредоточивать в данный момент.

Взвесив обстановку в дивизионном масштабе и шире, Федор ограничивался только намечиванием основных вопросов, перечислением неотложных дел и в этом духе давал политотделу директивы; там их получали и воплощали в жизнь своими силами, своими методами, своим аппаратом. На этом Федор не только помирился, но и сблизился с политическим отделом, и уже ни разу, до самого последнего дня, не было у него ни единого конфликта, даже ни одного разно-

гласия. Он понял, что *не командовать* политотделом надо, а единственно *помогать* ему и следить, как воплощаются в жизнь основные директивы.

Политический отдел, как огромная губка, то и дело насыщался многочисленными сведениями, фактами, богатым опытом, притекавшим от частей и окрестного населения, и потом, переварив этот опыт внутри — во всяких совещаниях, заседаниях и просто одиночных обдумываниях, он испарял его в виде рассыпчатого кадра организаторов и агитаторов, в виде массы всяких листков, воззваний, инструкций и руководств.

И худо ли, хорошо ли, но всегда обслужено было политически даже население прифронтовой полосы — не только свои боевые части... По селам и деревням разъезжались верхами, расходились пешие, расползались в «красных кибитках» агитаторы-коммунисты и рассказывали населению, куда и зачем идет Красная Армия, для чего она создана, что творится в Советской России, что происходит за ее пределами. Часто и сами знали мало — неоткуда было узнать, часто и передать складно не умели, зато *главное* всегда доносили, были светочами, были рупорами, были учителями... А то спектакли ставить начнут, живой фонарь раздобудут, возятся с ним, картины показывают,— это ли не дивом было в какой-нибудь захудалой, глухой деревушке, где, к тому же, ютится половина татар, никогда не расходившихся по радиусу дальше как на тридцать — сорок верст...

С красноармейцами работать легче: эти всегда в в сборе, готовы, организованы, да и сравнить ли их по развитию с деревенским населением? С красноармейцами и без политического отдела всегда ведет работу своя партийная ячейка; ей от политотдела потребна только материальная подмога да свежий материал,— с работой чаще умели справляться и сами.

А что за работа в полку? Разная: зависит от того, где полк находится и что делает. В тылу, на отдыхе — одно дело, тут можно и по системе заняться и безграмотность изо дня в день изничтожать, лекции ставить, хоть и не в очень крупном масштабе, чтения организовать по часам — да мало ли что можно сделать?

И делали. А в походе, в боях — тут газета в руки неделями не попадала, тут не до лекций, не до митингов. В боях, так уж в боях! А на отдыхе — брякнуться, заснуть бы, что ли, поскорее, отоспаться, отдохнуть или заплатать вот дырявые сапоги, прикрутить отлетевшую подметку, оправиться, подготовиться к утреннему новому походу.

При объездах полков обычно случалось само собою — молчаливо, без предварительного уговора — так, что Федор не успевал перетолковать со всеми командирами, а Чапаев не успевал ознакомиться с ячейкой и политической работой. Но что не успевал сделать один — непременно успевал другой. А когда ехали дальше и беседовали в пути — вся жизнь полка была как на ладони. Дружно, ладно жили. Ладно, дружно работали.

Когда открылось общее наступление на Колчака, была уже полная ростепель, начали трескаться и вскрываться реки, на пригорках и потом быстро и в долинах обнажалась земля; ручьи и ручейки размыли дороги; по грязи, смешанной со снегом, по тонкому льду не только артиллерии — невозможно было ехать конному, а местами и пешему не пройти. Весна входила в полные права.

Движение было затруднено до последней степени — этим и можно отчасти объяснить первоначальное медленное продвижение красных войск. Но только отчасти,— причины были и в чем-то другом. От первых же столкновений передовые колчаковские войска остановились как бы в раздумье. А тут удар за ударом посыпались с разных сторон. Перешедший к нам «полк Тараса Шевченко» спутал у них в этом месте карты и сразу ободрил бившиеся здесь красноармейские части. Не давая врагу опомниться, все дружней, все настойчивей стали напирать красные войска. Неприятельский фронт был поколеблен. Инициатива была уже выхвачена. Поворотный момент чувствовался и был заметен уже не одному только прозорливому взору. Росли надежды. Прибавлялась сила. Развизавшееся наступление сулило победу.

X. В Бугуруслан

В памятный день открылся уже общий фронтовой поход, а отдельные схватки, разумеется, были и все время до того.

На фронте антрактов не бывает.

В двадцатых числах апреля, в пасхальные дни, произошли первые встречи с противником; он продолжал свое победоносное шествие от Бугуруслана на Бузулук. Бригада Еланя удерживала этот напор, разбившись полками по левому берегу Боровки. Сюда полкам добраться стоило больших трудов: не позволяли распустившиеся дороги, бурные, глубокие весенние ручьи. Не только орудия везти было невозможно, даже пулеметы переправлялись в разобранном виде, ссыпанные в мешки. И как только добрались до Боровки, завязались бои, уже не прекращавшиеся все время вплоть до самой Уфы.

В одной операции под Бугурусланом Елань едва не попал самолично в лапы белым — спасла счастливая случайность. Он с Вихорем да человек семьдесят конных пробрались в неприятельский тыл и заметили двигавшуюся по лощине батарею. Поскакали, но лишь только приблизились, как артиллеристы-офицеры, поняв, что это за всадники, стали на картечь расстреливать красноармейцев. Видно уж было, как «номера» (стоявшие у орудий солдаты) отказывались стрелять, как офицеры колотили иных шашками и рукоятками револьверов, но невозможно было ничего поделать. И вот, отослав бо̀льшую часть отряда в обход, отвлекши внимание, сам Елань, Вихорь да кучка кавалеристов, пробравшись по другой лощине, во весь карьер вынеслись почти к самым орудиям. Опешившие офицеры вскинули было на руки маузеры, но уже было поздно,— одному Вихорь с налета раскроил голову, другого сбили лошадью, а остальных свои же «номера», поваливши, мяли на земле или держали с закрученными за спину руками. Все совершилось с поразительной быстротой; «номера» будто только и ждали того, чтобы всадники подскочили к орудиям.

Те, что держали офицеров, умоляющими взглядами просили о пощаде, остальные застыли с поднятыми руками. Офицеров не осталось, солдат не тронули ни одного. Батарею направили на полк, к которому она торопилась на подмогу; а полк этот, увидев безнадежность положения, сдался тем красным частям, что на него наступали. Этой операцией остался руководить Вихорь, а сам Елань с десятком ординарцев поскакал дальше, в обоз, и когда мчались мимо повозок, груженных обувью и солдатскими гимнастерками, занимало дух от радостной мысли, что все это достанется красноармейцам. Обозники не сопротивлялись: одни обалдели от неожиданности, другие не понимали ничего, посчитав скакавших за «своих», подумав, что их повертывают куда-нибудь «по назначению»,— так весь обоз в несколько сот возов и достался на поживу обнищавшим красным полкам.

Неподалеку от обозов стоял штаб дивизии, там поднялся переполох: в подобных случаях о размерах налета всегда создается преувеличенное представление — этим объясняется и паника, которая дает в руки «налетчикам» дешевую победу, а часто и обильную добычу. Точь-в-точь, как и всегда, получилось и теперь: никто ничего и никого не думал организовать, никто ничего не хотел, не стремился рассмотреть и разузнать — каждому впору было думать о спасении лишь собственной шкуры. Одним из первых выскочил на волю начальник дивизии, полковник Золотозубов; он вместе с дивизионным попом впрыгнул на дежурившую таратайку и бросился наутек. Всюду беготня, крики, путаница, торопливые ругательства, угрозы...

А десяток конных красноармейцев носился среди перепуганной штабной публики, гиканьем, стрельбой и криками о сдаче усиливая и без того неудержимую панику. За начдивом поскакал Елань и уже настигал с занесенной шашкой, когда «батюшка» обернулся из пролетки и выстрелил; пуля попала коню в переднюю ногу, он захромал, начал отставать. Тогда остановилась и пролетка, полковник соскочил на землю и с руки начал бить из маузера. Вторая же пуля угодила коню в голову, он покачнулся и упал, только Елань

успел при падении высвободить ногу и как соскочил — ударился бежать в соседний перелесок. На самой опушке крестьянин в телеге правит парой здоровых рабочих лошадей. Елань к нему. Тут растабарывать некогда, показал ему дуло револьвера, вскочил на ближнюю упряжную, отрубил постромки и помчался прочь, назад, туда где остались товарищи. Но уже паника улеглась, там поняли, что гроза наскочила нестрашная,— товарищей, видимо, угнали, а может, и переколотили,— не было никого; только проносясь мимо избушки, где был штаб, увидел Елань одного из ординарцев без коня, с окровавленной щекой. Кинулся к нему и крикнул, чтобы вскакивал сзади на широкий круп здоровенной лошади. Не долго думая, тот с размаху влетел и уцепился за Еланя, чуть не сдернул на землю.

Так скакали вдвоем сзади обозов, сзади избушек, оборвав красноармейские значки, скакали на дальний пригорок, к которому должен был подходить, по расчетам Еланя, свой полк. Впереди группа конных — стоят на самом пути, объехать некуда. Что за люди? Когда подскакали ближе, увидели, что свои; сбившиеся здесь из обоза не знают теперь, как через поляну, под обстрелом, пронестись к своему полку, колыхавшемуся на равнине. У Еланя конь хоть и здоровый, а для такого дела не годится. Понял это Яшка Галах — один из лучших, храбрейших ординарцев.

— Товарищ командир,— говорит,— бери мою лошадь, а я слезу, пешком пойду. Ежели заберут — скажу, что мобилизованный, авось не тронут — бывает, что и не трогают...

Раздумывать нечего. Соскочил Елань с широкой доброй кобылы, оставил на ней спутника, а сам пересел на шустрого Яшкина меринка. Вытянулись цепочкой и помчались. Остался Яшка Галах один, поплелся назад, уплел в обоз. (Он воротился только через три недели; рассказывал, что скрывался у них же в обозе — солдаты-мужички не трогали и не доносили; убежать не удалось сразу, потому что угнали его на тех подводах, что успели скрыться от красного полка.)

По полю мчались карьером. Как пчелы, звенели,

шумели, свистели быстрые пули; двух всадников положили они на широком лугу, остальные доскакали. Доскакал и Елань. Быстро перекинули с другого фланга конную разведку, и она впереди полка помчалась отрезать уходивший обоз. Часть успела отступить, но больше того досталось полку: этим добром тогда немало подкрепили босую, ободранную еланьевскую бригаду.

. . . .

Не лишнее будет заметить, что добычу свою полки, бригады и дивизии очень не любили передавать выше «для общего распределения»,— оставляли обычно у себя, накапливали даже иной раз, удовлетворялись до насыщения (что было редко) и уж только безусловно ненужные, обременительные излишки передавали «вверх». Это относится не только к одежде, обуви, продовольствию — то же было можно наблюдать и по части винтовок, патронов, пулеметов и даже... орудий. Так складывалось иногда, что в одном полку еле-еле пулеметов с десяток наберется, а в другом, смотришь, под целую сотню подкатило — и молчат, никогда не скажут, что сотня у них, даже при ревизиях сумеют скрыть, а уж во всяких «отчетах и донесениях» и думать не думают о настоящих цифрах! Секретность тут была настолько большая, что даже ни один командир бригады «самому Чапаеву» правды не говорил. Да Чапаев, впрочем, никогда правды этой и не добивался, а, отдавая приказы,— хоть про то официально и не заявлял,— постоянно имел в виду десятка два-три лишних пулеметов, а иной раз и «неучтенное» орудие, которое где-нибудь случайно заметил или про которое услышал от проболтавшихся полковых простофиль. Цифра наличного оружия подолгу оставалась в донесениях одна и та же. Но не следует думать, что не было никогда потерь — они были, только доносить о них было невыгодно, а пожалуй что и зазорно, поэтому про потери молчали и возмещали их из таинственных неисчерпаемых своих «резервов». Если ничего не говорили про потери, то не все говорили и про добычу — тут проявляли своеобразную «дальнозоркость»: не гнались за мимолетной славой, ради расширения «ре-

зерва» — цифру добытого уменьшали вдвое, втрое, а то и больше, смотря по нужде.

Куда же девалось это накопленное? Как отчитывались в нем?

А тут обычно появлялся всякий «брак, лом и хлам»: в дивизию сдавали только воистину негодное, а что получше — оставляли неизменно у себя. Когда этот прием стал известен и Федору, он уже меньше расстраивался при горьких воплях на всякие недостатки, зная, что вопли обычно идут «авансом», голосить начинают далеко перед тем, как подступает настоящая нужда. Понимать приходилось так:

«Дивизия, помогай! Нужда крадется к моим тайным резервам!..»

И действительно, вслед за воплями росла, усиливалась, близилась настоящая нужда.

Теперь вот свою добычу бригада Еланя тоже распотрошила почти сплошь у себя,— мало что досталось в дивизию, а про армию и говорить нечего.

Федор Клычков все это узнал и сделал свои выводы впервые лишь на этом примере еланьевской победы.

«Во-первых,— подумал он,— это буду иметь в виду каждый раз при учете сил, а во-вторых, постараюсь сократить командирское вранье».

Забегая вперед, скажем, что примерно через полгода он и в самом деле кой-чего добился, но в общем мало, очень мало. Тогда же он отметил и другое обстоятельство: командир бригады Елань с группой ординарцев работал в неприятельском тылу. Работал, правда, успешно: отбил батарею, ускорил гибель неприятельского полка, спутал все в обозе, едва не зацепил начальника белой дивизии.

Это все отлично, но... Уже тогда родилось у него это «но». И тогда же сделал он логический, неопровержимый, такой убедительный и ясный вывод: командиру никогда не нужно увлекаться частным делом, он всегда должен иметь перед собою *целое* — и операцию *целую* и войска свои в *целом,* а отдельные задачи кому-то поручать. Личное мужество Еланя могло привести к печальному концу, может быть, целую бригаду, если бы только его подстрелил Золотозубов, а за-

меститель, скажем к примеру, не сумел бы справиться с управлением полками.

Эту мысль Федор крепко усвоил тогда же, но усвоил ее как-то отвлеченно, а на деле и сам от нее отступал неоднократно и никогда не порицал того, кому удавалась лихая затея — пусть она была почти безрассудная, только бы окончилась хорошо. Так велико обаяние исключительного подвига!

Как только слышно стало, что у Еланя заварилось дело, поехали навестить его Чапаев с Федором, Кочнев, Петька Исаев, конных человек пятнадцать; в одиночку показываться тут было невозможно,— шальные неприятельские разъезды могли объявиться в любом месте, да и кулачки деревенские не очень-то жаловали красноармейцев, тем паче «начальство».

День светлый, чистый, праздничный. По селам в ярких сарафанах, в цветных рубахах гуляет, поет, играет зеленая молодежь,— даже удивительно все это видеть. На завалинках сидят, покряхтывают сгорбленные старухи; ради теплого праздника вырядились в тяжелые шубы, как жабы, выползли из нор, маячат здесь и там, словно мраморные черные статуи. У совета толпится народ, не зная, куда подевать свободное время. Чапаев указал им верный путь, как избавиться от праздничной скуки. По деревням ручьи глубокими вымоинами изрезали во всех направлениях дорогу; на этих вымоинах приходилось застревать не одному десятку бригадных телег, порывая гужи, ломая колеса... В каждом поселке вызывали председателя совета, давали ему распоряжение провести спешную мобилизацию и выправить дорогу... Подымался гвалт, протестовали, не брались, но уже на обратном пути было можно видеть, что дорога на самом деле устроена и починена. Так — от деревни к деревне, от села к селу — выправили весь путь до последних, дальних полков.

Еланя застали в штабе. По общему правилу, по привычке, он сейчас же раскинул по столу разукрашенную, исчерченную карту и начал указывать разные

пункты, где, по последним сведениям, расположился неприятель. Скоро к штабу подъехало человек десять конных, забрызганных грязью, мокрых,— видно, что крепко усталые... Оказалось, группа эта, во главе с комиссаром бригады Буровым, ходила в разведку, побывала на этом берегу в четырех деревнях, переправлялась даже и на тот берег вплавь через реку, привезла немало ценных сведений... Вытащив записную книжонку, припрятанную где-то под самым горлом, чтобы не замочило, Буров шаг за шагом развертывал присутствовавшим обстановку за рекой... Неприятель готовился предупредить наступление красной стороны, сосредоточивая свои силы, подвозил артиллерию, перегруппировывал части, гнал торопливо в разные стороны длинные тучные обозы... Маленькая книжонка раскрыла большие дела. Что узнали — передали дальше, через штаб дивизии, в армию...

Федор с гордостью, с радостью смотрел на комиссара — этого рослого сильного чумазого детину, оказавшегося питерским слесарем, добровольно ушедшим на фронт еще в прошлом, 1918 году.

Отошли в сторону, разговорились.

— Как политическая-то работа? — спросил Федор.

— Да што,— махнул комиссар,— скажу вам откровенно, товарищ Клычков, ничего не делаю, ей-богу, ничего. Ругайте — не ругайте, а некогда. Што бы делать? Или вот за реку ехать, или программу учить?.. За реку нужней.

— Верно,— сказал Федор.— Да я и не о том... Что обстановка нам диктует — кто скажет против того? Ну, а бывают же моменты, когда можно?

— Никогда! — отрубил уверенно Буров, скручивая на пальце цигарку.

— Это вы уж слишком...— недоверчиво возразил Федор,— слишком... Моменты бывают — неправда, их только ловить надо уметь...

— А попробуйте с ребятами-то нашими,— усмехнулся Буров.

— Это иной вопрос...

— Да што иной... попробуйте,— как бы донимал тот Клычкова.— Оно тово, скажу вам, очень тово...

И он знаменательно поднял палец вверх, как будто заганул загадку и ждал разрешения.

— Трудно? — спросил Федор участливо.

Тот молча наклонил голову, а потом брякнул:

— Не только трудно — нельзя! Совсем нельзя! Мы, говорят, воевать пришли, а книжки читать потом будем... Когда войну кончим, тогда и книжки, вот што...

— Так вот тут-то ваша задача и начинается,— не дал ему докончить Клычков.— Комиссар как раз должен убедить в другом: должен убедить, что без политики воевать нельзя... Что же за армия будет, коли не знает, куда и за что воевать идет? И время на это можно найти... не верю, что нельзя... Попробуйте... В будущий раз сами сознаетесь, что можно... Только расшевелите всех тут — полковых комиссаров, ячейки... Да и сам... От вас — ой, как много зависит...

— Я-то — видите,— он показал на мокрую, забрызганную грязью тужурку.

— Не только,— отмахнулся серьезно Федор.— Этого мало. Тут-то как раз ваша разница с командиром и начинается. Ведь получается впечатление, что вы — лишь вояка хороший, а больше и ничего...

— Им главное это,— убеждал комиссар.— Как с ними не будешь — фью. На черта ты им нужен. Говорить — говоришь, а сам, говорят, не делаешь. Сам, говорит...

— Да погодите, погодите,— остановил его Федор.— Снова повторяю: надо... *Но не одно это* надо, не одно... Кто же, кроме нас, армию-то просвещать будет? Поймите, что *мало быть смелым воином, надо быть еще и сознательным...*

И он стал доказывать Бурову необходимость и возможность ведения политической работы даже в самой сложной обстановке. Тот не протестовал больше, но видно было, что результатов больших на этой задаче от него не будет... Командир? Да, командиром он будет отличным.

Через короткое время этому товарищу дали командную должность, а комиссаром на его место назначили другого.

Закончили разговор, подошли к столу. Елань рассказывал вчерашний случай.

— ...Человек пятнадцать... Одеты как полагается, а отличий нет никаких: солдаты и солдаты. Только у командира звезда была красная — так в карман убрал. Приехали в деревню — к совету: где председатель? А мужиков тут с полсотни набралось, шепчутся чего-то, в сторону норовят, боятся...

— Вы колчаки, што ли, солдатики?— спрашивают.

— Колчаки,— говорят ребята, прикинуться задумали, посмотреть, что из этого выйдет.

— А сюда пошто, воюете?

— Воюем, братцы, да красных вот ищем: где они тут, кому известно?

И стали мужиков расспрашивать, какие, дескать, тут воинские части у красных да где они находятся, куда идут, как обращаются с крестьянами...

А те носы повесили да и слова путного не говорят:

— Вон Иван Парфеныч пускай расскажет, он у нас знает все — в председателях сидит...

Иван Парфеныч показался в дверях, этак пудов на одиннадцать мужчина...— обвел рассказчик руками вокруг живота, показывая, какая была солидность у Ивана Парфеныча.

Все рассмеялись.

— Да, да,— подтвердил Елань.— Тут по советам сколько угодно таких встретишь... Не рассмотрели еще мужики, в чем дело, да и робеют... так, сволочь разную иной и выберут...

Так вот, спускается с крылечка... Даже и глазом не моргнул, не оробел Иван-то Парфеныч, шествует к «колчакам» за мое почтение, кланяется от самой двери, руку под козырек берет, улыбается. «Здравия,— говорит,— желаю».

— Ты председатель? — спрашивают ребята.

— Так точно,— говорит и опять смеется, сукин

сын...— Посадили вон, подлецы,— говорит,— и сижу... Ждали вас, родимых, на той неделе... Вот... слава богу, пришли — всю-то душу размотали...

А ребята как будто не верят, значит.

— Да что ты, дескать, нам дуру-то навертываешь,— рассказывай дело: где «ваши»?

— Какие это наши? — вытаращил глаза председатель.

— Ну, што — какие: красные где? Рассказывай, красный черт.

Тут председатель в ноги, оправдываться, свидетелей троих из толпы-то (пудов по восемь); те за него.

— Да где же, мол... Иван Парфеныч — человек положительный, он никогда с этими не связывался, мужики его заставили в совет залезать.

Ребята с коней, зашли в совет, написали все его показанья, дали подписать: хотим, говорят, господам офицерам материалы привезти...

Все подписал, подлец... Тут его с тремя-то защитниками на повозку да и сюда. Как понял, так и завыл: я, христом богом, говорит, сам в большевиках состою... А мужики перепугались — говорить не знают што... Совсем оробел народ,— махнул рукой Елань в заключение рассказа.

— А где теперь? — спросил Федор.

— Всех четверых в трибунал послали... Што народ у фронта с толку сбился, это верно: на неделе по четыре раза встречали и белых и красных, спутались, кто первым приходил, кто последним, кто обижал крепко, а кто и не трогал... Лошадей што поугнали — и не счесть, а телег поломано, сараев сожжено, посуды разбито, растащено — лучше и не поминать. Со скотиной, положим, крестьяне узнали, как спасаться: загонят в чащу лесную целые табуны, да так и не выводят оттуда, корм по ночам таскают. А солдаты придут: лошади где, коровы?

— Всех угнали... подчистую.

— Кто угнал?

Тут ежели белым — так на красных говорят, а красным — на белых. Сходило. Но не всегда и тут

сходило, дознаваться потом стали, разведку по лесам пускали... Отыщут табун — пригонят, а деревня — реветь... Только что же слезы поделают, когда и кровь нипочем?!

По пути к полкам заехали в какое-то село:

— Совет есть?

— Совет? — ежились мужики.— Да был совет...

— Где был?

— А, надо быть, в этом доме,— показывают на большой заколоченный дом.

— Теперь-то где?

— Теперь-то? А кто его знает... На селе... Там вон где-то... в конце...

— Так што же вы, ребята, неужто не знаете?

— Да чего нам... нет, не знаем ничего. Поезжайте вон на тот конец, там, может, скажут...

— Вы же сами — здешние?

— Как же — тут все живем.

— И не знаете, есть ли совет?

— Надо быть, есть...

— А староста есть?

— И староста есть.

— А молоко есть?

— И молоко есть.

— Ну-ка, кринку, поскорее, да холодного!

— Это можно... Ванюшка, эй!

Отрядили мальчишку, послали за молоком; не знали, как держаться, о чем говорить. Нашлись двое — признали Чапаева. Но еще долго, упорно не верили, что приехавшие «не из офицеров будут». Наконец, по разным признакам, по фактам, по общим воспоминаниям — поверили. Стали говорить охотно и легко. В разговоре сквозило сочувствие, но усталость, усталость... И перепуг... глубокий, хронический, заматерелый...

Мужички толковали про то, чтобы «оставили в покое — ото всех, мол, тошно, выходит... война-то кругом тяжела мужичку...»

Отдыхая, проговорили больше часу, и, когда собрались уезжать, крестьяне провожали дружно, напутствовали по-товарищески...

На самом берегу Боровки, в деревне, остановился Михайлов со своим полком,— сюда проехать было можно только берегом, а с той стороны, из-за сырта [1], где лежали неприятельские цепи, шла непрерывная пальба: как завидят — и пошла и пошла... До деревни оставалось уже совсем недалеко: видны были овины, когда неприятель усилил огонь... Зазвенели торопливые пули, одному из спутников пробило ногу. Ударили по коням — в карьер!.. Разбились гуськом, один от другого шагах в двадцати. Федору вспомнилось, как он спасался в сломихинском бою, и сразу почувствовал перемену: теперь уже не было того панического страха, как тогда... Пусть там разрывы, здесь — пули; и пули бывают страшнее снарядов. Все страшно по-своему: «пуля — для тела, шрапнель — для души». Он скакал и никак не верил, не допускал, что пуля может задеть и его. «Соседа — конечно... может... а меня — едва ли...» Отчего были такие мысли — и сам не знал.

На скаку поранило двух лошадей, одному из ординарцев пробило шапку... Спрятались за высокие стога сена, спешились, один за другим от стога к стогу, от овина к овину начали перебегать в деревню. Чапаев перебегал последним. Федор, чтобы наблюдать, спрятался и следил, как тот сначала рванулся и побежал, но вдруг повернулся обратно и юркнул снова за стог. Потом переждал и уже не пытался перебегать прямо к деревне, а взял в обратную сторону, окружным путем, и к штабу явился последним...

Федор любопытствовал:

— Что это ты, Василий Иванович, сдрейфил как будто? За овином-то, словно трус, мотался?

— Пулю шальную не люблю,— серьезно ответил Чапаев.— Ненавижу... Глупой смерти не хочу!.. В бою — давай, там можно... а тут...— И он плюнул энергично и зло.

К штабу было пройти нелегко: деревня обстреливалась с высокого заречного сырта. Как только заметят кого в прогоне меж домами, так и жарят по этому месту чуть не целыми пачками. Красноармейцы тоже

---

[1] Сырт — холм, небольшая гора.

в обиду не даются: залезли на овины, попрятались на крышах, за плетнями, понаделали дырок в стенах у сараев — наблюдают зорко, что делается на том берегу. И лишь зачернеет, запрыгает фигурка или голова где-нибудь высунется за бугром,— открывают огонь. Тут идет не сражение, а настоящая взаимная охота, огонь по «случайной цели». И — удивительное дело — по деревне гуляют девушки в праздничных цветных костюмах, местами песни поют, забавляются... Ребята тоже не зевают — вьются возле них, подпевают, а один так и с гармоникой подсыпается...

Надо сказать, что река тут неширока, и из-за сырта видно — боец идет или крестьянин, девушка ли подпрыгивает... Пальба в переулках шла только по красноармейцам. Крестьяне ходили как ни в чем не бывало — спокойные, неторопливые... И если бы не перестрелка, трудно было подумать, глядя на них, что кругом тут ежесекундно витает смерть: деревня будто где-то в глубочайшем тылу и в совершенном покое справляла свою традиционную пасху...

Михайлову хотели посоветовать, чтобы разведку сделал через реку, а он ее, оказалось, услал еще поутру, ждет теперь с минуты на минуту. Разведка действительно вернулась скоро, двоих похоронила на том берегу — убили их в последние минуты, когда уже спускались к броду. На фронте редко что дается даром! Сообщение выслушали, держали совет и порешили ночью же сделать налет. Знали, что брод этот будет охраняться,— надо было засветло искать другой. Операцией Михайлов брался руководить самолично. Надежд на успех было много, и главная надежда заключалась в том, что белые части уже наполовину были подготовлены, сагитированы заранее. Своеобразная агитация эта производилась простым и оригинальным способом: человек десять коммунистов выползают на животах почти со средины деревни и пробираются через те самые пролеты, в которые обстреливаются в деревне красноармейцы. Ползут и ползут, не подымая головы, не колыхаясь, не извиваясь в стороны, медленно и все в одном направлении. Доберутся до тына — здесь дыры еще ночью проделаны, устремляются

в эти дыры и сползают к берегу. Перед самым тыном происходит небольшая маскировка, а иные проделывают ее и раньше, чем выползут, в деревне. Маскировка тоже незамысловатая: одному сучочков, палочек, елочек попритыкивают, навешают со всех сторон, тряпок ли набросают, чтобы на человека не был похож. Такое-то безобразное существо и движется к воде. Бывает, сена набросают, соломой осыплют, рогожей накроют: всяк молодец — на свой образец... Десяток или полтора этаких чудовищ выползают на берег с разных концов и, прижимаясь то к бугоркам, то к кустарникам, к прибрежным всяким укрытиям, выравниваются вдруг и начинают кричать:

— Солдаты... Белые солдаты... Товарищи... Бейте офицеров!.. Переходите на нашу сторону... Вас обманули... Крестьян на крестьян гонят. Офицеры — господа... Они вам враги, мы ваши братья. Переходите, товарищи!.. Бейте офицеров!.. Переходите!..

Река тут неширока, с берега на берег слышно отлично, а особенно звучно слышно по росе: выползают агитаторы, конечно, в сумерках — в вечерних или утренних, когда их продвижение не особенно заметно... Офицеры с той стороны посылали площадную брань,— уж так измывались, так измывались, что слов поганых не находили для проповедников-большевиков. Открывали и стрельбу, но куда же, в кого тут будешь стрелять,— не видно нигде никого.

Ругаться — ругались, а части на берегу все-таки подолгу оставлять боялись, меняли то и знай, все время были в перепуге, ждали каких-то страхов у себя изнутри... Белые солдаты близко к сердцу принимали убедительные простые слова, что доносились к ним из-за реки, и — говорили потом — не один десяток был расстрелян офицерами за подслушанные солдатские речи про «братьев-большевиков». Шпионская работа у белых чем дальше, тем больше развивалась и среди солдат; крестьяне начинали там понимать драматическое свое положение, когда их понуждали, гнали бороться против своего же дела, против своего же брата трудящегося. Все это в очень значительной степени

облегчало борьбу красноармейских полков. А работа агитаторов и вконец разлагала белые части.

Попалят-попалят офицеры — бросят, а агитаторы так же медленно, тихо, без колыханий, отползают обратно в деревню.

Вечером накануне предполагавшегося ночного налета агитация была проведена особенно успешно: в отдельных местах белые солдаты, рискуя жизнью, даже перекликались с агитаторами, задавали разные вопросы, указывали на трудности перехода, на строгость надзора, на жестокость расправ.

Ночью Михайлов с отборным отрядом направился осуществлять задуманное дело.

На следующий день в бригадный штаб пришла его телеграмма:

«Отобрав 200 человек, ночью, вброд, а частью по бревенчатому мосту, сделанному наспех, пробрался на другой берег Боровки и внезапно атаковал спящего неприятеля. Захвачено в плен свыше полутораста человек, четыре пулемета, винтовки, патроны, кухни, обозы...»

— Забрал полтораста,— вслух сказал Чапаев,— так это забрал, а на месте што осталось?.. Пиши! — обратился он к штабнику, который составлял донесение об успехе: — «Забрал в плен полтораста и зарубил на месте двести».

— Слушай-ка, что же это? — изумленно вскинул Федор на него глаза.— Какие двести?

— Не меньше,— отвечал Чапаев, нисколько не смутясь.

— Да какие двести, что ты, брат, выдумываешь?

— Ничего я не выдумываю,— обиделся Чапаев.— Если ему, дураку, невдомек, што же я — так и должен пропустить?

— Да писать-то подожди... Ну, запросим, что ли, добавочно пошлем, а теперь... это же выдумка, Василий Иваныч!

— Так што? — ухмыльнулся тот легкомысленно.— Повеселить надо.

— Кого повеселить? — противился Федор.— Что

тут за веселье! Да узнают про эти номера, тебе и верить-то никогда не станут...

— Не узнают,— опять отшутился было Чапаев, но Федор настоял, чтобы эти двести «мертвых душ» все-таки не включали, и Чапаев с горечью должен был согласиться...

Когда вернулись к себе в штаб, там поджидало распоряжение: немедленно выезжать, захватив с собою одно, другое, третье. Указывались место и цель: переброска в другую армию. За время перехода перебросок этих было несколько: туда-сюда сунут, глядишь — бригаду оторвут, опять соединят,— словом, как полагается, как диктовала обстановка. Чапаев обычно негодовал и крепко бранился при всех этих перетасовках, считая их не то случайностью, не то проявлением злой воли каких-то своих «недоброжелателей». Удивительно просты были у него мысли в таких случаях, даже иной раз можно было принять их за шутку, если б не были они сказаны и обставлены так серьезно.

В новой обстановке по существу ничто не было ново, да и ехать-то было уж не так далеко. Армии тогда стояли тесно, шли непрерывным фронтом. Успех и неудачи в одной чутко сказывались в другой. Сведения разносились быстро; эти сведения то наводили уныние, то окрыляли надеждами. Особую радость выказал Чапаев, когда прослышал об успехе бригады Еланя.

— Молодец, подлец, не зря учен,— торжествующе заявил он в штабе по адресу Еланя и тут же послал телеграмму, где между деловыми фразами выражал свою радость: голые приветственные телеграммы посылать не полагалось.

Наступление развивалось успешно. Заняли целый ряд пунктов, больших и малых. По фронту метались как угорелые,— всюду надо было поспеть, указать, помочь, предупредить, а временами и участвовать лично в бою. Один из таких боевых эпизодов Федор занес в свою книжку под названием «Пилюгинский бой». Приводим полностью этот очерк.

ПИЛЮГИНСКИЙ БОЙ

1. ВЫСТУПЛЕНИЕ

Мы выступили из Архангельского рано, на заре, когда еще солнце не согрело землю, на лугу пахло ночной сыростью, а в воздухе стояла напряженная предутренняя тишина. Один за другим выходили в просторное поле наши полки, выстраивались и молча, без криков, без песен, без шума, двигались к высокому сырту, заслонявшему ближние деревни. По всем направлениям разбросаны были передовые группы; конная разведка умчалась вперед и скоро пропала из вида. Мы ехали перед полками — Чапаев, командир бригады и я, то и дело рассылая вестовых — или с полученными новыми сведениями, или за свежим материалом. Слева, из-за другого сырта, раздавалась глухая артиллерийская пальба — это за Кинелем; там должна продвигаться наша бригада, получившая задачу выйти неприятелю в тыл и отрезать отступление, когда мы его погоним из Пилюгина. Кто палит — не разобрать, где-то далеко, верст за двадцать — двадцать пять; это лишь по заре четко доносятся глухие орудийные удары — днем они не были бы так явственно слышны.

Внезапным ударом в тыл предполагалось создать панику в неприятельских рядах и, пользуясь замешательством, отнять артиллерию, про которую донесла разведка. Пальба за рекой давала понять, что неприятель и заметил и верно понял наш маневр,— шансы на успех понижались.

Выехали на косогор. Внизу — крошечная деревушка Скобелево; отсюда поведем наступление на Пилюгино. Прискакала разведка, сообщила, что Скобелево оставлено неприятелем еще накануне вечером. Подошли к деревне. Крестьяне жались около хат и робко посматривали на входившие войска.

— Сегодня белые, завтра красные,— причитали они,— потом опять белые, потом красные — не видим краю... И хлеб-то у нас поели и скотину забрали, обездолили кругом...— Потом почесывали затылки и с фи-

лософской примиренностью добавляли: — Оно, што же говорить, война... понимаем — жаловаться не на кого. Да трудно стало, силы нет... И когда она только окончится, проклятая? чай бы, отдохнуть надо.

— Когда победим,— отвечали им.— Раньше никак не окончить.

— Это когда же? — смотрели они усталыми стеклянными глазами.

— А сами не знаем. Вот помогайте — скорее пойдет... Коли дружно возьмемся, где же ему устоять, Колчаку-то?

— Где устоять!..— соглашались мужики.

— Значит, помогать надо...

— И помогать надо,— соглашались они дальше.— Пойди-ка, помогай. Ты ему помог, ан вы деревнюшку и заняли... Только за вас тронулся, а он ее назад отберет, тут и гляди, как тебя с двух сторон подбивать начнут. Наше-то Скобелево насмотрелось всякого: и ваших бывало много, и гоняли тут нас не единожды... Так по подвалам-то оно складнее,— ни туда, ни сюда...

Мы объясняли мужикам на ходу, торопясь, нагоняя ушедших, в чем они ошибаются, что для них означает офицерская, барская власть Колчака, что — власть советов... Понимали, соглашались, но видно было, что толковали с ними на эти темы редко и мало, знать они путем ничего не знали и крутили разговор только около «покоя».

Так не везде случалось,— лишь по глухому захолустью, по таким дырам, как Скобелево. В больших селах — там обычно кололись резко на две половины непримиримых врагов: с приходом белых задирала голову одна половина, мстила, издевалась, преследовала, выдавала; с приходом красных торжество было на стороне других, и они тоже, разумеется, не щадили своих исконных врагов...

Части проходили деревней, одна за другой переправлялись через небольшой мост, рассыпались по лугу, выстраивались цепями. Из Пилюгина открыли по лугу артиллерийский обстрел...

Но уже далеко на правый край отбежали первые цепи, за ними тонкой, жидкой ленточкой выстраива-

лись другие, кучки пропали, растаяли, верный прицел взять было крайне трудно,— результаты обстрела были самые ничтожные.

Вошли с Чапаевым в избу, спрашиваем молока. Перепуганная стрельбой хилая, больная хозяюшка притащила кринку, положила краюху хлеба, ласково, любовно, заботливо помогала толпившимся тут же красноармейцам и их кормила, рассказывала, как страшно ей было, когда тут стреляли по деревне... Когда стали отдавать за молоко деньги — отказывается, не берет.

— Я,— говорит,— и так проживу, а вам кто е знает, сколько воевать придется.

Так и не взяла. Деньги мы сунули ребятишкам; они жались около матери, цеплялись ей за подол, как звереныши, поглядывали блестящими глазенками на незнакомых людей с винтовками, револьверами, шашками и бомбами...

— Вы-то платите,— заметила хозяйка.— Хоть и не надо мне, а ладно... Сена ли, овса ли, за все отдают... А те — обглодали начисто, хоть бы тебе соломинку заплатили... И Ванюшку, сына, с лошадью погнали... Вернется ли — один бог знает...

В ее голосе, в манерах не было подобострастия — говорила правду. Хоть не всегда, не везде расплачивались наши — не знала она того, а про «колчаков» в каждом селе, в каждой деревнюшке одно и то же: обдирают, не платят, растаскивают начисто...

Мы сидим в халупе, и видно из окна, как рвутся по лугу снаряды — в двух- трехстах саженях. Здесь и там, одно за другим непрестанно появляются над землей маленькие облака густого черного дыма, и за каждым появлением такого облачка содрогается воздух, трясется земля, как бубенчики заливаются стекла в окнах халуп. Неприятель бьет по цепям, но неудачно, наугад, без всяких результатов,— перелеты на многие десятки саженей... Мы задерживаемся, ждем свою артиллерию, чтобы с места в карьер пустить ее в дело. Выхожу из халупы, забрался на пригорок, лежу. Вдруг прибегает женщина. Оглянулась по сторонам, вытащила что-то из-под фартука, сует:

— На-ка, на, скорее...

Посмотрел — яйцо, и, не понимая, в чем дело, полный недоуменья, смотрю на нее широкими глазами:

— Сколько заплатить?

— И, што ты, родимый,— обиделась она.— Поди заморился... Какие тут деньги, ешь-ка знай...

Она торопилась, видно было и по речи и по движеньям,— скажет и оглянется: заметят, дескать, деревенские, а белые придут — доложат, так беды не оберешься...

— Да што ты так-то? — спрашиваю.

— А братец с вами у меня... родной... заодно воюет... Тоже в Красной Армии состоит... Говорили, белые-то заколотили вас, Самару будто взяли,— верно ли?

— Нет, милая, неверно,— отвечаю.— Совсем неверно. Сама видишь, кто кого колотит.

— То-то вижу... Ну, будь живой, касатик...

И она поспешно юркнула с косогора, прячась и оглядываясь, пропала среди изб... А я сидел со странным, радостным, особенным чувством. Смотрел на яйцо, чему-то улыбался и представлял себе образ этой милой простой женщины. Есть у нас везде — думалось мне — даже и в такой дыре, Скобелеве, свои люди... Хоть и не понимают, может, многого, а инстинктом чувствуют, кто куда идет... Вот она, женщина-то, посмотри: ждала... дождалась... рада... и теперь не знает, чем доказать свою радость... яйцо сунула...

2. В ЦЕПИ

Пришла артиллерия, указали ей путь, и по лощине, натуживаясь и ныряя, потянули лошади тяжелые орудия. Мы видели, как остановились батареи сзади цепей, как мелькнул первый огонек: бббах... ббб... ах... Дальше — без перерыва. Цепи услышали свою артиллерию, пошли веселее... Мы сели на коней и, в сопровождении ординарцев, поскакали вперед. Выехали на гору — оттуда Пилюгино как на ладони: прямой до-

рогой тут не больше трех верст. По флангам, к цепям, разъехались в разные стороны: Чапаев — направо, я — налево.

— Товарищ,— обратился ко мне вестовой,— это чего там, наши, гляди-ка, отступают, што ли, бегут... Сюда, надо быть?..

Я посмотрел. Действительно, какая-то суматоха,— красноармейцы перебегают с места на место, цепь то сожмется, то растянется снова... Мы — туда. Разъяснилось дело очень просто: цепь перестраивалась и брала иное направление.

Поле здесь засеяно подсолнухами; с трудом пробирались мы между здоровенными колючими стволами... Добрались до первой линии, слезли с коней. Вестовой шел с нами шагах в тридцати, я сам прилег в цепь. По сторонам у меня лежали молодые ребята с загорелыми лицами, оба короткие, широкоплечие крепыши — Сизов и Климов. В цепи, когда наступает она, тихо, не услышишь голоса человеческой речи,— только команда рявкнет или кашлянет, отплюнет кто-нибудь. Да редко-редко кто обронит случайное слово. Моменты эти глубоко содержательны: под огнем, в свисте и звоне пуль, каждый миг ожидая, что она пробьет тебе череп, ноги, грудь,— не до слов, не до разговоров. Ты преисполнен сложных, быстро изменчивых, обычно неясных дум. Становишься сосредоточенным, молчаливым, почти злым. Мысли путаются, хочется вспомнить разом как можно больше, как можно скорее — в один миг, чтобы ничего-ничего не забыть, не опустить. И кажется, что главного-то как раз и не вспомнил, а надо торопиться, спешить надо...

Перебежки одна за другой, все чаще, все чаще... Ближе враг... Совсем близко... Еще минута — и перебежек не будет, за последней перебежкой — атака... Ради этого страшного момента, именно ради атаки и торопишься теперь все разом, как можно скорее, вспомнить... Там — предел, черная бездна...

Я тихо опустился между бойцами. Они посторонились, посмотрели неопределенно мне в лицо, ни о чем не спросили,— как лежали в молчании, так и остались... Полежав, помолчал и я, но стало тягостно от

мертвящей тишины,— вынул кисет, свернул цигарку, закурил.

— Хочешь, товарищ? — обратился к соседу.

Он поднял голову, как бы не поняв сразу и изумившись моему вопросу; еще больше удивился он тому, что вдруг, так вот неожиданно услышал *здесь, теперь* — человеческую речь. Подумал одно мгновение, и я увидел, как глаза его осветились, повеселели.

— И то дело, давай,— потянулся он за кисетом.— Эй, Сизяк,— обратился тут же к Сизову,— что землю жуешь? На-ка, лучше закури с нами...

Сизов так же медленно, как и Климов, приподнял голову и посмотрел на нас угрюмым, строгим взглядом, а потом завернул, закурил, стал и сам веселее... Разговора нет никакого, только бросаем отдельные слова: сыро... колется... потухло... вишь, летит...

— Перебежка!!! — раздалась команда.

Мигом вскочили. Разом, как резиновая, подпрыгнула вся цепь. Она не выпрямилась во весь рост, а так и застыла горбатая.

— Бегом!!! — раздалось в тот же момент.

Все кинулись бежать, далеко вперед себя выбрасывая винтовки... Бежал и я, согнувшись в дугу, неровным, ковыляющим бегом. Неприятель затарахтел пулеметами, заторопился ружейными залпами.

— Ложись! — раздалась тотчас же новая команда.

Все ткнулись в землю... как ткнулись, так несколько мгновений и лежали недвижно. Потом медленно зашевелились, стали приподымать головы, оглядываться. Кто ткнулся впереди — пятился теперь назад, чтобы сравняться; ткнувшиеся сзади подползали тихо, с низко прислоненными к земле головами,— никто не хотел остаться в одиночку ни сзади, ни впереди.

Климов, бежавший быстрее и ткнувшийся впереди нас, пятился теперь, как рак, и если бы я не посторонился — прямо в лицо угодил бы мне огромной подошвой американской штиблетины...

Лежим — молчим. Ожидаем новую команду. Уже больше не пытаемся курить, нет даже и отдельных отрывчатых слов. Климов с Сизовым рядом. Видно, вспомнилось Климову, как несколько минут назад

сделалось ему легче в разговоре,— слышу, начинает заговаривать с Сизовым.

— Сизов...

— Чего тебе?

— Букарашка, видишь,— и тычет пальцем в траву.

Сизов ему ни слова: угрюм, насупился, молчит.

— Сизов,— пристает он снова.

— Да ну, што? — бросает тот с неохотой.

Климов и сам ничего не ответил, вздохнул и потом, как бы собравшись с мыслями, тихо сказал:

— Любаньку-то отдали в Пронино...

Видно, вспомнил односельчанку, а может, и зазноба какая, кто его знает. И на этот раз ни слова не ответил ему Сизов. Понимая безнадежность, умолк Климов, а со мной, видно, охоты не было говорить; растянулся еще плотнее по земле и начал водить пальцем по ранней жидкой траве,— то букарашку раздавит и смотрит, как она в конвульсиях кончается на его грязном широком пальце, то земли бугорок сковырнет, возьмет ее между пальцами и сыплет, все сыплет по песчинке, пока не высыплется вся...

— Перебежка!.. бегом!!!

Ретиво вскакиваем, бежим вперед с безумным взглядом, с перекошенными лицами, с широко раздутыми горящими ноздрями. И ждем. Бежим и ждем, бежим и ждем... желанную команду: «Ложись!»

Падали мертвыми, окостенелыми телами, замирали, подбирались, втягивались в себя, как черепахи, а потом медленно-медленно отходили, начинали двигаться, нетвердым, опасливым взором глядеть по сторонам.

Тут же Маруся Рябинина — девятнадцатилетняя девушка — тоже с винтовкой, шагает гордо, не хочет отстать. Она не знала, дорогой наш друг, что через несколько дней, у Заглядина, так же как теперь, пойдет она в наступление вброд через реку, одна из первых кинется в атаку, и прямо в лоб насмерть поразит ее вражеская пуля, и упадет Маруся и поплывет теплым трупом по окровавленным холодным волнам Кинеля... Теперь она тоже улыбалась, что-то мне кричала дружеское, но не разобрал издалека...

Земляков своих я не видел уже два месяца и не успел даже того узнать, что Никита Лопарь и Бочкин — здесь же, в полку, перебрались из уральских частей, соскучились воевать по другим полкам. Терентия так и не увидел я на этот раз. Лопарь с другого конца болотины махал коммунаркой и тряс огромными рыжими кудрями...

Все знакомые, дорогие лица... Но некогда было ждать — до овинов оставалась всего сотня сажен. Каждую секунду можно ждать, что оттуда встретят внезапным огнем. Это — любимый на фронте прием: замереть, притаиться, нацелить дула и пустить неприятеля близко-близко, а потом вдруг пулеметы и залп за залпом, бить жестоко и непрерывно, рядами, грудами наложить перед собою человеческие тела, видеть, как дрогнул враг, попятился, помчался вспять, и бить, бить, бить его вдогонку, а пожалуй, и бросить на него спрятанную где-нибудь тут же кавалерию — добивать, рубить бегущего, растерявшегося, обезумевшего в смертельном испуге врага.

Мы готовы были ко всему. Вдруг справа два коротких залпа, за ними тотчас же быстро-быстро заработал пулемет. Вестовой поскакал узнать, в чем дело; через две минуты сообщил, что это наши на правом фланге вызывают неприятеля на ответ. Но ответа не было. Можно было предположить, что селение очищено, но, наученные горьким опытом, тихо, осторожно, ощупью двигались на овины наши цепи. Несколько человек пулеметчиков, а с ними бойцы подхватили пулемет, подбежали к одному из ближних овинов, приладили его быстро к бою — приготовились стрелять. Но тихо... На правом фланге издалека, глухо прокатилось «ура», — это наши пошли в атаку, захватив почти без боя всю группу неприятеля, что оставлена была там на охрану села. Из-за горы, с левой стороны, прогремели один за другим три орудийных выстрела... Грохот и вой ослабевали, постепенно замирали, были слышны только удары, от разрывов доносилось лишь чуть слышное эхо,— значит, не по Пилюгину это, а сам неприятель бьет куда-то в сторону. Он бил по тем частям, которые двигались с крайнего левого фланга

ему в охват; он переносил туда артиллерийский огонь, быстро отступал и против нас оставил лишь небольшие части,— так узнали потом, а теперь многое было все еще неясно, и можно было ждать всякого оборота и результата делу. Когда пулеметчики пристроились у овина, мы с командиром батальона приблизились, чтобы узнать, не увидели ли, не заметили ли чего-нибудь на гумнах; но там по-прежнему тихо, никто не показывается — ни из белых, ни из жителей, словно мертвое стало пустое село. Осторожно, оглядываясь кругом, засматривая к стогам, за овины и сараи, медленно пробираемся вперед. Ни звука, ни шороха, ни слова, ни выстрела — в такой тишине куда страшней, чем под выстрелами. Тишина на фронте — ужасная, мучительная вещь.

Сзади нас, неподалеку, шли иваново-вознесенцы,— их красные звезды уже здесь и там мелькали среди овинов и стогов сена. Это движение, торопливое, нервное, неуверенное, происходило в могильной тишине, в ежесекундном ожидании внезапного огня...

Вдали мелькнула женская фигура: знать крестьянка... Надо скорей разузнать...

Рысью — туда...

3. ВСТУПЛЕНИЕ

Женщина-крестьянка стояла у погреба и в упор смотрела на меня остановившимся, мутным, растерянным взглядом. В этом взгляде отразился ужас только что пережитого страдания, в нем отразились недоумение и напряженный, мучительный вопрос, ожидание новой, неминуемой, неотвратимой беды, словно она ожидала удара, хотела бы отвести его, но не могла. «Скоро ли?» — спрашивал этот усталый взгляд, и, верно, не в первый раз и не только на меня смотрела она, такая измученная, и спрашивала: «Скоро ли?» Возле нее, около избы, приподняв крышку, выглядывало из погреба другое, столь же измученное, серое, полумертвое лицо женщины: под глазами повисли иссиня-багровые мешки, губы высохли, выбились во-



Д. А. Фурманов и В. И. Чапаев. 1919 г.

лосы из-под тряпья, наверченного на голову. Вопросом и мольбой был полон скорбный взор.

— Белые здесь аль ушли? — спрашиваю их.

— Ушли, убежали, родной,— ответила та, что выглядывала из погреба.— Можно ли нам отсюда вылезать-то, родной? Стрелять будете еще?

— Нет, нет, не будем, вылезайте...

И одна за другой стали показываться из погреба женщины, только они,— мужиков не было. Выползали еще малые ребятишки; этих закутали одеялами, рогожами, мешками,— знать, думали, что мучной мешочек спасет их от шрапнели... Вытащили за сухие длинные руки старика с серыми, мокрыми глазами, с широкой белой бородой. У него на поясе болталась длинная веревка,— надо быть, на ней спускали его в погреб.

Когда все выползли вереницей, один за другим, держась за плетень, оглядываясь робко по сторонам, заковыляли они к своим халупам. Большая, значительная картина, как двигались они тенями по плетню в гробовом, драматическом молчании, все еще полные испуга, замученные своим страхом, закоченевшие в сыром, холодном сарае!

На углу толпится кучка крестьян,— они тоже еще не понимают, не знают, окончен ли бой, оставаться ли им здесь или попрятаться снова по избам, под сараи, по баням...

— Здравствуйте, товарищи! — крикнул им.

— Здорово... Здравствуй, товарищ! — дружно ответили они.— Дождались, слава богу...

Не знаю я, верить ли этим приветственным словам. Может быть, и белых они встречали так же, чтобы не трогали — из робости, от испуга. Но посмотрел на лица — и вижу настоящую, неподдельную радость, такую подлинную радость, которую выдумать нельзя, особенно нельзя отразить ее на немудрящем крестьянском лице. И самому стало радостно.

Мы тронули на середину деревни. Там новая толпа, но видно, что уж это не крестьяне.

— Вы што, ребята, пленные, што ли?

— Так точно, пленные.

— Мобилизованы, што ли?

— Так точно, мобилизованы.

— Откуда?

— Акмолинской области.

— Сколько вас тут?

— Да вот человек тридцать, а то попрятались по сараям... Да вон из огородов бегут.

— Так, значит, остались?

— Так точно, сами.

— А оружие где?

— Сложили вон там, у забора.

Подъехал, посмотрел: куча винтовок. Сейчас же к оружию, к пленным наставили своих ребят, приказали охранять, пока не переправим в штаб дивизии.

Пленные выглядели жалко, одеты были скверней-ше,— кто в шубенку какую-то старую, кто в армяк, кто в дырявые пальтишки; обуты тоже скверно,— иные в валенках, в лаптях, и все это изодрано до последней степени... Они нисколько не были похожи на войско — просто толпа оборванцев. Являлось недоумение: отчего бы это они так плохо одеты, когда колчаковские войска, наоборот, заграничным добром снабжаются изрядно?

— Что это,— спрашиваю,— ребята, больно плохо одел вас Колчак-то? Неужто всех так?

— Нет, это нас только.

— За што так?

— А все не шли... Убегло наших много — кто обратно к себе, а кто в Красную Армию...

— Значит, не добром к Колчаку шли?

— А на что он нам... Своих-то одел с позументами, а нас, смотрите вот...— и они показывали свои дыры и лохмотья.— Да все вперед гнал, под самые выстрелы: такую, говорит, сволочь и жалеть нечего...

— А вот вы бежали бы давно...

— Так нельзя бежать-то, сзади нас он своих поставил,— эти не воевали, а только смотрели, чтобы не убегнуть...

— Ну, а теперь как же удалось?

— Да вон все в огородах... Между грядами... Полегли и ждали. А потом вышли.

— Куда же теперь: служить в Красной Армии у нас станете?

— Так точно, за тем и остались, чтобы в Красной Армии, куда же нам? Того и хотим.

Разговор на этом окончили.

Вдоль по селу мы поскакали к горе, в ту сторону, куда убежал неприятель. Части наши, видно было, уже карабкались по откосу, сгрудились на мосточке, переходили по песчаному крутому скату.

— Много ли тут белых-то было? — спрашиваю по дороге.

— Тыщу было...— отвечают крестьяне.

Но верить этим «тыщам» никогда сразу не следует: иной раз «тыща» превращается в пять-шесть тысяч, а то и просто в двести человек. Только потом, сравнив десятки сведений и показания пленных, можно приблизительно точно установить цифру. Во всяком случае, судя по обозам, войска здесь было достаточно. Недолго и не так упорно, как обычно, держался в Пилюгине неприятель, верно, потому, что заметил и опасался обходного движения на левом фланге...

— Давно ли белые убежали?

— Да недавно,— отвечали крестьяне.— Вот только-только перед вами. Надо быть, и по горе-то недалеко ушли...

Но усталые наши части не могли преследовать, разве только кавалерию можно было пустить для испытания, но кавалерии было мало,— надежды не было и на нее.

Те, что ушли вперед и забрались на гору, все еще не теряли надежды захватить неприятельские обозы. Но захватить удалось лишь небольшую оставшуюся часть,— главный обоз давно и далеко ушел вперед.

Пилюгино расположено под горой. Гора крутая и обрывистая. Перебравшись через мост, лишь с большим трудом можно было подняться на вершину. Тут в горячке произошла драматическая случайность: передовые части, поднимавшиеся прямо по откосу, как только выскочили на вершину, заметили на другом конце ползущие цепи. Открыли огонь. Им ответили. Завязалась перестрелка: это свои не узнали своих

Двое убито, пять человек поранено. Оно бы окончилось еще тяжелей, если бы вовремя не понял обстановку командир того полка, что выходил из-за горы, с левой стороны; он самоотверженно, рискуя жизнью, махая в воздухе платком и шапкой, бросился по полю навстречу стрелявшим, добежал и разъяснил, в чем дело. Когда мы на горе увидели человек шестьдесят кавалеристов, спешившихся возле потных, взмыленных коней, приказали им разбиться на две группы: одной налево — разузнать, нет ли каких признаков, что там идут наши обходные части, другую половину услали на правую сторону, куда ушли неприятельские обозы. Связи с обходными частями так и не установили — там оказалось что-то вроде предательства, и несколько человек пришлось арестовать, передать дело трибуналу. Но теперь мы ничего не предполагали и продолжали надеяться, что даже небольшими ударами можно добиться результатов, как только в тылу у неприятеля появятся наши полки. Но полки эти не появились, и неприятель отступил спокойно, безнаказанно, с обозами. Разведчики, что усланы были направо, как только отъехали сажен триста, были жарко обстреляны отступавшими цепями, вынуждены были спуститься в овраг и дальше двигаться кустарником.

На тачанке забрался в гору первый пулеметчик. Я его взял с собой, и поехали туда — вперед, где видны были колыхающиеся неприятельские цепи. Они отступали по ровной поляне, шли к лесу, заметно торопились, видимо ожидая преследования нашей кавалерии, не зная того, что кавалерии у нас почти нет. Сами мы, конечно, поделать ничего не могли, но все еще была какая-то смутная надежда, что вот-вот в неприятельском тылу раздадутся первые выстрелы,— тогда отсюда даже и своим пулеметом можно крепко усилить панику, деморализовать врага окончательно и отнять обоз... Все ожидания были напрасны. По пятам оступающих двигались мы версты полторы: разведка справа, а мы на горе — непрерывно обстреливали отступавших. Они отвечали и все пятились к лесу, пока не исчезли. Мы ни с чем воротились назад.

По горе залег Иваново-Вознесенский полк. Когда мы с пулеметчиком стали приближаться, заметили, как несколько человек, положив винтовки на колено, прицеливались по нам и ждали, когда подъедем ближе. Я громко закричал, что едут свои, замахал платком — предотвратил новую беду. Несколько человек поднялись нам навстречу и, когда меня узнали, покачивали головами, ахали, бранили себя за оплошность. Мы спустились с горы и въехали в село.

Здесь я встретился с Чапаевым — он объезжал части. В той атаке, что была перед овинами, он участвовал лично и отуда же вошел в село. Повернув коня, я поехал вместе с ним обратно в гору.

Ожило село. Все халупы позаняли красноармейцы. Бабы толпились у колодцев, бежали с водой, торопились ставить самовары, угощали пришедших товарищей. Уж теперь не дичились они, не робели, а молодежь так даже и совсем раззадорилась. Девушки деревенские осваиваются с красноармейцами так быстро, что только диву даешься.

Посмотри-ка и теперь.

На горе залегла наша цепь; где-то тут в лесу, совсем неподалеку, отступают неприятельские войска; не рассеялся еще в воздухе пороховой дым, а в раскрытые окна халупы уж манит гармоника, и на зов ее собираются охотно, идут и бойцы, идут и девушки... Тут скоро пойдет плясовая — без этого не обойтись...

Потому еще здесь встречают так радостно красные полки, что не только грабежей или насилий — не было ни единого случая даже самых мелких оскорблений и перебранки; именно *как товарищи пришли* и к товарищам, полные уважения, взаимной духовной близости.

Огромному большинству не досталось места в избушке — пришлось раскинуться бивуаком на площади у обозов...

Отыскали получше, попросторней халупу; сюда поместили бригадный штаб и оперативный отдел ди-

визии,— он ездит с нами неразлучно все эти последние дни. Протянули кабель, заработал аппарат, заголосили телефоны. Скоро тут появился самоварчик. За столом были командиры и политические работники. Один другому торопился рассказать, что сделал, что видел и перечувствовал в бою. Перебивали, недоговаривали, хватались то за одно, то за другое, шумели, спешили один другого перекричать, заставить себя слушать, но каждый не слушать — рассказывать хотел: так он сам был полон не остывшими еще переживаниями. Усталости как не бывало... Так за разговорами, за шумом прошло с полчаса.

Вдруг — громовой удар, за ним другой, третий... Мы переглянулись, повыскакивали в недоумении из-за стола и прямо к двери. Может быть, бомбу кто-нибудь обронил?

Но тут рядом три разрыва... Если артиллерия?.. Но откуда же ей быть?

В это время мелькнул ружейный выстрел, за ним еще, еще, еще — поднялась беспорядочная пальба. Красноармейцы, сидевшие кучками возле фургонов, уже повскакали и кидались в разные стороны. Площадь живо опустела. У себя над головой мы увидели неприятельский аэроплан, ровно и тихо, словно серебряный лебедь, уплывавший в голубую даль. Разрывы случились в огромнейшем соседнем саду, где не было ни одного красноармейца...

Скоро все успокоилось и приняло свой недавний вид... Уж дрожали сумерки, а за ними легко спустилась покойная, звездная весенняя ночь. Тихо на селе. Ничто не напоминает о том, что только недавно закончился здесь бой, что всюду рыскала и вырывала жертвы беспощадная, жадная смерть. А завтра, чуть подымется солнце — мы снова в поход. И снова, как мотыльки у огня, будем кружиться между жизнью и смертью...

«Ну, а сегодня как? — задаешь себе каждый день поутру тяжелый, мучительный вопрос.— Кто останется жив? Кто уйдет? С кем выступать будем в завтрашнюю зорю, с кем никогда-никогда не увижусь... после сегодняшнего боя? А впереди еще бесконечные походы,

ежедневные ожесточенные бои... Весна... Начало... Колчак дрогнул лишь в первых рядах, а сокрушать надо всю огромную стотысячную массу. Как это дорого обойдется! Как много будет к осени жертв, как многих не досчитаемся вот из этих, из товарищей, что идут теперь со мною!»

После этого столь подробно описанного боя открыт был путь к Бугуруслану. Как и большинство городов,— не только в этих боях, но и вообще за всю гражданскую войну,— Бугуруслан был взят обходным движением. На улицах больших городов бои случались редко. Главный бой, последний и решающий, обычно разгорался непосредственно на городских подступах, и когда он, бой этот, был неудачен для обороняющегося, неудачник обычно уходил, оставляя самый город без боя в руки победителю. Так было и с Бугурусланом.

XI. До Белебея

Чапаевская дивизия шла быстро вперед, так быстро, что другие части, отставая по важным и неважным причинам, своею медлительностью разрушали общий единый план комбинированного наступления. Выйдя далеко вперед и ударяя в лоб, она больше гнала, чем уничтожала неприятеля или захватывала в плен. Испытанные в походах бойцы изумляли своей выносливостью, своей нетребовательностью, готовностью в любой час, любой обстановке и любом состоянии принять удар. Были случаи, когда после многоверстного похода они валились с ног от усталости — и вдруг завязывался бой. Усталости как не бывало: выдерживают натиск, сами развивают наступление, идут в атаку, преследуют... Но бывало и так, что ежедневные бои и переходы замаривали до окончательного изнеможения. Тогда на первом же привале бросались пластом и спали, как мертвые, часто без долж-

ной охраны, разом засыпали все — и командиры, и бойцы, и караулы...

По горам, по узким тропкам, бродом переходя встречные реки,— мосты неприятель взрывал, отступая,— и в дождь, и в грязь, по утренней росе и в вечерних туманах, день сытые, два голодные, раздетые и обутые скверно, с натертыми ногами, с болезнями, часто раненые, не оставляя строя, шли победоносно они от селения к селению — неудержимые, непобедимые, терпеливые ко всему, гордые и твердые в сопротивлении, отважно смелые и страшные в натиске, настойчивые в преследовании. Сражались героями, умирали как красные рыцари, попадали в плен и мучениками гибли под пыткой и истязаниями! С такой надежной силой нельзя было не побеждать — надо было только уметь ею управлять. Чапаев этим даром управления обладал в высокой степени,— именно управления *такою* массой, в *такой* момент, в *таком* ее состоянии, как тогда. Масса была героическая, но сырая; момент был драматический, и в пылу битв многое сходило с рук, прощалось, оправдывалось исключительностью обстановки. Та масса была как наэкзальтированная, ее состояние не передать в словах: то состояние, думается, неповторяемо, ибо явилось оно в результате целого ряда событий — всяких событий, больших и малых, бывших ранее и сопутствовавших гражданской войне. Волга вспять не потечет, причины эти назад не возвратятся, и состояние, *то* состояние родиться не может вновь. Будут *новые* моменты — и прекрасные и глубокие содержанием, но это будут *уже другие.*

И Чапаевы были только в те дни — в другие дни Чапаевых не бывает и не может быть: его родила *та* масса, в *тот* момент и в *том* своем состоянии. Потому он и мог так хорошо управлять «своею» дивизией. Как он глубоко прав был, и сам того не понимал, когда называл славную 25-ю *своею,* Чапаевской дивизией.

В нем собрались и отразились, как в зеркале, основные свойства полупартизанских войск той поры — с беспредельной удалью, решительностью и вы-

носливостью, с неизбежной жестокостью и суровыми нравами. Бойцы считали его олицетворением героизма, хотя, как видите, ничего пока исключительно героического в действиях его не было: то, что делал лично он, делали и многие, но что делали эти многие — *не знал никто,* а что делал Чапаев — *знали все,* знали детально, с прикрасами, с легендарными подробностями, со сказочным вымыслом. Он, Чапаев, в 1918 году был отличным бойцом; в 1919-м он уже не славен был как боец, он был *героем-организатором.* Но и организатором лишь в определенном, в условном смысле: он терпеть не мог «штабов», отчисляя к штабам этим все учреждения, которые воевали не штыком,— будь то отдел снабжения, комендатура ли, связь, что угодно. В его глазах — воевал и побеждал только воин с винтовкой в руках. Штабы не любил он еще и потому, что мало в них понимал и *организовать* их по-настоящему никогда не умел; появляясь в штабе, он больше *распекал,* чем указывал, помогал и разъяснял.

Организатором он был лишь в том смысле, что самим собою — любимой и высокоавторитетной личностью — он связывал, сливал воедино *свою* дивизию, вдохновлял ее героическим духом и страстным рвением вперед, вдохновлял ее на победы, развивал и укреплял среди бойцов героические традиции, и эти традиции — например, «не отступать!» — были священными для бойцов. Какие-нибудь разинцы, пугачевцы, домашкинцы, храня эти боевые традиции, выносили невероятные трудности, принимали, выдерживали и в победу превращали невозможные бои, но назад не шли: отступать полку Стеньки Разина — это значило опозорить невозвратно свое боевое, геройское имя!

Как это красиво, но как и неверно, вредно, опасно!

Боевая страда — чапаевская стихия. Чуть затишье — и он томится, нервничает, скучает, полон тяжелых мыслей. А из конца в конец по фронту метаться — это его любимое дело... Бывало так, что и нужды острой нет,— тогда сам себе выискивал повод и мчался на пятьдесят, семьдесят, сто верст... Приедет в одну

бригаду, а в соседней узнают, что он тут,— звонят: «Немедленно приезжай, имеется неотложное дело...» И скачет Чапаев туда. «Неотложного» дела, конечно, нет никакого,— друзьям-командирам просто охота посидеть, потолковать со своим вождем. Это именно они, чапаевские спутники, выносили и широко разнесли чапаевские подвиги и чапаевскую славу. Без них он — да и всякий другой в этом же роде — никогда не будет так славен. Для громкой славы всегда бывает мало громких и славных дел — всегда необходимы глашатаи, слепо преданные люди, которые верили бы в твое величие, были бы им ослеплены, вдохновлены и в самом славословии тебе находили бы свою собственную радость...

Мы всегда склонны дать «герою» больше того, что он имеет в действительности, и, наоборот, недодаем кой-что заслуженному и порой исключительному «рядовому».

Они, чапаевцы, считали себя счастливыми уже потому, что были соучастниками Чапаева (не испугаемся слова «героизм»,— оно имеет все права на существование, только надо знать, что это за права): озарявшие его лучи славы отблесками падали и на них. В полку Стеньки Разина были два героя, в боях потерявшие ноги; они ползали на култышках, один кое-как пробирался на костылях,— и ни один не хотел оставить свой многославный полк, каждый за счастье почитал, когда приезжавший Чапаев скажет с ним хоть бы несколько слов. Они не были пустой обузой полку — оба в боях работали на пулеметах.

Пройдут наши героические дни, и не поверят этому, сочтут за сказку, а действительно ведь было так, что два совершенно безногих бойца-красноармейца работали в боях на пулеметах. Был слепой, совсем, накругло, ничего решительно не видевший боец. Он написал один раз через своих друзей письмо в дивизионную газету,— это письмо хранится у нас до сих пор. Приводим его здесь, хоть и не полностью:

ПИСЬМО СЛЕПОГО КРАСНОАРМЕЙЦА[1]

«Товарищ редактор.

Прошу поместить в газете известия роковое событие, мое приключение — бегство от Уральского казачества к товарищам большевикам. Сообщаю в кратких объяснениях, что мы жили между казачеством и Красной Армией на Уральской железнодорожной станции. Старшие два брата мои служили на поездах во время войны казачества с Красной Армией. Когда было первое наступление на Уральск товарища Ермощенко 20 апреля (по новому стилю 3 мая), на станцию Семиглавый Мар,— 23 апреля, т. е. 6 мая, от войскового правительства был издан приказ мобилизации крестьян, как проживающих в городе Уральской области. Братья мои отказались идти против Красной Армии с оружием в руках; подлежащие мобилизации от казачества, братья мои решительно заявили, что мы не пойдем против своих товарищей большевиков, за что были расстреляны казаками 23 июня в 12 ч. ночи. Я остался один, сирота, совершенно безо всякого приюта. Родители мои померли пять лет тому назад, больше нет у меня никаких сродственников нигде. Вдобавок того совершенно слепой, лишенный зрения, после расстрела моих братьев пошел я к войсковому правительству просить приюта; войсковое правительство мне объявило, что братья твои не пошли воевать против Красной Армии — так и ты иди к своим товарищам большевикам, пускай они дадут тебе приют. Тогда я им сказал в ответ: наверно, вы не напьетесь невинной крови, кровожадные звери — за что и был заключен я в тюрьму и ожидал расстрела; просидел 15 дней в тюремном заключении, и меня освободили. Пробывши я несколько дней под стенами города без куска хлеба и решился идти под по-

[1] Отдельные выражения и грамматические промахи оставляем в неприкосновенности, только кое-где расставили для удобочитаемости знаки препинания.

кров к своим товарищам большевикам. И несмотря на то, что совершенно слепой, решился добраться я до своих товарищей или заблудиться и погибнуть где-нибудь в степи, нежели жить в казачьих руках. Один товарищ проводил меня тайно от Уральска на дорогу, сказал мне: иди по направлению так, чтобы солнце светило тебе в затылок, таким способом ты можешь выйти в Россию. Простились мы с товарищем, и я пошел в путь. Проходя несколько верст, я сбился с указанного мне направления, пошел сам не знаю куда. В это время мне пришла на мысль смерть моих братьев, бедствие, скорбь и горе-испытание, тяжелые муки... Шел шесть дней степью, голодный и холодный, на шестой день моего путешествия стал изнемогать силой, уста мои залитые кровью, потому что нет хлеба, капли воды, нечем утолить страшный голод. Обливая путь свою горькими, горькими слезами, нет надежды на спасение жизни. Тогда я воскликнул громко: «Любезные мои братья. Вы лежите в земле покойно, а меня оставили на горе. Возьмите меня к себе, прекратите мое страдание, я умираю от голода среди степи, кто придет здесь ко мне на помощь горьких слез, нигде нет никово...» Вдруг слышу спереди собачий лай и детские голоса, и я на слух пришел, спросил детей, какой это хутор — казачий или мужичий. Мне сказали, что это хутор мужичий, Красны Талы, находится в семи верстах от казачьей грани. Один мужик взял меня к себе в дом, напоил, накормил, утолил мой голод, утром проводил меня в село Малаховку, и тут я уже с трудом добрался до Петровской волости...»

Дальше он рассказывает, как хорошо его приняли в Советской России, как приласкали, окружили заботами.

«Председатель совета Иван Иваныч Девицын горячо приветствовал меня, был в великой радости и восторге. Теперь у своих товарищей

> большевиков забыл я страдания и считаю себя в безопасности... Поместили меня в доме, в просторную комнату, дали мне мягкую постель, сняли с меня оборванное, грязное белье, обули, одели меня в новый, чистый костюм экономический и продовольственный отделы... Живу я настоящим «буржуем», выражаю великую благодарность, глубокое чувство...»

Идет перечисление лиц, которым выражается благодарность, а заканчивается письмо таким образом:

> «Да здравствует Всероссийская Советская Республика, товарищ Ленин, да здравствует непобедимый герой товарищ Чапаев, да здравствует волостной совет, экономической и продовольственной отдел!»

Не письмо, а целая поэма. И такой мученик за советскую власть, слепой красноармеец, чтивший подвиги Чапаева как святыню, был лучшим повествователем, бандуристом-чапаевцем, рассказывающим были и небылицы, еще больше веривший своим небылицам, ибо создавал их сам, разукрашивал сам. А кто же так силен, чтобы не поверить своему собственному вымыслу?..

Слава Чапаева гремела далеко за пределами Красной Армии. У нас сохранилось другое письмо, какого-то советского работника из Новоузенска,— прочтите и увидите, как беспредельно велика была вера во всемогущество Чапаева: его считали не только вождем-бойцом, но и полноправным хозяином в тех местах, где проходили и воевали полки Чапаевской дивизии. Отпечатано письмо на вощеной бумаге, запаковано было тщательно, прислано Чапаеву с нарочным-посыльным. Какой-то советский работник, Тимофей Пантелеевич Спичкин, жалуется ему на несправедливости новоузенские, просит помощи, только у Чапаева надеется обрести быстрое и справедливое решение вопросу. Он пишет:

«*Срочная*
ДИВИЗИОННОМУ КОМАНДИРУ ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ ТОВАРИЩУ ЧАПАЕВУ.

Председателя
Новоузенского совета народных судей
Тимофея Пантелеевича Спичкина.

Вопиющая жалоба.

Прошу вас, товарищ Чапаев, обратить на эту жалобу свое особое, *геройское* внимание. Меня знают второй год Уральского фронта за честного советского работника, но злые люди, новоузенские воры и преступники, стараются меня очернить и сделать сумасшедшим, чтобы моим заявлениям на воров не придавать значения. Дело обстоит так: 16 воров украли... (идет перечень фамилий, кто сколько украл). Когда я, Спичкин, заявил об этом расхищении в Самару, то оставшиеся не арестованными 14 воров (двое арестовано), заявили, что Спичкин сумасшедший, и потребовали врачей освидетельствовать Спичкина. Врачи признали меня умственно здоровым. Тогда 14 новоузенских воров-грабителей сказали: «мы вам не верим», и отправляют меня в Самару, в губисполком, для освидетельствования через врачей-психиатров. Но, принимая во внимание, что теперь вся правда и справедливость на фронте у героев и красноармейцев, подобных как Вы, товарищ Чапаев,— я, Спичкин, Вас срочно прошу сделать нужное распоряжение: помочь в Новоузенске арестовать всех перечисленных 14 воров, направить их в Самару для предания суду Ревтрибунала, и за это Вам население скажет большое спасибо, так как во мнении народном имя Ваше славно, как самоотверженного героя и стойкого защитника республики и свобод. Я на Вас вполне надеюсь, товарищ Чапаев. Защитите и меня от 16-ти новоузенских воров-грабителей.

25 апреля 1919 года.

Тимофей Спичкин».

В «приложении» к этому делу Спичкин указывает Чапаеву, где и как «раскопать» весь материал, заключая следующими словами:

> «Я прошу немедленно арестовать без всякого стеснения всех оставшихся... воров и повторяю... Ваше славное имя будет еще славнее за такую защиту населения от мародеров-воров и избавление населения от этих грязных пауков-микробов...»

Не менее блестящим является спичкинское «заявление», явившееся, по всей видимости, результатом гонений на него четырнадцати «пауков-микробов».

> «Вы, товарищ Чапаев, признанный герой всенародно, и славное Ваше имя гремит повсюду — Вас поминают даже дети. Я, Спичкин, также признанный герой, но не в военном искусстве, а в искусстве гражданском. У меня также есть великие порывы к славе и доблестям. Прошу Вас этому верить! Вы убедитесь в этом на деле. Я, Спичкин, воплощенная огненная энергия и воплощенный труд. Считал бы за счастье видеть Вас лично, а Вам познакомиться со мною, Спичкиным. Будучи от природы человеком кристальной честности, любя народ, за который отдавал душу (что могу передать Вам лично, о своих больших подвигах), я желал бы немедленно стать Вашею правою рукою и свою огненную энергию отдать для Вашего военного дела по отражению всеми ненавидимого бандита — Колчака. Прошу Вас немедленно принять меня в ряды Красной Армии добровольцем, в славный Ваш полк по имени Стеньки Разина.
>
> Председатель Новоузенского совета народных судей
>
> *Тимофей Спичкин*».

И «вопиющая жалоба» и «заявление» Спичкина полны противоречий, неточности и действительно производят впечатление горячечного бреда, но все, что

выражено здесь сгущенно,— в другой форме, другими словами на каждом шагу повторялось в чапаевской практике. И характерно то, что он, Чапаев, никогда не отказывался от вмешательства в подобные дела; наоборот, любил разобрать все сам, докопаться до дна, вывести разных негодяев и шалопаев на чистую воду. Эти письма пришли в разгар наступления, и потому хода им он не мог дать ни малейшего, но тревожился, помнил долго, все время имел охоту побывать там, на месте, и разобрать. Ограничился только грозным письмом, где метал «на виновных» громы и молнии. Увы, эти «четырнадцать пауков-микробов» без всякого разбирательства, заочно, уже были для Чапаева совершенно бесспорными *подлецами.* Верил он всему с чрезвычайной легкостью, впрочем, с такой же легкостью во всем и разуверялся — во всем, но только не в делах и вопросах военных: здесь как раз наоборот — ничему не верил, а работал исключительно «своим умом».

Когда подумаешь, обладал ли он, Чапаев, какими-либо особенными, «сверхчеловеческими» качествами, которые дали ему неувядаемую славу «героя»,— видишь, что качества у него были самые обыкновенные, самые «человеческие»; многих ценных качеств даже и вовсе не было, а те, что были, отличались только удивительной какой-то свежестью, четкостью и остротой. Он качествами своими умел владеть отлично: порожденный сырой полупартизанской крестьянскою массой, он ее наэлектризовывал до отказа, насыщал ее тем содержимым, которого хотела и требовала она сама,— и в центре ставил себя!

Чапаевскую славу родили не столько его героические дела, сколько сами окружающие его люди. Этим нисколько не умаляется колоссальная роль, которую сыграл и сам Чапаев как личность в гражданской войне, однако ж следует знать и помнить, что вокруг имени каждого из героев всегда больше легендарного, чем исторически реального. Но, спросят, почему именно о *нем,* о Чапаеве, создавались эти легенды, почему именно его имя пользовалось такой популярностью?

Да потому, что он *полнее многих* в себе воплотил

сырую и геройскую массу «своих» бойцов. В тон им пришелся своими поступками. Обладал качествами этой массы, особенно ею ценимыми и чтимыми,— личным мужеством, удалью, отвагой и решимостью. Часто этих качеств было у него не больше, а даже меньше, чем у других, но так уж умел обставить он свои поступки, и так ему помогали это делать свои близкие люди, что в результате от поступков его неизменно получался аромат богатырства и чудесности. Многие были и храбрей его, и умней, и талантливей в в деле руководства отрядами, сознательней политически, но имена этих «многих» забыты, а Чапаев живет и будет долго-долго жить в народной молве, ибо он — коренной сын этой среды и к тому же удивительно сочетавший в себе то, что было разбросано по другим индивидуальностям его соратников, по другим характерам.

Нет нужды описывать операцию за операцией, нет нужды распространяться об оперативных приказах, их достоинствах и ошибках, об успехах наших и о поражениях: этого будут касаться те, что дадут специально военные очерки. Мы же в очерке своем нисколько не претендуем на полноту изложения событий, на их точную последовательность, строгость дат, мест, имен... Мы исключительно даем зарисовки быта, родившегося той порой и для той поры характерного. Вот хотя бы и теперь, в пути до Белебея, не станем следить, как развертывались чисто военные операции, а приведем всего две-три бытовых картинки, которые тогда имели место.

За Бугурусланом от селения Дмитровского на Татарский Кондыз, шла еланьевская бригада. Здесь были ожесточенные бои. Отдавши Бугуруслан, неприятель все еще не хотел поверить, что вместе с этим городом он потерял и свою инициативу, что конец пришел его победоносному шествию, что теперь его будут гнать, а он — обороняться, отступать... Напрягся он силами, встретил крепкими ударами натиск красных полков. Но уже поздно,— могучий дух уверенности в

победе отлетел от белых армий, примчался к красноармейцам, дал им бодрость, заразил их той неутомимостью и отвагой, которые живы только при уверенности в победе.

Момент перехода инициативы с одной стороны на другую всегда очень знаменателен и ярок — не заметит его только слепой. Одна сторона вдруг потускнеет, опустится и обмякнет, в то время как другая словно нальется живительной таинственной влагой, подымется на дыбы, ощетинится, засверкает, станет грозна и прекрасна в своем неожиданном величии. Приходит такой момент, когда в тускнеющей армии что-то настолько расслабнет, настолько выхворается, станет бескровным и вялым, что ему остается один конец — умереть. Внутренний долгий, изнурительный процесс выходит наружу и заканчивается смертью. Такого обреченного на неминуемую смерть, но все еще живого покойника представляла собою в бугурусланские дни еще так недавно могучая, непобедимая армия белого адмирала. История уже тогда приложила суровой рукой позорную печать бесславной смерти на ее низкий преступный лоб.

А Красная Армия, такая упругая и сжатая, так заметно обновленная ключевыми струями фабрик и заводов, профессиональных союзов, партийных ячеек,— она была в те дни подобна проснувшемуся светлому богатырю, который все возьмет, всех победит, перед которым сгинет черная сила.

Этим настроением полна была и Чапаевская дивизия, с этим настроением еланьевская бригада била неприятеля под Русским и Татарским Кондызами.

В штаб бригады приехал Фрунзе, ознакомился быстро с обстановкой, расспросил об успешных последних боях Еланя, и тут же, в избушке, набросал благодарственный приказ. Это еще выше подняло победный дух бойцов, а сам Елань, подбодренный похвалою, поклялся новыми успехами, новыми победами.

— Ну, коли так,— сказал ему Чапаев,— клятву зря не давай. Видишь эти горы?— И он из окна показал Еланю куда-то неопределенно вперед, не называя

ни места, ни речек, ни селений.— Бери их, и вот тебе честное мое слово: подарю свою серебряную шашку!

— Идет! — засмеялся радостный Елань.

А дня через три после этих торжественных обещаний они едва не постреляли сь. Федор Клычков, жестоко простуженный, лежал тогда в постели и вместо себя с Чапаевым отпускал в странствия по фронту помощника своего Крайнюкова. И вот на третьей же поездке приключилась эта самая «история», но больному Клычкову про нее ничего не рассказывали — к нему долетали лишь одни глухие слухи. Чапаев тоже молчал и сумрачно отнекивался, когда разговор подходил к этой теме. Зато Елань рассказал все охотно и подробно, лишь только по выздоровлении Федор приехал к нему в штаб.

— Одна ошибка, товарищ Клычков, сущая ошибка,— рассказывал он Федору.— Оба мы немного недосмотрели за собой... глупость... словом, пустяки, и рассказывать бы не стоило, да ладно, сам люблю эти глупости вспоминать... Он ведь какой — огонь! Чего с него взять? Запалит, да, того гляди, и сам сгорит... Досматривать надо, а тебя не было в то время... Этот миляга, заместитель, смеется, а в спор с ним не вступает, ну, и не каждого он слушает, Чапаев... Всему так быть, значит, и надо было, чтобы мы покуражились, только беды в этом ровно нет никакой... Как сейчас помню — устал я, аж ноги зудят!.. Сил нет никаких... Дай, думаю, засну, авось отойдет... Как ляпнулся — так и был, да нет! Васька, мальчишка,— ну, вестовой у меня, помнишь, жуликоватый такой,— избушку у татарина раздобыл: мала, грязна, да и нет ничего, одна лавка по стене. Ткнулся я на лавку — сплю непробудным. А перед сном я Ваське наказал: ты, говорю, шельмец,— чтобы курица наутро была готова. Понял? «Понял»,— говорит. И черт-те што мне тогда и снилось... Будто самого Колчака вместо курицы вилкой ковыряю. Я его ковырну, а он наклонится... я его ковырну, а он припадет, да еще, собака, обернет голову и смеется... Такое меня зло взяло — как его тресну вилкой по башке, ан, шашка пополам, словно, выходит, и ударил я шашкой, а не вилкой. Схватил осколок,

тычу-тычу ему в голову, а вместо головы получается телеграфный столб, и одна за другой, как галчата, на Юзе буковки скачут. Я понимаю, что это мне приказ дает Чапаев, а с приказом я не согласен был. Разбей, говорит, а преследовать будет другая бригада! Поди-ка, думаю, сам знаешь куда: должен я буду за кровь-то отомстить или нет? Кто мне сто человек заплотит, которых я на горе положил? Кургин, кричу, приказ пиши... У Кургина всегда бумага в руке, а карандаш за ухом. Несется почем зря. Я и оглянуться не успел, как он заголовок отчекрыжил. Скажи, говорю, приказом: как только собьют неприятеля — бить его надо и гнать пятнадцать верст! Понял? Тоже, говорит, понял. Они с Васькой все понимали у меня по голосу, да уж и стоили один другого. Знаю, что баня от Чапаева будет, а как ты делать станешь, когда он такую дыру проделал? Я вызывал его к проводу, объяснить все хотел, разговорить, а этот негодяй Плешков — он ведь начальником штаба в дивизии-то был — даже и не подозвал Чапаева: приказ, говорит, отдан, и разговоров быть ни о чем не может... Што ж, тебе, думаю: не может — так не может, а у меня своя голова на плечах. Приказ Курга смастерил, я его подписал — заиграла музыка... Только знаю, что добром не пройдет,— не любит Чапаев, когда у него приказы переделываются. Спал я, спал, смотрел разные сны, да как вдруг вскочу на лавке... Видишь ли, почти и солнце не взошло, сумерки... А Чапаев уж тут как тут — не вытерпел, всю ночь скакал.

— Ты што,— говорит,— сволочь?

— Я не сволочь, товарищ Чапаев,— говорю,— вы это осторожнее...

Он за револьвер. «Застрелю!» — верезжит. Да только к кобуре, а я свой уже вынул и докладываю: у меня пуля дослана — давай пульнемся...

— Вон из комбригов! — кричит.— Я тебя сейчас же с должности сменю... Пиши рапорт — Михайлов будет замещать. Михайлова вместо тебя, а сам вон, вон! Это што за командир! Я говорю — *стой,* а они бежать пятнадцать верст. Это што, што это такое, а? Это командир-то бригады, а?

Уж вот крестил, вот крестил, сукин сын, а револьвер, одначе, так и не вынул, да и я свой убрал... Говорить тут нечего: Курга, кричу, приказ пиши... Да и написал все как следует...

— Четырех гонцов немедленно...

Подскакали.

— Вот пакеты Михайлову, неситесь, да живо у меня!

Только и видели, улетели... Сидим — молчим... Буря прошла, слова-то все были сказаны. Я на лавке сижу, а Чапаю сесть негде — стоит у стенки... Глаза синие, злые сделались, так и подсвечивают. Ничего, мол, отойдешь, соколик, притихнешь... А на этот момент, видишь ли, Васька голову в дверь высунул и пищит:

— Так что курица совсем готова...

Ругаться — ругаться, а позвать надо.

— Товарищ Чапаев, пожалуйте,— говорю,— курицу кушать в сад.

Там садишко был такой небольшой.

— Хорошо,— говорит.

Хоть, слышу, голос и неприветливый, а уж злобы и нет. Засмеялся бы, может, да стыдно...

Вышли в садишко, сели, молчим.

— Елань,— говорит,— останови гонцов.

— Нельзя их, товарищ Чапаев, остановить,— отвечаю.— Где же их остановишь, когда улетели?

— А отрядить лучших,— кричит, и опять обагровел.

— Нет лучших — они самые лучшие...

— А ты еще лучше самых лучших пошли! Не понимаешь, што ли, о чем я говорю?

Как же не понимать — все понимаю. Да про себя молчу: дай, мол, щипну его, потому што отчего «сволочью» бранит?

— Зачем,— говорю,— сволочью ругаешься? Я свое самолюбие имею. Виноват, так суди, в трибунал отдай, расстреляют пусть, а ругать сволочью не смей...

— Я по горячке,— говорит,— а ты не все тово...

Ну, еще поседлали — теперь шестерых. Как рванули — птицами! Через час все воротились — тех выстрелами остановили...

Тут же все приказы эти драть, рвать — бросили...

— Не тронь,— говорит, — своего приказа, пускай гонют, приказы отменять не надо... А я сам переменю што надо...

Тому и конец — больше нет ничего. Как съели курицу — ни одного слова худого друг дружке не сказали... У нас, товарищ Клычков, и все так,— закончил Елань.— Шумим-шумим, а потом чай усядемся пить да беседы разводить...

— Ну, и все? — спросил, усмехнувшись, Федор.

— А то чего,— осклабился Елань.— Только на обратном пути, когда я дело все сделал,— и горы отнял, и в плен нагнал вот тех, что в дивизию на днях переправил,— едет опять.

— Здорово,— говорит,— Елань!— А сам смеется, веселый.

— Здравствуй,— говорю,— Чапаев. Как твое здоровье?

Ничего он не ответил, подступил ко мне, обнял, поцеловал три раза.

— На вот, бери,— говорит,— завоевал ты ее у меня.

Снял серебряную шашку, перекинул ко мне на плечо, стоит и молчит. А мне его, голого, даже жалко стало,— черную достал свою: на, мол, и меня помни!

Ведь когда уж наобещает — слово сдержит, ты сам его знаешь...

На этом разговор прекратился,— Еланя позвали на телефон, чего-то просили из полка. Да Федор и сам не возобновлял разговора,—видимо, все было сказано, что случилось тогда. Ничего серьезного. Ничего крупного. А в то же время под горячую руку могли натворить кучу всяких осложнений. Нянька тут нужна была постоянная и неусыпно бдительная: как только она отвернулась — уж так и знай, переломают ноги себе и другим!

С боем вошел в Трифоновку и на отдых расположился 220-й полк. Когда красноармейцы вошли в крайнюю халупу, их поразило там обилие кровавых пятен на полу. Заинтересовались, стали расспраши-

вать хозяина,— тот молчит, упирается, ничего не рассказывает. Тогда ему пообещали под честное слово полную безнаказанность, сами же красноармейцы взялись и просить «в случае чего» своего командира и комиссара, только рассказал бы по душе, как и что тут было. Крестьянин без дальних рассуждений повел их под навес и там на куче навоза, чуть разбросав с макушки, указал на что-то окровавленное, бесформенное, грязно-багровое: «Вот!» Бойцы переглянулись недоуменно, подошли ближе и в этой бесформенной, залитой кровью массе узнали человеческие тела. Сейчас же штыками, ножами, руками разбросали навозную кучу и вытащили два теплых трупа: красноармейцы.

Вдруг у одного из трупов шевельнулась рука,— державшие вздрогнули, инстинктивно дернулись назад, бросили его снова на навоз... и увидели, как за рукой согнулась нога, разогнулась, согнулась вновь... Задергалось веко, чуть приоткрылся глаз из-под черных налитых мешков, но мертвенный, оловянный блеск говорил, что мысли уже не было... Весть о страшной находке облетела весь полк. Бойцы сбежались смотреть, но никто не знал, в чем дело, все терялись в догадках и предположениях. Крестьянину учинили допрос. Он не упирался, рассказал все, как было.

Два красноармейца, кашевары Интернационального полка, по ошибке попали сюда несколько часов назад, приняв Трифоновку, занятую белыми, за какую-то другую деревню, где были свои. Подъехали они к избе, спрашивают, где тут разыскать хозяйственную часть. Из избы повыскакали сидевшие там казаки, с криком набросились на опешивших кашеваров, стащили на землю и тотчас же погнали в избу. Сначала допрашивали: куда и откуда они, справлялись, где и какие стоят части, сколько в каждой части народу. Сулили красноармейцам полное помилование, если только станут рассказывать правду. Верно ли, нет ли, но что-то кашевары им говорили. Те слушали, записывали, расспрашивали дальше. Так продолжалось минут десять.

— Больше ничего не знаете? — спросил один из сидевших казаков.

— Ничего,— ответили пленные.

— А это што у вас вот тут, на шапке-то, звезда? Советская власть сидит? Сукины дети! На-ка, нацепили...

Красноармейцы стояли молча, видимо чуяли недоброе. Среди присутствовавших настроение быстро переменилось. Пока допрашивали — не глумились, а теперь насчет «звезды» и брань поднялась и угрозы, одного ткнули в бок.

— Кашу делал?

— Делал,— тихо ответил кашевар.

— Большевиков кормил, сволочь?

— Всех кормил,— еще тише ответил тот.

— Всех?! — вскочил казак.— Знаем мы, как всех вы кормили, подлецы! Все разорили, везде напакостили...

Он выругался безобразно, развернулся и ударил красноармейца с размаху по лицу. Хлынула из носа кровь... Только этого и ждали, как сигнала: удар по лицу развязал всем руки, вид крови привел моментально в дикое, бешеное, кровожадное состояние. Вскочившие с мест казаки начали колотить красноармейцев чем попало, сбили с ног, топтали, плевали...

Наконец один из подлецов придумал дьявольское наказание. Несчастных подняли с полу, посадили на стулья, привязали веревками и начали вырезать около шеи кусок за куском полоски кровавого тела... Вырежут — посыплют солью, вырежут — и посыплют. От нестерпимой боли страшно кричали обезумевшие красноармейцы, но крики их только раздражали остервенелых зверей. Так мучили несколько минут: резали и солили... Потом кто-то ткнул в грудь штыком, за ним другой... Но их остановили: можешь заколоть насмерть, мало помучится!.. Одного все-таки прикололи. Другой чуть дышал — это он вот теперь и умирал перед полком...

Когда из Трифоновки несколько часов назад стали белые спешно уходить, двух замученных кашеваров оттащили и спрятали в навоз...

И вся история...

Молча и мрачно выслушал полк эту ужасную повесть. Замученных положили у всех на виду и, проделав необходимое, собрались похоронить, отдавая последние почести.

В эти минуты приехали Федор с Чапаевым. Они, лишь только узнали о случившемся, собрали бойцов и в коротких словах разъяснили им всю бессмысленность подобной жестокости, предупреждая, чтобы по отношению к пленным не было суровой мести.

Но велик был гнев красноармейцев, негодованию не было конца. Замученных опустили в землю, дали три залпа, разошлись... В утреннем бою ни одного из пленных не довели до штаба полка... Никакие речи, никакие уверения не сдержат в бою от мести: за кровь там платят только кровью!..

Даже и на себе Федор испытал отдаленное, но несомненное влияние этой истории: он на следующий день подписал первый смертный приговор белому офицеру.

Про случай этот, пожалуй, стоит рассказать.

Вышло все таким образом.

Приехали в Русский Кондыз к Еланю. Он в утренней атаке захватил сегодня человек восемьсот пленных. Охраны у них почти никакой.

— Будьте спокойны, не убегут, палкой их не угонишь теперь к Колчаку-то! Рады-радешеньки, что в плен попали!

— Что, Елань, опять? — спросил его Федор, мотнув головой в сторону пленных.

— Так точно,— ухмыльнулся тот.— Я их было немножко штыком хотел пощупать, а они — вай-вай-вай, в плен, говорят, хотим, не тронь ради Христа,— ну, и загнали.

— А офицеры?

— И офицеры были... Да не пожелали в плен-то идти, говорят — невесело у нас...

Елань многозначительно глянул на Федора, и тот больше не стал расспрашивать...

— А может быть, и еще остались?

— Может быть, да молчат што-то.

— А солдаты разве не выдают?

— Видите ли,— пояснил Еланъ,— солдаты тут у них перепутались из разных частей, не знают друг дружку, пополнения какие-то подоспели...

— А ну-ка,— обратился Федор,— давай попытаем вместе... Только прежде я хочу с пленными поговорить — так, о разном, обо всем понемногу.

Когда Федор начал говорить, многие слушали не только со вниманием и интересом — мало того: они слушали просто с недоверием, с изумлением, которое написано было в выражении лиц, в растерянно остановившихся взорах. Было ясно, что многое слышат они лишь впервые, совсем того и не знали, не предполагали, не допускали того, о чем теперь рассказывал им Клычков.

— Вот я вам теперь все пояснил,— заканчивал Федор.— Без преувеличений, без обмана, чистоганом выложил всю нашу правду, а дальше разбирайтесь сами как знаете... что вам дорого и близко: то ли, что видели и чего не видели вы у Колчака, или вот то, про что я вам теперь говорил. Но знайте, что нам необходимы лишь смелые, настоящие и сознательные защитники советской власти, только такие, на которых можно было бы всегда положиться... Подумайте. И если кто надумает бороться вместе с нами — заяви: мы никогда не отталкиваем таких, как вы, обманом попавших к Колчаку...

Он окончил. Посыпались вопросы и политические, и военные, и по части вступления в Красную Армию... Кстати сказать, из них бойцами вступило больше половины, и потом Еланю никогда не приходилось каяться, что влил их в свои славные полки.

Выстроили в две шеренги. Клычков обходил, осматривал, как одеты и обуты, задавал отдельные вопросы. Некоторые лица останавливали на себе внимание,— видно было, что это не рабочие, не простые деревенские ребята; их отводили в сторону и потом в штабе дополнительно и подробно устанавливали личность. Один особенно наводил на сомнения. Смотрит нагло, вызывающе, стоит и злорадно ухмыляется всей процедуре осмотра и опроса, как будто хочет сказать:

«Эх вы, серые черти, не вам нас опрашивать!»

Одет-то он был наполовину как простой солдат, но и тут являлось подозрение: штаны и сапоги отличные, а рубаха дрянная, дырявая, по всей видимости — с чужого плеча; на его выхоленное дородное тело напяливалась она лишь с трудом, а ворот так и совсем не сходился на здоровеннейшей пунцовой шее, напоминавшей свиную ляжку. На голове обыкновенная солдатская фуражка — опять видно, что чужая: не пристала к лицу, да совсем ее и носить-то не может. Не чувствуется в нем простой солдат.

Федор сначала прошел мимо, не сказав ни слова, а на обратном пути остановился против и в упор, неожиданно спросил:

— Ведь вы — офицер, да?

— Я не... нет, я рядовой,— заторопился и смутился тот.— А почему вы думаете?

— Да так, я знаю вас,— схитрил Клычков.

— Меня знаете, откуда? — уставился тот.

— Знаю,— пустил себе под нос Федор.— Но вот что: нам здесь воспоминаниями не заниматься. Я вас еще раз спрашиваю: офицер вы или нет?

— Еще раз отвечаю,— выпрямился тот и занес высоко голову: — Я не офицер...

— Ну, хорошо, на себя пеняйте...

Федор вывел его вперед, вместе с ним вывел еще несколько человек и со всею группою пошел рядами, но прежде обратился к колчаковским солдатам с коротким и горячим словом, рассказав, какую роль играет белое офицерство в борьбе трудящихся против своих врагов и как это белое офицерство надо изничтожать, раз оно открыто идет против советской власти.

Пошел по рядам, показывал группу, спрашивал — не узнает ли кто в этих лицах офицеров. Откормленного господина признало разом несколько человек, когда с него сняли фуражку.

— Как же, знаем, офицер непременно...

И они назвали часть, которой он командовал.

— Только его и видели два дня, а как же не узнать... Он воротник давеча поднял, а картуз, значит,

опустил,— и не усмотришь. А теперь как же его не узнаешь. Он и есть...

Солдаты «опознавали» с видимым удовольствием. Всего в тот раз опознали несколько человек, но из офицеров был только этот один, а то все чиновники, служащие разные, администрация...

— Ну, что же? — обернулся теперь к нему Федор.

Тот смотрел в землю и упорно молчал.

— Правду солдаты-то говорят? — еще раз спросил Федор.

— Да, правду. Ну, так что же? — И он, видимо поняв серьезность положения, решил держаться с той же высокомерной наглостью, как и при первом допросе, когда обманывал.

— Так я же вас спрашивал... и предупреждал...

— А я не хотел,— отрезал офицер.

Федор решил было сейчас же отправить его вместе с группой чиновников в штаб, но вспомнил, что еще не делали обыска.

— А ну-ка, распорядитесь обыскать,— обратился он к стоявшему тут же молчавшему Еланю.

— Да чего же распоряжаться,— сорвался тот,— я сам...

И он принялся шарить по карманам. Вытащил разную мелочь.

— Больше ничего нет?

— Ничего.

— А может, еще что? — спросил Елань.

— Сказал — значит, нет,— грубо оторвал офицер.

Этот его заносчивый, презрительный и вызывающий тон волновал невероятно. Елань вытащил какое-то письмо, развернул, передал Федору, и тот узнал из него, что офицер — бывший семинарист, сын попа и больше года борется против советской власти. Письмо, видимо, от невесты. Пишет она из ближнего города, откуда только что выгнали белых. «Отступят белые ненадолго,— говорилось там,— терпи... от красных нам житья нет никакого... Пусть тебя хранит господь, да и сам храни себя, чтобы отомстить большевикам...»

Кровь ударила Федору в голову.

— Довольно! Ведите! — крикнул он.

— Расстрелять? — в упор и с какой-то ужасающей простотой спросил его Елань.

— Да, да, ведите...

Офицера увели. Через две минуты был слышен залп — его расстреляли.

В другое время Федор поступил бы, верно, иначе, а тут не выходили из памяти два трупа замученных красноармейцев с вырезанными полосами мяса, с просоленными глубокими ранами...

Потом — это упорство, нагло вызывающий офицерский тон и, наконец, письмо невесты, рисовавшее с несомненной точностью и физиономию офицера-жениха...

Клычков был неспокоен, весь день был настроен тревожно и мрачно, не улыбался, не шутил, говорил мало и неохотно, старался все время остаться один... Но только первый день, а наутро — как ни в чем не бывало. Да и странно было бы на фронте долго мучиться этими переживаниями, когда день за днем, час за часом видишь потрясающие, ужасные картины, где не один, а десятки, сотни, тысячи являются жертвами...

Кровавые следы войны,— растерзанные трупы, искалеченные тела, сожженные селения, жители, выброшенные и умирающие с голоду,— эти кровавые следы, по которым и к которым вновь и вновь идет армия, не дадут они долго мучиться только одною из тысячи мрачных картин войны! Они заслонят ее другими. Так было и с Федором: он уже наутро вспоминал спокойно, что вчера только первый раз приказал расстрелять человека...

— Тебе в диковинку! — смеялся Чапаев.— А побыл бы ты с нами в тысяча девятьсот восемнадцатом году... Как же ты там без расстрела-то будешь? Захватил офицеров в плен, а охранять их некому, каждый боец на счету — в атаку нужно, а не на конвой. Всю пачку так и приканчиваешь... Да все едино,— они нас миловали, што ли? Эге, батенька!

— А первый свой приговор, Чапаев, помнишь?

— Ну, может, и не самый первый, а знаю, што трудно было... Тут всегда трудно начинать-то, а потом привыкаешь..

— К чему? Убивать?

— Да,— просто ответил Чапаев,— убивать. Вон, к примеру возьмем, приедет кавалерист из школы там какой-нибудь. Он тебе и этак и так рубит... Ну, по воздуху-то ловко рубит, подлец, очень ловко, а как только человека секануть надо — куда вся ученость пропала: разок, другой — одна смятка... А обойдется — и ничего. Всегда по первому-то разу не тово...

Говорил Федор и с другими закаленными, старинными бойцами. В один ему голос утверждали, что в каком бы то ни было виде заколоть, зарубить ли, приказ ли отдать о расстреле, или расстрелять самому — с любыми нервами, с любым сердцем *по первому разу* робко чувствует себя человек, смущенно и покаянно, зато потом, особенно на войне, где все время пахнет кровью, чувствительность в этом направлении притупляется, и уничтожение врага в какой бы то ни было форме имеет характер почти механический.

— Степкин-то, вестовой у меня,— обратился Елань к Федору,— он тоже ведь расстрелянный, я сам и приказ-то отдал насчет его.

— То есть как расстрелянный? — удивился Федор.

— А так вот...

И Елань рассказал, как на Уральском фронте чуть того и в самом деле не расстреляли.

— Он на пулемете сидел,— рассказывал Елань.— Да и парень, как все, с доверием был. А в станице какой-то ведут, гляжу, бабешку,— дескать, изнасиловал. Стойте, мол, ребята, верно ли, давайте-ка бабу сюда на допрос, а ты, Степкин, оставайся, вместе допрашивать стану. Сидит Степкин, молчит. Спрошу — только головой мотает да мычит несуразное. А один раз — уж как прийти самой бабе — «верно, говорит, было»... Тут и баба на порог. Губа у него не дура — выбрал казачку ядреную, годов на двадцать пять. Комиссар тут и все собрались. Ничего, мол, поделать нельзя, расстрелять придется Степкина, чтобы другим повадно не было... Тут армия Красная идет, освобождать идет, а баб насилует, за это хочешь не хочешь, а конец один... Да и были случаи, своих кончали, чем же Степкин счастливее? Помиловать, так и што же, рассуждаем мы, получиться должно: дескать, вали, ребята,

а наказывать не будем? Как подумаю — ясное дело, а как посмотрю на Степкина — жалко мне его, и парень-то он золотой на походах... Комиссар уже приказал там в команде. Приходят:

— Кого тут брать?

— А погодите, допрос чиним,— говорю.— Насиловал, Степкин, сознавайся?..

— Так нешто,— говорит,— я не сознаюсь?

— Зачем ты это сделал? — кричу ему.

— А я,— говорит,— почем знаю, не помню...

— Да знаешь ли ты, Степкин, што тебя ожидает за самое это дело?!

— Не знаю, товарищ командир...

— Тебя же расстрелять придется, дурова голова,— рас-стре-лять!..

А он этак тихо:

— Воля ваша, — говорит,— товарищ командир, ежели так — оно, значит, уж так и есть...

— Нельзя не расстрелять тебя, Степкин,— внушаю я ему.— Ты должен сам понять, што вся станица хулиганами звать нас будет... И за дело... Потому што — какая же мы Красная Армия, коли на баб кидаемся?

Стоит молчит, только голову еще ниже опустил.

— Уж тебя простить, так и всякого надо простить. Так ли? — спрашиваю.

— Выходит, што так.

— Понял все? — говорю.

— Так точно, понял...

— Эх ты, Степкин, чертова кукла! — осердился я.— И на што тебе баба эта далась? Сидел бы на тачанке, и беды бы никакой не было... А то — на-ка!

Зачесывает по затылку — молчит. А я бабешку-то: как он, мол, тебя?

Шустрая бабенка, говорить любит.

— Чего — как? Сгреб, да и все... Я верезжу, я ему в рожу-то поганую плюю, а он — вон черт какой... сладишь с ним.

— Значит?..

— Так вот так и значит...— говорит.

— Мы его наказать хотим,— говорю.

— Так его и надо, подлеца,— закудахтала казач-

ка.— Вон рожу-то уставил негодящую... Распеканку ему дать, чтобы знал...

— Да нет, не распеканку, мы его рас-стре-лять хотим...

Баба так и присела, открыв рот, выпучила глаза, развела руками...

— Да, да, расстрелять хотим! — повторяю ей.

— Ну, как же это? — всплеснула руками казачка.— Боже ты мой, господи, а и разве можно человека губить?.. Ну, что это, господи! — всполошилась, кружится у стола-то, ревет...

— Сама жаловалась, поздно теперь,— говорю.

А она:

— Чего ж жаловалась,— говорит,— рази я жаловалась... Я только говорю, что побег он за мной... Догонять стал, да не догнал...

— Так, значит?..

— Вот то и значит, что не догнал. А чего он, поганый, сделать хотел,— да почем,— говорит,— я знаю, что он хотел... в голову-то я ему не лазила...

Я ей смотрю в лицо-то, што врет, а не останавливаю,— пущай соврет: может, и верно, Степкин-то жив останется... А штобы только она не звонила, сраму-то не гнала на нас. А што у них там случилось — да плевать мне больно. Она и сама, может, охотница была... Думаю, коли ревет да просит — на всю станицу говорить будет, што соврала, обидеть хотела Степкина-то... Я и подсластил:

— Будет,— говорю,— будет, молодка... Тут все дело ясно, и надо вести...

— Куда его вести? — заверезжала бабенка.— Я вам не дам его никуда — вот што...

Да как кинется к нему — обхватила, уцепилась, плачет, а сама бранью бранится, с места нейдет, трясется, как лист от ветру.

— Могла бы ты его спасти, да не захочешь сама... Вон мужа-то нет у тебя два года, а смотри — яблоко-яблоком... Если бы ты вот замуж за него — ну, туда-сюда, а то... нет...

— Чего его замуж? Не хочу я замуж!

— А не хочешь,— говорю,— тогда мы должны бу-

дем делать свое дело.— И встаю со стула, как будто уходить собрался...

— Да он и венчаться не будет,— крикнула мне сквозь слезы казачка.— Он поди и бога не знает.— А сама не пускает Степкина, обхватила кругом.

И он, как теленок, стоит, молчит, не движется, как будто и не о нем вся речь идет...

— Там как хотите мне,— отвечаю,— только штобы разом все сказать: миритесь али не миритесь?..

Она разжала руки, опустила своего нареченного, да так вся рожа вдруг расползлась до ушей, улыбается...

— Чего же,— говорит,— нам браниться?

И он, черт, смеется: понял, в чем дело, куда мы его обернули.

Штобы никаких там не было, мы их обоих вон из избы — молодым, дескать, делать тут нечего. Все стоят у стола-то, смеются вдогонку, разные советы посылают. Вышло, что Степкин-то и нажил в этот вечер... А я его наутро зову, говорю:

— Вот что, Степкин: дурачком мы тебя женили, а завтра в поход. Бабенку за собой не таскай, если чего там у вас и вправду пошло... А тебе, штобы грех заправить, я задачу даю: заслужи награду... Как только бой случится — награду заслужи, а то не прощу никогда и на первом случае подлецом тебя считать буду...

— Слушаю,— говорит,— заслужу...

— Ну, и заслужил? — спросил Федор.

— А то как же: портсигар серебряный... Махорку в нем таскает... Такое дело сделал, что сразу нам человек двести в плен попало — от его-то пулемета... И самому ногу перебило, его тогда и сдали в нестроевую... Ко мне угодил, околачивается...

— А с казачкой он как?

— Да чего с казачкой,— улыбнулся Елань.— Вечер у нее тогда просидел, лепешек ему она в поход наделала, чаем поила...

— Свадьбу-то...— посмеялся Федор.

— Так нет,— махнул рукой Елань.— У них и помину не было, какая свадьба! Она себя благодетельницей считает, все ему сидит рассказывает, как от смер-

ти спасла, а он ест да пьет за четверых, помалкивает али так себе, чепуху несет божественную... Утром выступать было, как раз и подскочил к тому часу...

Разговор перешел на тему о половом голоде, о неизбежности на фронте насилий. Приводили примеры, делились воспоминаниями. Чапаева тема эта чрезвычайно заинтересовала, он все ставил вопрос о том, может ли боец без женщины пробыть на фронте два-три года... И сам заключал, что «непременно должно так... а то какой же он есть солдат?»

От Еланя — в бригаду Шмарина. Если уж Елань, завидуя славе Чапаева, сам хотел сравняться с ним, так он имел на это много прав — сам был подлинным и большим героем. А вот Шмарин — этот тужился впустую. Суеты у него было нескончаемо много, отдыху он не знал, в движении был непрестанно, озабочен был ежеминутно, даже у сонного у него озабоченность эта отражалась на лице. Шмарин беда как любил рассказывать небылицы о собственных подвигах! И рассказывал их едва ли не при каждом свидании. Правда, вариации обычно менялись,— там где-нибудь пропустит или накинет лишнее ранение, контузию, атаку,— но в общем у него было шесть-семь крепко заученных подвигов и рассказывать их было для Шмарина высоким наслаждением. Рассказывая, он буквально захлебывался от упоения буйно развертывавшимися событиями, любовался оборотами дела, восторгался только что придуманными неожиданностями. Он во время рассказа как-то странно дергал себя за густые черные вихры волос, пригибался к столу так низко, что носом касался досок, а двумя пальцами — средним и указательным — зачем-то громко, крепко и в такт своей речи колотил по кончику стола, и получалось впечатление, будто он не присутствующим, а этому вот столу читает какую-то назидательную проповедь, за что-то выговаривает, чему-то учит.

Сначала Шмарина слушали, даже верили, а потом увидели, узнали, что в повествованиях его вымысла вчетверо больше, чем правды, перестали слушать, пе-

рестали верить. Не подумайте только, что он одними фантазиями промышлял — нет, рассказывал факты самые доподлиннейшие, безусловно происходившие, и беда не в этом была, в другом: как только в которой-нибудь операции проявит кто мужество или талантливость очевидную, так, значит, это вот Шмарин сам и совершил все дело. А потом оказывается, что весь случай на левом фланге был, пока он, Шмарин, на правом крутился. Талантливость-то, выходит, командир батальона проявил, а Шмарин полком командовал, ну, что-нибудь в этом все роде... Любил человек приписывать себе чужие заслуги! Да и кого Федор ни наблюдал из них — не Шмарина одного: украсть чужое геройское дело, присвоить его и выдать за свое считалось у них делом наилегчайшим и совершенно естественным. К Шмарину только приехать — и начнет! Поплетет и поедет — развешивай уши, до утра проговорит, коли с вечера сядет. Его непременно «окружали», он непременно откуда-то и куда-то «прорвался», хотя всем известно, что боев у него на участке за минувший, положим, день не происходило. У него фланги постоянно под «страшной угрозой», соседние бригады ему никогда не помогают, даже вредят и уж непременно «выезжают» на его плечах, присваивают себе победы его бригады, получают похвалы, одобрения, даже награды, а он вот, Шмарин, подлинный-то герой, всеми позабыт, его не замечают, не отмечают, считают, видно, крошечным человечком, не зная, что он-то, Шмарин, и является виновником больших дел, похищенных и присвоенных другими.

Когда друзья наши приехали теперь к нему от Еланя и сообщили, что тот пленных груду набрал, Шмарин внимательно выслушал и вдруг быстрым движением приложил себе на неумытое желтое лицо большую пятерню и как бы в задумчивости рассеянно проговорил:

— Так, так, так... Ну, куда же? Я так и знал, что им деться было некуда...

— Кому некуда? — спросил Чапаев.

— А вот тем, что Елань-то взял. Вы знаете, товарищ Чапаев, что это за пленные? Я им еще наколотил

раньше — на правом-то у меня бой был — помните? Ай нет? В таком виде куда же им — только в плен и оставалось...

У Шмарина была нехорошая черта: умалять заслуги других, умалять даже и там, где ему нет от этого ровно никакой выгоды.

Увидев, что Шмарин и теперь склонен к повествованиям о «вчерашних успехах», Чапаев ему задал самый нужный и самый важный вопрос, от которого отвертеться и отмахнуться уж никак нельзя:

— Што на фронте бригады?

Вошли в штаб — комнатушку, прокуренную до черноты, прокисшую, вонючую, словно тут и было только постоянно, что курили да чадили. У Шмарина в штабе все работали ребята толковые, помогали ему не за страх, а за совесть. Суетливый пустомеля, опасный фантазер — Шмарин, однако задачи дивизионные всегда разрешал неплохо. Исполнитель он был, пожалуй, вовсе недурной, только вот в творцы совсем не годился, инициативы не имел никакой, сам создать ничего не умел, готового указа ждал, не настолько зряч был, чтобы видеть в любой обстановке все главное и важное.

В штабе публика точеная, повадки чапаевские знает — рассказала все до мелочи, мало что понадобилось добавить самому Шмарину. Когда выяснили обстановку, Чапаев сейчас же решил проехать по полкам бригады,— они вели наступление. Шмарин оставил заместителя — собрался и сам.

Услышанные в штабе цифры наших и неприятельских войск, просмотренные по картам линии речек и дорог, зеленые пятна лесов, каштановые пригорки,— все это жило в памяти Чапаева с изумительной отчетливостью. Он ехал и показывал Шмарину, что должно быть за этим вон бугорком, какие силы должны быть скрыты за ближним лесом, где примерно должен быть брод... Он знал все и представлял все отчетливо. Когда попадали на стрелку и две-три дороги сходились в одном пункте, Чапаев без долгого раздумья выбирал из них одну и ехал по ней так же уверенно, как бы ехал по знакомой улице какого-нибудь маленького

городишки. Ошибался редко, почти никогда, разве уж только на окружную какую попадет или в тупик упрется, зато и выбраться ему отсюда пара пустяков: осмотрится, потопает, что-то взвесит, вспомнит разные повороты, приметы, что были по пути,— и айда! Ночью разбирался труднее, а днем почти всегда безошибочно. По части уменья разбираться в обстановке у него был талант бесспорный, и тут с ним обычно никто и не состязался: как Чапаев сказал, так тому и быть.

Подъехали к первому полку. Он разбросался в маленьких, только что вырытых недавно окопах. Да и не окопы это, а какие-то совсем слабенькие сооружения, словно игрушечные, карточные домики: насыпана земля чуточными бугорками, и в каждом из них воткнуто по сосновой ветке, так что голову прятали и не разберешь куда — не то под ветку, не то за этот крошечный бугорок наподобие тех, что бывают в лесу у кротовых нор. То ли неприятель и впрямь эти веточки за кустарник местами принимал, или же просто тревожить, вызывать на драку не хотел, молчал, не стрелял, хоть и таился совсем недалеко, за сыртом.

В окопы ползком протаскивали пищу. Ляжет на брюхо, вытянет руки с котелком или суповой чашкой и ползет-ползет, как червяк, извивается — на локтях да на коленках от самой кухни строчит. Бойцы обедали, передыхали, после обеда — снова в наступление. У иных можно было заметить то книжку, то газету; верно, уж какая-нибудь безбожно старая,— так она затаскана и засалена. Раскинется навзничь, голова под веткой укрыта, лицо серьезное, совершенно спокойное, держит книжку или газету перед носом и почитывает,— да так все по-обычному и просто получается, будто в саду где-нибудь он у себя в деревне от июльской жары укрылся праздничным днем.

Чапаев, Федор и Шмарин проходили сзади цепи — по ним не стреляли. Это заставило Чапаева тут же задуматься.

— А верно ли, что за бугром неприятель, и кому это известно? Может быть, был, да нету? — обратился он к Шмарину.— Ну-ка, проверить!

По разным направлениям поползла разведка. Двое уже добрались к бугру, вспользли на хребет, чуть приподнялись, выше... выше... выше... и встали во весь рост. Воротились, доложили, что по склону нет ни единой души,— верно, неприятель уполз перелеском, который тотчас же и начинался у сырта.

Пошли вперед, забрались на самую высокую точку, в бинокль стали смотреть по сторонам.

— Вон видите,— показал Чапаев,— куда уходит лес? Оттуда, по-моему, они и хотят обойти.

— Не обойдут,— заметил Шмарин.— Три дня гоню, куда им обратно. Дай бог только пятки смазать.

— Вот они тебе на четвертый-то и смажут,— серьезно ответил ему Чапаев, не отрываясь от бинокля, поводя его по сторонам.

— Не воротятся,— продолжал уверять легкомысленно Шмарин.

— А воротятся? — резко и недовольным тоном сказал Чапаев.— А если там командир не дурак да поймет, что и бежать-то ему даже легче будет, коли по тылу тебя шуганет? Пока соберешься — где он будет? Шляпа! А ты вникай, шевели мозгами. Думаешь, так он тебе горошиной под носом и будет катиться?

Шмарин молчал, отвечать было нечего. Чапаев указал ему, что надо сделать, дабы предупредить возможный обход, сказал Шмарину, чтобы до выяснения положения оставался тут, а сам вместе с Федором отправился к двум другим полкам.

И к чему он ни подходил, к чему ни прикасался — повсюду находил, как и что надо исправить, где в чем надо помочь. Когда уже были на крайнем правом фланге бригады, в третьем полку, Шмарин прислал гонца, сообщил, что обходное движение неприятеля действительно обнаружено, но сам неприятель понял, что обнаружен прежде времени, и отступил в ранее взятом направлении. Свою писульку Шмарин заключал торжественно:

«Всю злостную попытку я прикончил немедленно, не потеряв ни одного солдата...»

Надо думать, что тут и «приканчивать» было нечего: тучи рассеялись сами собой.

Заночевали здесь же, в третьем полку. Штаб его расположился в деревне, кругом были выдвинуты заставы. За околицей, в сторону неприятеля, полукругом на ночь окопалась красноармейская цепь. В халупе, где остановились,— дрянная коптилка, так что лица человеческие можно было рассмотреть лишь с трудом. Утомились, говорить не располагало, стали притыкаться по углам, растягиваться по лавкам, искать, где поудобней заснуть: в полумраке ползали, как черные привидения.

В это время привели на допрос мальчугана годов четырнадцати. Допрашивали полковые, подозревая, что шпион. Сначала задавали вопросы: кто ты, откуда, куда пробирался, зачем? Рассказал мальчуган, что отца у него с матерью нет, за ту войну где-то сгибли. Сам он — беженец-поляк, а числится теперь в «третьем добровольческом красном батальоне». Такого никто не знал, и подозрения усилились еще больше.

— Как тебя зовут?

— Женя.

— А ты говорил, что Алеша? — захотел его кто-то спутать.

— Не выдумывайте, пожалуйста,— твердо и с каким-то естественным достоинством заявил мальчик.— Я вам никогда не говорил, что меня Алешей звать. Это вы придумали сами.

— Разговорчив больно, эй, мальчуган...

— А что мне не говорить?

— Не болтай, дело рассказывай. От белых шел? Ну, говори, чего притворяться-то. Скажешь — ничего не будет.

— Да ничего не скажу, потому что нет ничего,— с дрожью в голосе отбивался он от наседавших допросчиков.

— Ну, ну, не ври. Тут никакого твоего батальона нет... Выдумал... Говори лучше, зачем шел, куда?

И вот все в этом роде принялись его прощупывать. Хотелось вызнать, кто его, куда и зачем послал.

Грозили всяко, запугивали, расстрел упомянули.

— Ну что ж, расстреливайте!— сквозь слезы про-

говорил Женя.— Только зря это... Свой я... Ошибаетесь...

Федор решил вмешаться. Он до сих пор лежал и слушал, ожидал, чем кончится допрос. Теперь ему все равно — свой мальчик или не свой — захотелось спасти его, оставить у себя, перевоспитать, если понадобится. Он сказал, чтобы закончили допрос, и уложил обрадовавшегося Женю рядом с собою на полу. (Федор потом действительно выработал из Жени отличного и сознательного парнюка: он работал по связи в бригаде и полку.)

Опять все притихло в штабе. Чадила коптилка, из углов всхрапывали, посвистывали спящие, чавкали за окном всегда готовые, оседланные кони. Перед тем как все стали укладываться, Шмарин, к тому времени уже прискакавший из полка, решил «осмотреть», все ли в порядке, и вышел из избы. Сколько прошло времени — никто не запомнил потом, но уже было к заре, когда Шмарин подбежал, запыхавшись, и в распахнутую дверь крикнул громко, скороговоркой:

— Скорей, скорей, неприятель наступает!!!

Все вскочили разом, через минуту были на конях.

— Цепи уже на горе, сажен двести,— задыхался Шмарин, никак не попадая в стремя ногой. Горячий конь вертелся волчком, не давался. Шмарин его с размаху, со всею силой ударил по морде...

Выскочили за ворота. В чуть брезжущем полумраке ныряли во все стороны человеческие фигуры. Куда они бежали — понять было трудно: одного направления не было, метались во все стороны. За воротами тотчас же разделились, не говоря ни слова, разговаривать было некогда. Одни кинулись по дороге — наутек, спасаться... Чапаев быстро сообразил и помчал к резервному батальону, стоявшему неподалеку. Шмарин, а с ним и Клычков поскакали навстречу наступавшим цепям, перед которыми, как надо было думать, отступали цепи красноармейцев. Клычков с тою целью поскакал теперь со Шмариным, чтобы остановить отступающих и личным примером поднять их дух. Молнией сверкнуло в памяти, как он в Уральске спорил с Андреевым о цепи, обороне, участии в

бою во время паники,— и мигом охватила гордая, торжественная радость.

— Ложная тревога... Ошибка... На горе свои цепи!

— Отставить! — вдруг прогорланил Шмарин.

К кому относилась эта команда — понять было невозможно, да и не было никого кругом, кроме отдельных, во все стороны сновавших бойцов. Сейчас же послали воротить Чапаева и всех ускакавших по дороге. Криками и выстрелами их остановили,— через десять минут все снова были в сборе.

Эта суматоха, крики и стрельба были слышны в полку и вызвали там большое недоумение, даже предполагали, что обойдены, что надо принимать срочные меры. Бойцы насторожились, зашигутились, приготовились, собрались посылать во все стороны новую разведку, пока им не донесли, что вся тревога была впустую. Когда снова собрались в избу, хоть было еще и очень рано, спать не стали, присели к столу, завязался разговор. Кого-то бранили, но кого именно — понять было невозможно. Шмарина? Нет, он обязан был поднять всех на ноги, раз заметил опасность, а проверить ее не оставалось нисколько времени.

Сами себя? Нет, сами себя тоже признавали неповинными, потому что какой же чудак будет сидеть в избе, когда тут рядом наступает неприятельская цепь? Сполох признали неизбежным, на том и смирились. Хоть повинного и не нашли, а в то же время все как будто стыдились, смущались чем-то: разговоры были неуверенные, в глаза один другому не глядели, перебрасывались короткими фразами, глядя через голову, мимо, в окно, в черную пустоту...

— Вот-те и до паники рядом,— сказал Шмарин, нагибаясь над столом, прикуривая от коптилки.— Разбери ты поди, кто обманул...

— А тебе кто сказал? — спросил его Чапаев.

— Из штаба полка... Навстречу...

— Да кто же?

— Вот и не помню, не узнал... Проскочил дальше — цепь идет, видно кое-что... Значит, думаю...

— Не думаю — знать надо! — внушительно заме-

тил Чапаев.— Знаешь, што у нас было один раз? Не теперь — в германскую, там, на Карпатах. Горы — не эти бугры: коли заберешься — и не слезешь скоро... Лезли вот так-то, лезли, а австрияк засел в каждую нору, за камнями напрятался, где за кустом, в песку лежит,— одним словом, у себя человек дома живет, его нечего учить, куда прятаться надо... Растянемся, как на базаре, а он по тылу стукает, да и угонит весь обоз... Артиллерия есть — и ее берет. Мы, значит, на этот раз загнали все в середку, окружили по сторонам, да так и идем. Лошадей-то не хватало — мы быков, а ночью заревет, черт, продаст ни за что... Ты прикладом и не думай — хуже того завоет... Пока хлеб был, так кусок ему воткнешь — молчит... А потом плохо. Ночью один раз переход надо было до утра... И разведка как следует: «Ничего,— говорит,— нет, можно». Собрались, пошли, а обоз да с быками-то посередке весь... Ночи эти по горам — кто был, так знает. Чего же говорить, хуже и быть не может. Што тебе вот сажа черная, што ночь — ничего... Идем, не шумим, только камушки катятся с горы-то, аж донизу... Вот как ночью идешь — и чего только тебе не привидится! Под кустом будто лежат кругом да ждут. А на дереве тоже сидит... Камень большой, а тебе как человек в сумерках-то. Ну, черт его знает, какой ты храбрый ни есть, а то и знай вздрагиваешь. Страшно ночью, откуда што берется: стрелять не видишь, бежать не знаешь куда, будто в кольцо попал... Командовать? Да как же тут командовать-то, раз не видишь ничего! Так уж садись и сиди, пока тебя по затылку саданут. Другой манер, коли ты сам наскочил. Тут шуму дал — да и тягу... А вот по горам, да не знаешь ничего, ну-ка? Идем мы, идем, и, видишь ли, кому-то напереди неприятель будто стренулся... Он его — хлоп, а оттуда нет ничего. Он еще пальнул, а тут — как поднялась, как поднялась, сама себя и давай... Место наше было узкое — гусем шли... Спереди палят, да и сзади тоже. А потом как хватят с горы-то, да и бежать, да и бежать, потому што стали падать убитые, а оттуда огонь — не видать... На низ бежать, а тут обозы, скотина эта, быки, да перепугали всех —

они тоже вскачь пошли. И все помчалось с гор... Как оборванул в обратную, так и замял все назади... А тут наворотили — ни проехать, ни пройти. Другого хода нет. Деться некуда, через верх бросились. А те, што пониже, с горы думали лезет кто, да по ним, по ним... Бегут и стреляют. Как оглянутся кверху-то, да по ним... Што народу легло — ай-ай! А все из-за чего? Паника вот эта самая и есть... Кто тебе, што тебе сказал, чего где увидал — ты посмотри, а не ротозей, не ори: караул, мол, цепи идут!..

— Зачем кричать, никак нельзя,— поддержал Шмарин, как будто не понимая, что речь идет о нем самом.— От крику-то все и образуется.

— То-то, «от крику»...— куда-то в сторону обронил Чапаев, озадаченный таким маневром Шмарина.

— Я думаю,— вмешался Федор,— есть такие положения, что уж никак не остановишь панику, никак... Кто хочешь будь, что хочешь делай,— ну, никак... Вот в этом хотя бы случае...

— Да, тут была одна погибель,— согласился Чапаев.

— Погибель... И сами себе эту погибель создали,— продолжал Клычков свою мысль.— Бороться надо не с паникой, а *против* паники, предупреждать ее надо. А что для этого требуется? Да черт его знает — что: на каждый случай свое особенное... В этом случае, что на Карпатах, по-моему, надо было пускать вперед совсем особенных солдат, совсем особенных... И разведку особенную, меньше всего поддающуюся страхам ночи... Да сладить выстрелы там, знаки разные, сигналы... И только по сигналам, а не как кому вздумается...

— Совсем не в сигналах дело,— остановил его Чапаев.— Сигналы... Ну, што тебе сигнал поможет, когда лошади бегут с перепугу, быки. Их не надо было пускать в середку... Ночью этого нельзя... Да и самого-то походу было нельзя.

— Нет, отчего же нельзя? Очень бы можно, если бы обставить...

— Ай и обставили,— засмеялся Шмарин.— Чего же лучше, на-ка, что обставили...

Этот странный смех, эти не к делу сказанные слова оборвали разговор. Ни спать, ни сидеть охоты не было, да и не было нужды оставаться здесь... Чуть светало. Еще совсем было холодно, по-ночному. Тихо. Успокоилась, заснула деревня, встревоженная в неурочный час... Чапаев дожидался у крыльца, когда ему подведут оседланного коня. Федор подседлывал сам. Через несколько минут они ехали по знакомой вчерашней дороге.

XII. Дальше

Чапаевская дивизия Белебей обходила с севера, брать самый город поручено было не ей. Но уж такова слабость всех командиров — ткнуться в пункты, что покрупнее, и доказать непременно свое активное участие в овладении этими пунктами. В гражданскую войну не всегда преследовали цель уничтожения врага как живой силы — чаще гнались за территорией, а особенно за видными, известными городами. Стремление это имело, впрочем, под собой не одно лишь военное значение. Оно имело значение и политическое: каждый крупный центр, большой город являлся в то же время и политическим центром на более или менее широкую округу, и пребывание его в белых или красных руках совсем не безразлично отзывалось на политической бодрости или вялости этой самой округи. А поскольку политика в гражданскую войну являлась основной пружиной действия — каждый и стремился овладевать как можно быстрее центральными пунктами.

Белебей был уж не ахти каким значительным центром, однако ж и он имел свое объединяющее значение. Правофланговая бригада Чапаевской дивизии подошла к городу как раз в момент решительной схватки, приняла в этой схватке участие и вместе с соседней дивизией вошла в город. Был шум, были протесты, было много споров о том, кто город взял *фактически*, кто вошел первым, кто проявил находчи-

вость, героизм, талантливость и т. д. и т. д.,— спорам этим нет конца, раз две воинские части одновременно заняли один и тот же пункт. Сам Чапаев в спорах участия не принимал — эту заботу поручил он бригадному командиру Попову, и тот усердно изощрялся в дипломатических искусствах.

Полки расположились на север, по берегу Усеня. Выжидали. Здесь — красные, за рекой — белые. Так несколько дней. Отдыхали, собирались с силами, готовились к схватке. Чапаев бранился, все время бранился и выражал недовольство, преступной считал эту стоянку на Усене.

— Што за отдых? — кричал он.— Какой дурак на фронте отдыхает?! Да и кому этот отдых понадобился? Может быть, самим штабам он нужен? — язвил Чапаев, намекая на возможную там измену, на сознательное замедление быстрого и победоносного движения красных войск...

А двигались действительно не ахти как быстро. С остановками, с передышками, подготовками да перегруппировками выходило в среднем что-то верст по восемь — десять на сутки; были охотники, что занимались и этими вычислениями, давая Чапаеву цифры, приводившие его в ярость.

— Я не устал, не устал! — гремел он, стуча кулаком по столу.— Когда попрошу, тогда и давай, а теперь вперед надо... Враг бежит, «следовано» на плечах у него сидеть, а не отдыхать над речкой...

— Ну, Василий Иваныч,— говорили ему,— ты про одну свою дивизию толкуешь... Чудак ты человек... а другие-то? Надо их выравнять, сменить, подновить,— да мало ли что по фронту требуется. Нельзя же одну свою дивизию «на мушку брать» и полагать, что одна она все дело сделает...

— А не сделает? — сверкнул глазами Чапаев.— Какая это подмога мне со сторон-то? Видано ли, штобы хоть вот столечко помог кто-нибудь... На, выкуси — помогут!.. Одной дивизией возьму Уфу, только не мешай, не лезь...

— Кто это — *не лезь?..*

— Да никто не лезь. Я сам сделаю,— отвечал он

уж несколько пониженным тоном, как будто спохватившись и поняв, что заговорился неладно...

Подобных скандалов и скандальчиков было много. До самой Уфы Чапаев был недоволен ходом операции, несмотря на то, что дивизия одерживала победу за победой. Ему все казалось, что мало дают простору, что инициативу его обкрадывают, к голосу его не прислушиваются, с мнением его не считаются.

— Чего они там видят — карту? — пошумливал он в своем кругу.— Так ведь мы воюем не на карте, а на земле... На земле мы воюем, черт возьми! — все больше приходил в азарт Чапаев.— Мы тут все знаем и все видим сами... Нам указывать нечего, только подмогу давай!

— Опять не так, Василий Иваныч,— образумливал его Клычков.— Координировать, объединять надо все действия.

— И объединяй,— прерывает Чапаев,— кто тебе мешает объединять? Не мешай, говорю... Когда разбегом надо бежать, а мы — смотри-ка, праздники какие справляем на Усене...

— Какие праздники... брось, пожалуйста,— возражал ему Федор.— Будет, нарывались уже довольно со своей торопливостью... Опыт научил, вот что...

— Это сидеть-то? — вскидывался Чапаев.— По рекам-то? Когда у Колчака только пятки сверкают? Ну, уж воюйте, брат, этак сами, а мы не привыкли... Затеяли дивизии переменить, да разве время? — ворчал он.— Да разве солдат тебя просит, жалуется?.. У, черт!.. Брошу все, опять отрядом стану командовать... Там уже как задумал, так и все твое, а тут...— и он энергически плюнул.

— Ты сменой недоволен,— все хотел его урезонить Клычков,— странный человек! Соображения, значит, есть, не с пустой же головы в такие дни задумали перетасовку... Может, и в самом деле истрепались, устали до последнего?..

— А-а-а...— махнул он рукой.— Никто не устал... Вчера мне навстречу красноармеец... Один ковыляет в лесу, хромает, гляжу — забинтованный весь, ма-

ленький, тощий, как селедка. «Чего ты, куда?» — спрашиваю. «А я,— говорит,— обратно в часть к себе».— «Ну, так хромаешь-то чего?» — «Раненый».— «Што не лечишься?» — «Некогда,— говорит,— товарищ, не время нам теперь отдыхать-то, воевать надо... Убьют,— говорит,— лягу в могилу, делать там нечего,— вот и полечусь...» А сам смеется. Как посмотрел я на него... Ах ты, черт, думаю, знать, молодец и есть... Снял часы с руки, даю ему. «На,— говорю,— носи, помни Чапаева». А он сразу не узнал, видно... Веселый сделался, не берет часы, а знай, махает рукой... Потом взял... Я — в свою сторону, а он стоит, смотрит да смотрит, пока его видеть перестал... Вот они, усталые-то... С такими усталыми всем Колчакам морду набью!..

— Да, таких много,— соглашался Федор.— Может быть, большинство даже, а все-таки и они могут уставать...

Но Чапаева тут разубедить было чрезвычайно трудно. Даже не помогла ссылка на Фрунзе, которого он уважал чрезвычайно.

— Ведь распоряжение-то без Фрунзе не проходит? Ведь не одни же генералы и подписывают!

— А может, и одни? — как-то загадочно и тихо протестовал Чапаев.

— Да как же это?

— А так... Наши приказы Колчаку раньше известны, чем нам... Вот как...

— Откуда это ты плетешь? — удивлялся Федор.— Ну, один-другой приказ, может, и в самом деле угодил к Колчаку, но нельзя же делать таких заключений, Василий Иваныч...

Но сопротивление бесполезно. Чапаев оставался при своем: относительно «штабов» переубедить его было невозможно,— не верил им до последней минуты жизни...

Ранним утром цветущим лесом пробирались на Давлеканово... Ехали в горы, ехали с гор, пересекали чистые ключевые речки, рысили по пахучим черемуховым аллеям. Дорога тихая, светлая, полная звуков,

пропитанная запахами весеннего утра... Из этих лесов — по бригадам, по полкам к красноармейцам, грязным, вшивым, измученным, полуголодным, полураздетым... Чем ближе к Уфе, тем отчаяннее сопротивляются вражеские войска. Задерживаются на всех удобных местах, особенно по горам, сосредоточивают ударные горсточки, ходят в контратаки... Обозы не дают — угоняют их заранее, вперед себя, охраняют большими отрядами: видно, снабжать Красную Армию не хотят!

День ото дня двигаться было трудней и трудней. Обнаруживался массовый шпионаж: на Колчака работали свои разведчики, работали кулачки-крестьяне, работали нередко татары, которые обмануты были во множестве рассказами, будто идут большевики исключительно с тем, чтобы отнять у них аллаха и разбить мечети... Были случаи, когда в татарском поселке открывали из окон огонь по вступавшему красному полку. Стреляли жители-татары, и не какие-нибудь богатеи, а настоящая голь перекатная. Ловили... Что делали? По-разному поступали. Иных расстреливали на месте — война церемоний не любит. А иного отдавали «на разговоры» своим же красным бойцам-татарам. Те в короткий срок объясняли соплеменнику, за что борются, и нередко были случаи, когда он сам, после короткой беседы, вступал добровольцем в Красную Армию... Шпионов ловили часто...

В Давлеканове красноармейцы сообщили Федору, что в полковом обозе везут какую-то девушку, захваченную по дороге: просит, чтобы подвезли поближе к Уфе, хочет войти туда с красными войсками,— в Уфе мать, сестры, родственники.

— Приведите ее ко мне,— распорядился Клычков.

Девушку привели. Годов девятнадцать... Хромает. Окончила недавно гимназию... Одета плохо... Говорит много про Уфу... Рвется скорее туда... Совершенно ничего подозрительного. Но ему инстинктивно почувствовалось недоброе — без всяких поводов, без оснований, без малейших фактов. Решил испытать, думал: «Ошибусь, чем рискую? Отпущу — и конец!»

Говорил-говорил с ней о разных пустяках, да в упор внезапно и поставил:

— А вы давно ранены?

— Давно... То есть, чего же... Нет... Откуда вы думаете, что я ранена?

— А хромаете,— твердо сказал Федор и пристально-пристально посмотрел в глаза.

Рядом сидел товарищ Траллин, начальник политотдела армии, сидел и молча наблюдал картину оригинального допроса.

— Ну... да...— замялась она.— Нога-то... была... но уж давно... Совсем давно...

Федор понимал, что вопросы надо ставить быстро и непрерывно, оглушить ее, не давать придумывать ответы и вывертываться.

— Где ранены, когда?

— Бумагу в штаб несла...

— Бой был близко?

— Близко...

— В разведке у них работали?

— Нет, не работала, машинисткой была.

— Врете, врете! — вдруг крикнул он.— Вот что — мне все известно. Поняли? Все! Я вас знаю, наши разведчики мне все про вас сказали. Дайте мне свое удостоверение, сейчас же... На этой, на бумажке — знаете?..

— На какой? — робко спросила она.

— А вот на тоненькой-тоненькой... Знаете, вроде папиросной бывает. Ну... ну-ну, давайте скорее. Разведчики наши знают, как вам ее писали. Да ну же...

Федор впился глазами и удивился сам неожиданным результатам. Девушка окончательно стушевалась, когда услышала про бумажку... А известно, что всем разведчикам даются удостоверения на крошечных клочках тончайшей бумаги, и они прячут эти удостоверения в складки платья, в скважину каблука, затыкают в ухо — ну, куда только вздумается.

Девушка достала мундштук, трижды его развинтила и вытащила бумажку, скатанную и прилепив-

шуюся по сторонам мундштукового ствола. Там значилась фамилия, имя, отчество...

Успех был замечательный...

Ей учинили официальный допрос: сначала у себя, а позже — в армии. Допрашивал ее и случившийся в ту пору товарищ Фрунзе. Девушка сообщила много ценного, заявила, между прочим, и то, что красные некоторые разведчики работают одновременно и в разведке белых. Двурушников скоро ликвидировали. Много дала материала — очень к делу подошлась...

Таких случаев, только менее серьезных и удачных, было несколько... Между прочим, к одной полковнице, заподозренной в шпионаже и запертой в баню, втолкнули под видом белого офицера одного толкового коммуниста, и «дура баба» разболтала ему немало ценных новостей.

Полки шли на Чишму. Ясно было, что такой важный пункт дешево не отдадут: здесь сходятся под углом две железнодорожные ветки — Самаро-Златоустинская и Волго-Бугульминская. Уж за десяток верст от станции начинались глубокие, ровные, отделанные окопы с прекрасными блиндажами, с тайными ходами в долину, с обходами под гору. Были вырублены целые рощи, и в порубях расчищены места для кавалерийских засад, а поля, словно лианами, были повиты колючей проволокой... Ничего подобного не попадалось ни под Бугурусланом, ни у Белебея; особенно окопов, так тщательно и основательно сработанных, не встречали уж давно. Было видно, что враг готовился основательно.

На Чишму наступала бригада Еланя — разинцы, домашкинцы, пугачевцы. Все последние версты продвигались с непрерывным, усиливавшимся боем. Чем ближе к Чишме, тем горячее схватки. Атаки отбивались, неприятель сам неоднократно ходил в контратаку. Но чувствовалась уже какая-то предопределенность, даже в самых яростных его атаках не было того, что дает победу,— уверенности в собственных силах, стремления развить достигнутый успех. Враг как

бы только отгрызался, а сам и думать не думал стать победителем.

Видали вы, как по улице мчится сломя голову собачонка, а тут, цепляясь за хвост, наседает, теребит, грызет ее другая, более сильная, более уверенная в себе... Та, что убегает, и думать забыла про решительную схватку,— она может только отгрызнуться, порой укусить, и больно даже укусить, но это не схватка: она бежит, будет позорно побеждена. Такое именно впечатление отгрызающейся собачонки производили колчаковские войска уже здесь, под Чишмой. Ходили в контратаки, но все это делалось как будто лишь для того, чтобы дать уйти главным силам, убраться обозам... Как будто сражались одни арьергарды, заслоны, охранявшие тех, что отступали где-то впереди. На деле было не так,— сражались большие, основные, главные силы... Но инициативу они потеряли еще там, перед Бугурусланом, и вот никак-никак не могут вернуть ее обратно. В колчаковской армии ширилось и убыстрялось гибельное для нее «разложение». Никакие меры борьбы,— поблажки, репрессии, расправы,— ничто уже не могло приостановить этого исторически неизбежного процесса. Кроме общих причин разложения, которые более или менее быстро сказывались на всех белых армиях, здесь, у Колчака, имелись еще и причины особенные, сильно подтолкнувшие самый процесс. Во-первых, Колчак мобилизацию населения проводил «без оглядки», гнался больше за количеством, чем за качеством; и, во-вторых, пытаясь сцементировать и объединить это огромное намобилизованное войско кучкой преданных ему кадров, он неизбежно был должен развязать этой кучке руки в деле репрессий со своим же «войском». Все виды старой «солдатчины» у Колчака возродились едва ли не полнее, чем в какой другой армии белых. Разношерстность войска и жестокость кадров были теми двумя причинами, которые особенно быстро повели вперед процесс разложения колчаковской армии.

К Клычкову как-то после боя попала целая пачка неприятельских документов, среди них — телеграм-

мы, приказы, распоряжения, запросы колчаковского командования:

«В самый короткий срок собрать всех слабо обученных в одно место и подготовить к погрузке на железную дорогу; для сопровождения назначить *непременно офицера...»* Эти два последние словечка великолепны: они свидетельствуют о смертельном испуге перед своим же собственным «христолюбивым воинством».

Но положение обнаруживается еще более серьезное, еще более трагичное: на офицеров, оказывается, без оглядки полагаться тоже нельзя,— продадут, того и жди, красному командованию. Был пример. Человек десяток красных кавалеристов напоролись вплотную на неприятельскую цепь. Тут было сто двадцать солдат, два офицера, пулемет. Чего бы, кажется, легче — замести этих кавалеристов к себе или посшибать их моментально с коней? А получилось вот что. Офицеры крикнули своим солдатам: «Стрелять не смей!», выбежали навстречу кавалеристам и заявили, что хотят перейти со всеми солдатами на красную сторону... И заметьте — это при всех-то рассказах о «большевистской жестокости» и беспощадности к белым офицерам: не сробели, решились, пошли...

Ну, уж зато и крепко ж за них просили кавалеристы перед своими командирами, как будто добровольно сдавшимся что-то и в самом деле грозило страшное.

Офицеры оказались: один из конторщиков, другой — бывший народный учитель. Порассказали про «дисциплину» колчаковскую. Расстреливают офицеров за малейшую упрощенность разговора с солдатами; выполнение этикета и кастовых отличий требуется и взыскивается со всей жестокой суровостью. Страх перед «войском» отшиб разум высшему командованию, и оно в самом простом, бесхитростном разговоре офицера с солдатом видит злую сознательную «агитацию». Среди низшего офицерства идет брожение,— его рознь с высшим очевидная, глубокая, усиливающаяся с каждым днем. Эти рассказы офицеров были безусловно верны. Федор имел возможность

проверить их и по документам, о которых упомянуто выше:

«Приказываю установить наблюдение за поручиком Власовым»,— значилось в одном приказании начальника дивизии. «Установить самое тщательное наблюдение за офицерами Марковым, Жуком и Лизенцовым, пытавшимися вести разговоры с рядовыми»,— значится в другом его распоряжении. Имеются запросы, справки об офицерах — и все шпионского порядка.

У Колчака явно неблагополучно. Дисциплина упала даже и среди офицерства,— ряд телеграмм говорит об ослушании, о невыполнении приказов. Для поддержания «духа» армии высшее офицерство прибегает к мерам весьма сомнительного достоинства: начинает присваивать себе победы красных войск, в приказах и листовках перечисляет «своими» такие пункты и селения, в которых по крайней мере неделю развевается красный флаг. Войска про это, конечно, узнают и окончательно перестают верить даже бесспорно правильным сведениям.

Словом, рассыпалась армия колчаковская с очевидностью совершенно несомненной. Этому процессу красные войска помогали усиленно. В тыл белым возами развозили агитационную литературу и через жителей, и с аэропланов, и со своими ходоками рассыпали миллионы воззваний, обращений, всяческих призывов. Красные агитаторы проникали в самую глубь неприятельского расположения, в самую гущу белого солдатства и там безбоязненно, совершенно недвусмысленно проводили свою героическую работу.

И все же, несмотря ни на что, бои порою бывали настолько серьезны и ожесточенны, что разбивали всякие предположения и всякую уверенность в начавшемся разложении белой армии. В этих серьезных схватках участвовали наиболее стойкие белые полки; их было, по сравнению с общей массой, немного, но дрались они великолепно и техника у них была тоже великолепная. Перед самой Чишмой бой настолько был серьезен, что в иных ротах осталось по красным полкам всего тридцать — сорок человек. Отчаянно,

вдохновенно, жутко дрались! На броневые поезда кидались с ручными бомбами, устлали трупами весь путь, бежали за чудовищем, кричали «ура», бросались, как мячиками, страшными белыми бутылками. А когда появлялись броневики, цепи ложились ничком, бойцы не подымали головы от земли: броневик «лежачего не бьет»,— тем и спасались... Просекал он цепи, гулял в тылу, палил, но безрезультатно, а когда удирал — и за ним тоже, как за поездом броневым, бежали и в него бросали белыми бутылками.

Героизм соприкасался с безумием: от пулеметного огня броневиков и броневых поездов немало полегло под Чишмой красных бойцов.

И здесь через двадцать минут, как закончили бой, когда еще в поле стоял пороховой дым и повисли в воздухе беспрерывные стоны перевозимых врагов и товарищей,— Чишма зажила обычной в этих случаях жизнью. Из подвалов и погребов, из овинов и чуланов, из печей и из-под шестков, из подполья и с чердаков — выползали отовсюду перепуганные пальбой крестьяне и засуетились около затомленных красноармейцев. Застучали бабы ведрами, зашумели самоварами, зазвенели чашки и ложки, горшки и плошки. По избам шум пошел, рассказы-разговоры. Вспоминали, кому как жилось, кому что видеть, слышать, вынести довелось за это время, чего ожидали, чего дождались... Когда перекусили и чаю напились, местами наладили в чехарду, и можно было подумать, что собрались тут ребята не после боя, а на гулянку из дальних и из ближних деревень в какой-нибудь торжественный престольный праздник...

Вечером в полку Стеньки Разина собрался хор. Певцов было человек двадцать пять, у многих и голоса были отличные, да вот беда,— все бои, походы, спеваться-то некогда! А охота попеть была настолько сильной, что на каждой остановке, где хоть чуточку можно дохнуть, певцы собирались в груду, сами по себе, без зова, вокруг любимого и почтенного своего дирижера... И начиналось пение. Подступали, окружали любителей и охотники, а потом набиралась едва ли не половина полка... Тут уж кучкой было петь не-

возможно — затягивали такую, что знали все, и полк сливался в дружной песне... Пели песни разные, но любимыми были про Стеньку Разина и Ермака Тимофеевича. Были и веселые, плясовые. Какой-нибудь замысловатый фальцетик, подмигивая хитро и сощурившись лукаво, заводил на высочайшей ноте:

Уж ты, Дунюшка-Дуня!..
Уж ты, Дунюшка-Дуня.

Хор подхватывал волнами зычных голосов:

Ах ты, Дуня-Дуня-Дуня...
Дуня, Дунюшка, Дуняша!..

В такт хлопали ладошами, отбивали каблуками, но это еще «бег на месте». Второй куплет не выдерживали, и как только подхватят:

Ах ты, Дуня-Дуня-Дуня...—

откуда ни возьмись, на середину выскакивают разом два-три плясуна, и пошла рвать... Пляшут до семи потов, до одурения, почти до обморока... Одни за другими, одни за другими...

Песен мало — явится гармошка... Пляс и гармошка зачастую вытесняют хор, но больше потому, что уж напелись, перехрипли петухами...

Особо хлестко плясала полковая «интеллигенция» — фуражиры, каптеры, канцеляристы... Но не уступали им и батальонные и ротные командиры — тоже плясали лихо!

Часто перемежались. Поют-поют, не станет мочи — плясать начнут. Перепляшутся до чертиков, вздохнут да опять за песни,— и так насколько хватит глотки и ног.

За последние месяцы привились две новые песни, где больше всего нравились припевы,— и пели с величайшим подъемом и одушевлением. Мотивы старые, а слова заново. Первый припев таким образом был сработан из старого:

Так громче, музыка, играй победу,
Мы победили, и враг бежит-бежит-бежит...
Так за Совет народных комиссаров
Мы грянем громкое ура-ура-ура!

Второй припев обошел всю Красную Армию:

Смело мы в бой пойдем за власть Советов
И, как один, умрем — в борьбе за это...

Слова тут пелись ничего не значащие,— хорошая песня еще не появилась, но припев... припев пели удивительно.

— А ну, «вечную память»,— предлагает кто-то из толпы.

Певцы многозначительно переглянулись.

— Разве и в самом деле спеть?

— А то што...

— Запевалу давай сюда, запевалу!

Протискался высоченный сутулый рябоватый детина. Встал посередке и без дальнейших разговоров захрипел густейшим басом:

— Благоденственное и мирное житие, здравие, спасение и во всем благое поспешение, на врага победу и одоление подаждь, господи!

Он остановился, глянул кругом, как будто говорил: «Ну, теперь вам очередь»,— и стоявшие заныли протяжно:

— Го-о-о-споди, по-оми-луй...

— Всероссийской социалистической Красной Армии с вождем и товарищем Лениным,— гремел он дальше,— геройскому командному составу двадцать пятой стрелковой и всему двести восемнадцатому Стеньки Разина полку мно-о-огая ле-та!

Хор грянул «многая лета»...

— ...Артиллеристам, кавалеристам, телефонистам, мотоциклистам, пулеметчикам, бомбометчикам, минометчикам, аэропланным летчикам, разведчикам, пехотинцам, ординарцам, кашеварам, мясникам и всему обозу мно-о-о-огая ле-е-та!..

И снова подхватили «многая лета» — дружно, весело, зычно. Лица у всех веселые, расплылись от улыбок, глаза торжественно и гордо говорят: «Не откуда-нибудь взяли — у себя в полку сложили эту песню!»

Запевало пониженным и еще более мрачным тоном выводил:

— Во блаженном успении вечный покой подаждь, господи: сибирскому верховному правителю, всех трудящихся мучителю, его высокопревосходительству белому адмиралу Колчаку со всей его богохранимой паствою — митрополитами-иезуитами, архиепископами и епископами, бандитами, шпионами и агентами, чиновниками, золотопогонниками и всеми его поклонниками, белыми колченятами, обманутыми ребятами и прихвостнями-прихлебаками господами чехословаками... ве-е-еч-ная... па-а-а-мять!..

Потянулось гнусавое, фальшивое похоронное пение. Сделалось тошно, словно и впрямь запахло дохлятиной...

— Всем контрреволюционерам,— оборвал поющих заканчивающий запевало,— империалистам, капиталистам, разным белым социалистам, карьеристам, монархистам и другим авантюристам, изменщикам и перегонщикам, спекулянтам и саботажникам, мародерам и дезертирам, толстопузым банкирам, от утра до ночи — всей подобной сволочи — ве-е-чная па-амять!

Хор, а с ним и все стоявшие тут красноармейцы затянули «вечную память».

Окончив, стояли несколько мгновений молча и неподвижно, как будто ожидали чьей-то похвалы... Этим акафистом гордились в полку чрезвычайно, слушать его очень любили и подряд иной раз выслушивали по три-четыре раза.

С песнями и пляской канителились до глубокой ночи, а наутро, чуть свет — выступать! И это ничего, что позади — бессонная ночь: быстр и легок привычный шаг!

Чишму считали ключом Уфы. Дорога теперь очищена. Все говорит за то, что враг уйдет за реку и главное сопротивление окажет на том берегу Белой.

Еще быстрей, еще настойчивей устремились войска преследовать отступающую колчаковскую армию.

— Теперь Уфа не уйдет,— говорил Чапаев,— как бы только правая сторона не подкузьмила!

Он имел в виду дивизии, работавшие с правого фланга.

— Почему ты так уверенно? — спрашивали его.

— А потому, что зацепиться ему, Колчаче, не за што — так и покатится в Сибирь.

— Да мы же вот зацепились под Самарой,— возражали Чапаеву.— А уж как бежали!

— Зацепились... ну, так што?..— соглашался он и не знал, как это понять. Мялся, подыскивал, но объяснить так и не смог. Ответил:— Ничего, што мы зацепились..., а он все-таки не зацепится... Уфу возьмем...

Эта уверенность в победе была свойственна большинству, ею особенно были полны рядовые бойцы. Когда в полках каким-нибудь образом ставился и обсуждался вопрос о близких возможностях и боевых перспективах, там был лишь один счет — на дни и часы. Никогда не говорили про живые силы, про технику врага, степень его подготовки, силу сопротивляемости. Говорили и считали только так:

«Во вторник утром будем в этом поселке, а к вечеру дойдем до реки. Если мостишко не взорван, вечером же и на тот берег уйдем... ежели взорван — раньше утра не быть... В среду вечером должны будем миновать вот такую станцию, а в четверг...» и т. д. и т. д.

Будто шли походным маршем, не имея перед собой врага, так точно рассчитав по дням и по часам, где, когда можно и следует быть. В расчетах ошибались редко — обычно приходили раньше предположенного срока. Да и сама Уфа взята была раньше назначенного и предположенного дня.

Быстрота движения временами изумляла. Выносливость красноармейцев была поразительна. Бойцы не знали преград и не допускали возможности, что их может что-то остановить. Чишминский бой, когда бросались с бомбами на броневые поезда, и впрямь показал, что преграды красным бойцам поставить трудно. Теперь за Чишму прислали награды,— их надо было распределить по полкам. Но тут получился казус. Один из геройских, особенно отличившихся полков наград не принял. Красноармейцы и командиры, которым награды были присуждены, заявили, что все

они, всем полком одинаково мужественно и честно защищали советскую республику, что нет среди них ни дурных, ни хороших, а трусов и подавно нет, потому что с ними разделались бы свои же ребята. «Мы желаем остаться без всяких наград,— заявили они.— Мы в полку своем будем все одинаковые...» В те времена подобные случаи были очень, очень частым явлением. Такие бывали порывы, такие бывали высокие подъемы, что диву даешься! На дело смотрели как-то особенно просто, непосредственно, совершенно бескорыстно:

«Зачем я буду первым? Пусть буду равным. Чем сосед мой хуже, чем он лучше меня? Если хуже — давай его выправлять, если лучше — выправляй меня, но и только».

В Пугачевском полку еще в 1918 году человек триста бойцов организовали своеобразную «коммуну». У них ничего не было своего: все имущество — одежда, обувь — считалось общим, надевал каждый то, что ему в данный момент более необходимо... Жалованье и все, что получали из дому, опять-таки отдавали в общий котел... В бою эта группа была особенно солидарна и тесно спаяна... Теперь, конечно, вся перебита или изуродована, потому что героизма была полна необыкновенного.

Отказ полка от наград был только наиболее ярким выражением той пренебрежительности к отличиям, которая характерна была для всей дивизии, в том числе и для командиров, для политических работников, больших и малых. По крайней мере в тот же день, собравшись в политотделе, товарищи просили Клычкова, вполне с ними солидарного, отослать в ЦК партии протест относительно системы награждений и выявить на этот вопрос свой принципиальный взгляд. Потолковали и послали следующую бумажку:

«Дорогие товарищи!

Когда одному из геройских полков мы стали выдавать награды, красноармейцы запротестовали, от наград отказались, заявили, что они все одинаково дрались, дерутся и будут драться за

советскую власть, а потому не хотят никаких отличий, желают остаться равными среди всех бойцов своего полка. Эта высшая сознательность заставляет нас, коммунистов, задуматься вообще над системой отличий, которая установилась в Красной Армии. Выбрать лучшего никогда невозможно, так как невозможно установить какой-либо единый критерий ценности. Один проявит богатую инициативу; другой — предусмотрительность, спасшую сотни человеческих жизней; третий — мужество, выдержку, хладнокровие; четвертый — безумную храбрость; пятый — систематической, кропотливой работой способствовал росту боеспособности частей и т. д. и т. д. — да разве все можно пересчитать?

Говоря откровенно, награды часто выдаются сплеча. Есть случаи, когда их получали по жребию. Были случаи драк и кровавых столкновений; на наш взгляд, награды производят действие самое отвратительное и разлагающее. Они родят зависть, даже ненависть между лучшими бойцами, дают пищу всяким подозрениям, сплетням низкого пошиба, разговорам на тему о возврате к прошлому и прочее.

Они же слабых склоняют на унижение, заискивание, лесть, подобострастие. Мы еще не слышали ни от одного награжденного, чтобы он восторгался наградою, чтобы ценил эту награду, глубоко, высоко чтил. Ничего подобного нет. С кем ни приходилось говорить из командиров и рядовых бойцов — все одинаково возмущаются и протестуют против наград. Разумеется, если награды будут присылаться и впредь — они будут распределяться, но если отменят их начисто — поверьте, что никто об этом не пожалеет, а только порадуются и вздохнут облегченно...»

Такое письмо послали в ЦК партии. Ответа никогда никакого не получили. В письме этом много и неверного и наивного: тут нет государственного подхода к вопросу, немножко слащавит от нежности и

приторной доброты, но все это искренне, все это чистосердечно, все это очень, очень в духе, в характере того времени!

Тут же, всего через несколько дней, послали в ЦК другое письмо, за ним было послано и третье, но про него — потом.

Второе письмо — в тех же самых тонах, что и первое: писано оно по поводу новых окладов жалованья. Дело в том, что за время движения на Уфу, несмотря на временные голодовки, в общем положение с питанием было довольно сносное, так как в критических случаях продовольствие можно было достать и у населения. Голодали только тогда, когда подвоз отчеголибо прекращался совершенно, а двигались полки и быстро и по таким местам, где все было разорено, сожжено, уничтожено. Да, тут приходилось туго!

На фронте очень часто случается так, что деньги девать решительно некуда, и они являются сущим бременем тому, у кого нет до них специальной охоты. В те месяцы и годы высочайшего духовного подъема и величайшей моральной чуткости особенно развита была щепетильность — даже у самых больших работников и даже по очень маленьким делам и поводам.

Какой-нибудь комиссар и одевался просто, как рядовой красноармеец, и питался вместе с ними из одного котла, и в походах маялся рука об руку, а умирать в бою всегда торопился первым! Так держали себя лучшие. А случайные прощелыги, своекорыстные, трусливые и непригодные вообще для такой исключительной обстановки — они как-то сами собою вытряхивались из армии: изгонялись, переводились, попросту дезертировали — легально и нелегально. Высочайший авторитет, заслуженный в армии коммунистами, заслужен ими был не даром и не легко. На все труднейшие дела, во все сложнейшие операции первыми шли и посылались чаще всего коммунисты. Мы знаем случаи, когда из пятнадцати — двадцати человек убитых и раненых в какой-нибудь небольшой, но серьезной схватке половина или три четверти было коммунистов.

Так вот, повторяем, курс на «уравнение» был тогда серьезнейшим и даже законнейшим. Очень нередки были случаи, когда командиры и комиссары отказывались от специальных окладов, сдавали излишки в полковую кассу, а сами довольствовались тем же, что получали и рядовые бойцы. «Уравнительное» стремление было настолько сильно, что Федор с Чапаевым однажды довольно серьезно совещались о том, каким путем всю дивизию обязать разговаривать на «ты».

Поводом к таким размышлениям было следующее.

Наиболее ответственная публика почти всегда говорит красноармейцу «ты», и это не потому, что пренебрежение какое-нибудь имеет, а естественно считая совершенно излишней эту светскую «выкающую» галантность в боевой, жестокой и суровой обстановке. Там даже как-то нелепо звучали бы эти «вежливые» разговоры — по крайней мере в ту пору они были очень не к делу. Командиры и комиссары и сами были то рабочие, то крестьяне; они с бойцами обращались так же просто, как всю жизнь привыкли просто обращаться со своими товарищами где-нибудь на заводе или в деревне. Какая там еще салонная вежливость! Они просто — и с ними просто. В полку вообще все были между собой обычно на «ты». А вот повыше полка картина получалась другая: тут красноармейцу так же все говорили «ты», а сам он отвечать в том же духе как будто и «не осмеливался». Так вот на тему об «уравнении» Чапаев с Федором и совещались,— толковали, измышляли, предполагали, но ни до чего окончательно так и не дошли.

Представьте же теперь, что получилось, когда дивизия узнала, что оклады всем повышены... всем, но... не красноармейцам... Первыми запротестовали сами же политические работники. И потому они запротестовали, что действительно не хотели себя отделять от бойцов, и потому, что всякие укоры и подозрения обычно сыпались на них и раньше и обильнее, чем на кого-либо другого. Это им в таких случаях говорили: «Вот смотрите,— на словах-то равенство и братство, а на деле што?»

Эти примитивные и столь обычные вопросы как будто и не должны были бы их смущать, привыкнуть бы к ним пора, но на самом деле обстояло по-иному,— политические работники, сами такие же красноармейцы, как и все остальные, подымались на дыбы и чаще не только успокаивали полки в подобных случаях, а брали на себя обязанность «снестись», заявить «протест» и прочее.

Когда узнали про новые оклады, взволновались все полки. В политический отдел посыпались один за другим протесты. Федору при его поездках по дивизии уши прожужжали насчет этих «бешеных окладов». Только не подумайте, что увеличение и в самом деле было значительное — нет; оно было крохотное, но тогда ведь и всякие крохи казались караваями.

В те дни собралось как раз дивизионное партийное совещание, надо было обсудить коротко и спешно ряд вопросов в связи с приближением к Уфе...

На этом совещании просили Клычкова снова послать протест в ЦК, и Федор, узнав, что и комсостав в большинстве думает так же, послал туда новую грамоту:

> «Дорогие товарищи!
>
> Пишу вам от имени политических работников нашей дивизии и лучшей части командного состава. Мы совершенно недовольны и возмущены теми новыми окладами жалованья, которые нам положены теперь. Оклады бешеные, неимоверно высокие. Куда, на что нам деньги? Кроме разврата, они в нашу среду ничего не внесут. Не говорю уже про удешевление рубля, про быстрый рост цен на продукты и пр., но и сами-то мы приучаемся шиковать, барствовать и бросаться деньгами, или, наоборот, затаивать, копить большие суммы, скопидомничать... А при всем этом красноармейцу не прибавлено ни гроша. Знает ли об этом партия? Не чужие ли люди стравливают нас с красноармейцами? А глухой ропот в Красной

> Армии становится ведь все более и более явственным. Может быть, высокие оклады нужны на Петербургском и других голодных фронтах, но зачем же они нам, когда хлеб и масло здесь почти даром. Делили бы на полосы, что ли. Мы стремились даже к тому, чтобы всем политработникам сравняться жалованьем с красноармейцами, а тут награждают нас новыми прибавками. Волков вы никогда и ничем не накормите, а нас прикармливать не требуется,— нас и голодных не угонишь от борьбы».

Письмо опять-таки отдает больше сердечной теплотой, чем серьезностью, а в некоторых пунктах и сгущено определенно, хотя бы насчет этого самого «шикованья и барствования». Ну, какой там шик, на фронте-то, какое барство в походах да боях!

Только намеки чуточные могли быть на некоторое улучшение, и «словечки» эти надо понимать, конечно, только как «красные словечки». Потом насчет ЦК. Почему, в самом деле, запрос наладили прямо туда, а не в армию, не во фронтовые учреждения, не в центральные органы Красной Армии? Да потому, что вопрос этот считали, разумеется, всеобщим, а не только дивизионным или армейским. Зато в ЦК вера была глубочайшая, какая-то благоговейная, а успеху своего обращения верили настолько, что даже ответа ждали немедленного...

О нашей наивности говорила, между прочим, и приписка к письму в ЦК, производившая впечатление приклеенной ни к селу ни к городу.

В этой приписке шла речь о бедности ресурсов по части постановки в армии спектаклей и концертов. Заканчивалась она словами:

> «Необходимо надавить куда следует, *родить* сборники свежих пьес, благородных песен и истинно художественных произведений прозой и стихами. Если сборники уже изданы (мы их не видим) — гоните их, товарищи, срочно на позицию!»

Здесь уж не только вера во всемогущество ЦК, но и полная безнадежность по части своих военных «главков». Наивные! Они тогда у себя на позиции и не знали, что нельзя приказать «родить» сборники,— их надо выносить, им надо дать созреть и родиться нормальным порядком, в свои сроки. А между тем ждать нормального «рождения» сборников не было времени, не было терпения. И потому, не видя исхода, тыкались по всякому делу куда придется. В работе часто шел разнобой, пререкания, ненужное вмешательство, ненужные обиды, угрозы, репрессии.

Взять хотя бы, например, «женский вопрос» в Красной Армии. Чего-чего по этому вопросу только не говорилось, не писалось, не приказывалось, а на деле что выходило? На деле всегда получалось одно только «по усмотрению». Были распоряжения — не всегда гласные и официальные — убрать из армии всех жен и женщин вообще. И этот «очистительный» порыв имел под собою массу серьезных оснований: жены были не только у командиров и комиссаров — они целыми стаями носились за красноармейскими полками, часто с домашним скарбом, иные с ребятами... И все это огромное «тыловое войско» грузилось на казенные повозки! Подумайте только, какая уйма крестьянских подвод занята была постоянно самой непроизводительнейшею работой! Затем и такие были соображения: как водится, из-за женщин, по разным поводам, случались скандальчики и самые настоящие скандалы,— это в армии дело совершенно неизбежное. Да как же иначе, раз она, армия, целые месяцы и годы вынуждена жить особенной, замкнутой жизнью, оторванной от многого абсолютно необходимого.

Затем женщина, и в частности жена, бывала частенько причиною тому, что муж вместо вопросов военных немало времени уделял другим, для боевой походной жизни частным и сторонним вопросам. Именно среди женщин очень часто попадались шпионки и разведчицы. Словом, много было причин к тому, чтобы издавать о женщинах особые приказы и распоряжения. Но какое же тут получалось скан-

дальное положение, когда начинали приказания проводить в жизнь. Первым делом на дыбы поднимались полки, особенно после того, как узнают, что в дивизии все женщины сохранились налицо. Кое-как с ними улаживали. Брались за чистку органов, но тут убрать женщин — совсем не то же, что от полка отделить несколько сотен красноармейских жен. Как вы уберете нужных работниц, да притом же действительно никем не заменимых? Как и почему уберете из полков тех женщин-санитарок, тех героинь-красноармеек, которые рядовыми бойцами сражались и гибли в атаках? Зачем уберете политических работниц, коммунисток, сестер милосердия, фельдшериц, которых так мало, которые так нужны? А ведь приказы отдавались частенько безоговорочно, понимались доподлинно и проводились куда как прямолинейно!

К Федору прибежали как-то запыхавшиеся ткачихи-красноармейки и просили вступиться, так как их убирают из полка. Они ему наскоро рассказали, что в их среде было четыре «позорных», но они их сами исключили из своей среды и спровадили из полка. Пришлось Клычкову самолично ехать в полк и разъяснить там кому следует, чтобы их не трогали, не исключали.

Можно себе представить, насколько вопрос этот являлся запутанным и неясным, когда сами руководители дивизии не могли в нем разобраться как следует!

Бригада Еланя Чишму взяла стремительным, коротким ударом, выхватив ее у бригады Попова, которой операцию эту поручалось провести. Попов с полками шел мимо озера Лели-Куль, все время вверх по Дёме-реке, и, когда пала Чишма, он был совсем неподалеку.

На фронте часто бывает, когда небольшой успех, отнятый у другого, является началом и причиной серьезной, большой катастрофы. Зарвется какой-нибудь командир, погонится за эффектом неожиданного

сильного удара, отхватит часть задачи, порученной соседу,— и перепутает своею победой все карты. Лучше бы ее и не было, этой победы! Победа не всегда является успехом, она может дать и худые результаты.

Когда затевается, положим, глубокий обход противника флангами, окружение и захват его целиком, в это время какая-нибудь лихая голова вдруг ударяет неприятеля в лоб, спугивает, перепутывает весь план действий и своей частичной «победой» наносит безусловный вред общему, более крупному и серьезному замыслу. Так могло получиться и теперь, когда Елань влетел в Чишму, а в тылу у него, на берегу Дёмы, остались неприятельские полки. Они его могли потрепать ощутительно, если бы вовремя со своей бригадой не подоспел Попов. Взаимопомощь в Чапаевской дивизии была развита до высокой степени, и каждая часть настойчиво и быстро помогала другой части, попавшей в трудное положение. Не всегда и не везде так бывало, наблюдалось и обратное. Результаты неизменно от этого были тяжкие.

Попов, как только уяснил обстановку, немедленно вступил с неприятелем в бой, отвлек на себя все его внимание и, пользуясь замешательством в его рядах, жал и жал к реке. Артиллерийская канонада была настолько жарка, что целых три орудия выбыли из строя. Неприятеля угнали за Дёму. Уходя, он взорвал все мосты, на возврат, видимо, не рассчитывая, и сломя голову мчался к Белой [1]. Тут остановок не было серьезных,— Чишма была последним пунктом, где колчаковские полки на что-то рассчитывали до Уфы, а дальше настроение у них, видимо, переменилось глубоко и невозвратно,— дальше был только организованный отход, без серьезных попыток на этом берегу дать начало «перелому», про который там еще не переставали говорить и на который надеялись так же, как надеялось когда-то под Бузулуком и Бугурусланом красное командование.

---

[1] Река, на которой стоит Уфа.

XIII. Уфа

Неприятель ушел за реку, взорвал все переправы и ощетинился на высоком уфимском берегу жерлами орудий, пулеметными глотками, штыками дивизий и корпусов. Силы там сосредоточились большие: с Уфимским районом Колчак расставаться не хотел, и с выигрышных высот правого берега Белой он безраздельно командовал над подступавшими с разных сторон красными дивизиями.

Уфу предполагалось брать в обхват. Дивизиям правого фланга была дана задача выйти в неприятельский тыл, к заводу Архангельскому, но затруднительность движения им не позволила переправить на Белую еще ни одного бойца к тому моменту, когда другие уже вплотную подступили к берегу.

Против Уфы выросла Чапаевская дивизия. Она своим правым флангом, бригадой Попова, застыла над огромным мостом, идущим высоко над рекой прямо в город, левый же фланг отскочил до Красного Яра, небольшого селеньица верст на двадцать пять вниз по Белой,— сюда подошли бригады Шмарина и Еланя.

Когда у Красного Яра переправятся части и пойдут на город, поповская бригада должна была поддержать их, переправившись у моста. Он был еще цел — огромный чугунный мост, но никто не верил, что неприятель оставит его нетронутым; предполагали, что мост непременно должен быть минирован, и поэтому переправляться по нему не следует. Идущий с высокой насыпи по мосту железнодорожный путь был местами разобран, а посередине втиснулись несколько вагонов, груженных щебнем и разным мусором. Переправляться было здесь пока совершенно не на чем,— это уже впоследствии раздобыли откуда-то бойцы несколько лодок, приволокли бревна и доски и увязали их в жиденькие подвижные плоты.

Главный удар намечался все-таки со стороны Красного Яра. Вынеслась на берег кавалерия Вихоря. Недалеко от Красного Яра по Белой преспокойно тянулся буксир и два небольших пароходика. Публика

была самая разнообразная, а больше всего, конечно, военных,— из них десятка три офицеров. Непонятна, удивительна была эта беспечность,— словно и не думали люди о возможности налета с берега или же и вовсе не знали того, что так близко красные полки. Кавалеристы рты разинули, когда увидели на палубе «господ» в погонах. Офицеры сразу тоже не разобрались — за своих, верно, приняли.

— Стой! — прокомандовали с берега.

— Зачем вставать? — крикнули и оттуда.

— Остановите пароходы, огонь откроем!.. Причаливай к берегу! — кричали кавалеристы.

Но там поняли, в чем дело, попытались ускорить ход, думали прокатить к болотам, куда по берегу кавалерии не дойти... Лишь это заметили кавалеристы — грозно заревели:

— Останови, останови!!!

Пароходы продолжали идти. С палубы раздались первые выстрелы. Кавалерия отвечала. Завязался неравный бой. Подскочили с пулеметом, зататакали. На пароходах взвыли, стремглав слетели вниз, прятались где могли. Пароходы причаливали. Офицеры не хотели сдаться живыми — почти все перестрелялись, бросались в волны... Эти пароходики были сущим кладом,— они сыграли колоссальную роль в деле переправы через Белую красных полков и сразу облегчили то затруднительное положение, с которым столкнулось красное командование. Пароходики припрятали, не давали неприятелю узнать, что в руки попала такая драгоценность.

За два дня до наступления Фрунзе, Чапаев и Федор приехали туда на автомобиле и сейчас же созвали совещание командиров и комиссаров, чтобы выяснить все обстоятельства и особенности наличной обстановки, учесть и взвесить все возможности, еще и еще раз подсчитать свои силы и шансы на успех.

У Фрунзе есть одна отличная черта, которая прежде всего ему же самому и помогает распутывать самые, казалось бы, запутанные и сложные дела: он созывает на товарищеское совещание всех заинтересованных, ставит им ребром самые главные вопросы,

отбрасывая на время второстепенные, сталкивает интересы, вызывает прения, направляет их в надлежащее русло. Когда окончена беседа, самому Фрунзе остается подсчитать только обнаруженные шансы, прикинуть, координировать и сделать неизбежный вывод. Прием этот, казалось бы, очень прост, но удается он не каждому,— во всяком случае, сам Фрунзе владел им в совершенстве.

Когда теперь в Красном Яру собрались вожди дивизии, надо было учитывать, помимо техники и количества бойцов, еще и качество их, касаясь именно этой исключительной обстановки. Выбор пал на рабочий Иваново-Вознесенский полк. Этот выбор был сделан не случайно. Полки бригады Еланя покрыли себя бессмертною победной славой, они были в отношении боевом на одном из первых мест, но для *данного момента* надо было остановиться на полке высокосознательных красных ткачей — здесь одной беззаветной удали могло оказаться недостаточно.

Совещание окончилось. Вскочили на коней, поскакали к берегу, откуда должна была начаться переправа. Коней оставили за полверсты, а сами пешком пошли по песчаному откосу, посматривая на тот берег, ожидая, что вот-вот поднимется пальба. Но было тихо. Забрались на косогор и оттуда в бинокль рассматривали противоположный берег, облюбовали место, окончательно и точно договорились о деталях переправы и уехали обратно. Вскоре к месту ожидаемой переправы пригнали два пароходика; третий стоял на мели. Стали нагружать топливо, сколачивать подмостки.

Задержались еще на целые сутки. Уж близки решительные часы... Условились так, что переправою у Яра будет руководить сам Чапаев, а Федор поедет к мосту, где раскинулась поповская бригада, и будет направлять эту операцию вплоть до вступления в город. Разъехались.

Уж с вечера на берегу у Красного Яра царило необычайное оживление. Но и тишина была для таких случаев необычайная. Люди шныряли, как тени,

сгруппировывались, таяли и пропадали, собирались снова и снова таяли,— это готовился к переправе Иваново-Вознесенский полк. На пароходики набивали народу столько, что дальше некуда. Одних отвозили — приезжали за другими, снова отвозили — и снова возвращались. Так во тьме, в тишине перебросили весь полк. Уж давно миновала полночь, близился рассвет.

В это время батареи из Красного Яра открыли огонь. Били по ближайшим неприятельским окопам, замыкавшим ту петлю, что в этом месте делает река. Ударило разом несколько десятков орудий. Пристрелка взята была раньше, и результаты сказались быстро. Под таким огнем немыслимо было оставаться в окопах,— неприятель дрогнул, стал в беспорядке перебегать на следующие линии. Как только об этом донесли разведчики, артиллерия стала смолкать, а подошедшие иваново-вознесенцы пошли в наступление — и погнали, погнали вплоть до поселка Новые Турбаслы... Неприятель в панике отступал, не будучи в состоянии закрепиться где-нибудь по пути. На плечах бегущих вступили в Турбаслы иваново-вознесенцы... Здесь остановились,— надо было ждать, пока переправится хоть какая-нибудь подмога, зарываться одному полку было крайне опасно. Закрепились в поселке. А пугачевцы тем временем наступали по берегу к Александровке...

Грузились разинцы и домашкинцы,— они должны были немедленно двигаться на подмогу ушедшим полкам. Переправились четыре броневика, но из них три разом перекувырнулись и застряли на шоссе; их потом поднимали кавалеристы и поставили на ноги, пустив в дело...

Тем временем неприятель, отброшенный кверху, оправился и повел наступление на Иваново-Вознесенский полк. Было уже часов семь-восемь утра. Пока стояли в Турбаслах и отстреливались от демонстративных атак, пока гнали сюда, за поселок, неприятеля — ивановцы расстреляли все патроны и теперь оставались почти с пустыми руками, без

надежды на скорый подвоз, помня приказ Еланя, командовавшего здесь всею заречной группой:

«Не отступать, помнить, что в резерве только штык!»

Да, у них, у ткачей, теперь, кроме штыка, ничего не оставалось. И вот, когда вместо демонстративных атак неприятель повел настоящее широкое наступление,— дрогнули цепи, не выдержали бойцы, попятились. Теперь полком командовал наш старый знакомый — Буров: его из комиссаров перевели сюда. Комиссаром у него — Никита Лопарь. Они скачут по флангам, кричат, чтобы остановились отступающие, быстро-быстро объясняют, что бежать все равно некуда — позади река, перевозить нельзя, что надо встать, закрепиться, надо принять атаку. И дрогнувшие было бойцы задержались, перестали отступать. В это время к цепям подскакали несколько всадников, они поспрыгивали на землю. Это — Фрунзе, с ним начальник политотдела армии Траллин, несколько близких людей... Он с винтовкой забежал вперед: «Ура! Ура! Товарищи! Вперед!!!» Все те, что были близко, его узнали. С быстротой молнии весть промчалась по цепям. Бойцов охватил энтузиазм, они с бешенством бросились вперед. Момент был исключительный! Редко-редко стреляли, патронов было мало, неслись со штыками на лавины наступающего неприятеля. И так велика сила героического подъема, что дрогнули теперь цепи врага, повернулись, побежали... Елань своих ординарцев послал быть неотлучными около Фрунзе, наказал:

«Если убьют, во что бы то ни стало вынести из боя и сюда на переправу, к пароходу!»

На повозках уже гнали от берега патроны; их подносили ползком, как только цепи полегли за Турбаслами. Когда помчались в атаку, прямо в грудь пуля сбила Траллина; его подхватили и под руки отвели с поля боя. Теперь на том месте, где была крошечная смертельная ранка, горит у него орден Красного Знамени.

Перелом был совершен, положение восстановлено. Фрунзе оставил полк и поехал с Еланем к другому

полку, к пугачевцам. Взбирались на холмики, на пригорки, осматривали местность, совещались, как лучше развивать операцию, вновь и вновь разучивали карту, всматривались пристально в каждую точку, сравнивали с тем, что видели здесь на самом деле. Пугачи продолжали идти по берегу. Стали подходить разинцы и батальоны Домашкинского полка; они выравнивались вдоль шоссе. В полдень был отдан приказ об общем дальнейшем наступлении. Пугачевцы должны были двигаться дальше по берегу, разинцы и батальоны Домашкинского — в центре, а с крайнего левого фланга — иваново-вознесенцы; они уже заняли к тому времени Старые Турбаслы и стали там на передышку. Как раз в это время показались колонны неприятельских полков; они с севера нависали ударом мимо иваново-вознесенцев — в центр группы, готовой к наступлению.

— Это, может быть, стада,— предполагали иные.

— Какие стада, когда штыки сверкают! — замечали им.

Видно ли было сверканье штыков — сказать нельзя, но уж ни у кого не было сомнения, что идут неприятельские полки, что от этого боя зависеть будет очень многое. Фрунзе хотел участвовать и в этой схватке, но Елань упросил, чтобы он ехал к переправе и ускорил переброску полков другой дивизии. Согласились, что это будет лучше, и Фрунзе поскакал к переправе. Скоро под ним убило лошадь и самого жестоко контузило разорвавшимся поблизости снарядом. Но, и будучи контужен, он не оставил там работы, на берегу,— подгонял, помогал советом, переправил туда часть артиллерии.

Прежде всех подвел к Иваново-Вознесенскому полку батарею Хребтов. Он встал позади цепей и в первом же натиске неприятельском, когда застыли цепи в состоянии дикого, окостенелого выжидания, открыл огонь. И бойцы, заслышав свою батарею, вздрогнули весело, пошли вперед...

Наступление развить не удалось,— на разинцев и домашкинские батальоны навалилась грудью вся та огромная масса, что двигалась с севера. Слишком

неравные были силы, слишком трудно было удержать и перебороть этот натиск,— разинцы дрогнули, отступили. В одном батальоне произошло замешательство,— там было мало старых бойцов, больше свежей, непривыкшей молодежи; этот батальон сорвался с места и помчался к берегу, за ним кинулись отдельные бойцы других батальонов. Остальные медленно отступали, отбиваясь от наседавшего неприятеля. Иваново-вознесенцы задержались под Турбаслами. Теперь часть неприятельских сил обратилась на них. Елань подскакал к Хребтову.

— Разинцы, Хребтов, отступают, надо помогать! Поверни орудия, бей правее по тем частям, что преследуют отступающих!..

И Хребтов повел обстрел. Верный глаз, смекалка и мастерство испытанного, закаленного артиллериста сделали чудо: снаряд за снарядом, снаряд за снарядом — и в самую гущу, в самое сердце неприятельских колонн... Там растерялись, остановили преследование, задержались на месте, понемногу стали отступать, а огонь все крепчал, снаряды все чаще, все так же верно ложились и косили неприятельские ряды. Наступление было остановлено. Разинцы встрепенулись, ободрились. В это время Чапаеву на том берегу помогал при переправе Михайлов. Когда он увидал, что к берегу сбежалась масса красноармейцев, понял, что дело неладно, побежал к Чапаеву, хотел доложить, но тот уж все знал — только что по телефону обо всем переговорил с Еланем.

Только заикнулся Михайлов рассказать ему, что видел, а Чапаев уж приказывает:

— Михайлов, слушай! Только сейчас погрузили мы батальон еще... Туда нужны силы... Этого мало... Надо отогнать этих с берега... Понял? От них — одна гибель. Поезжай, возьми их обратно, за собой. Понял?

— Так точно,— и Михайлов уж на том берегу.

Разговор у него короток, да и нет времени разговаривать. Иных бегущих плеткой, иных револьвером задержав, остановил, крикнул:

— Не смей бежать! Куда, куда бежите? Остановись! Одно спасенье — идти вперед! За мной, чтобы ни

слова! Кто попытается бежать — пулю в голову! Сосед, так его и стреляй! За мной, товарищи, вперед!!!

Эти простые и так нужные в ту минуту слова разогнали панику. Бежавшие остановились, перестали метаться по берегу, сгрудились, смотрели на Михайлова и недоуменно, и робко, и с надеждой:

«А не ты ли и вправду спасешь нас, грозный командир?»

Да, он их спас. В эти мгновенья иначе как плетью и пулей действовать было нельзя. Он взял их, повел за собою. Построил как надо, толпу снова превратил в организованное войско. И теперь, когда подходил с ними навстречу отступавшим двум разинским батальонам и домашкинцам, те вздрогнули радостью, закричали:

— Пополнение идет, пополнение!

В такие минуты ошибку рассеять было бы преступлением,— их так и уверили, что тут показалось действительно пополнение. Батальоны повернулись, пошли в наступление... Но победы здесь не было. Только-только удалось неприятеля отогнать, и, когда отогнали, главные силы его загнали на Иваново-Вознесенский полк. Он очутился под тяжким ударом, но выдержал одну за другою четыре атаки нескольких неприятельских полков. Здесь героизм и стойкость были проявлены необыкновенные. Выстояли, выдержали, не отступили, пока не подошли на помощь свои полки и облегчили многотрудную обстановку...

Ушедших по берегу пугачевцев, чтобы не дать им оторваться, надо было оттянуть обратно. Когда приказание было отдано и они стали отходить — молчавший и, видимо, завлекавший их неприятель открыл одну за другою ряд настойчивых атак. Пугачевцы отступали с потерями... Схватывались, отбивались, но в контратаку не ходили — торопились скорее успеть на линию своих полков.

И когда все части снова были оттянуты к шоссе, сюда пришло известие о том, что Чапаев ранен в голову, что Еланю поручается командование дивизией... Тяжелая весть облетела живо полки, нагнав на всех

тяжелое уныние... Вот и не видели бойцы здесь, в бою, Чапаева, а знали, что тут он, что все эти атаки, наступления и отходы, что все это не мимо него совершается. И как бы трудно ни было положение, верили они, что выход будет, что трудное положение минует, что такие командиры, как Чапаев и Елань, не заведут на гибель.

Узнав про чапаевское ранение, все как-то сделались будто тише и грустней... Наступление к тому времени уже остановилось, сумерки оборвали перестрелку. Затихло все. Над полками тишина. Во все концы стоят сторожевые охранения, всюду высланы дозоры. Полки отдыхают. Наутро, перед зарей, назначено общее наступление.

Находясь при переправе, Чапаев каждые десять минут сносился телефоном то с Еланем, то с командирами полков. Связь организована была на славу,— без такой связи операция проходила бы менее успешно. Чапаев все время и всегда точно знал обстановку, складывавшуюся за рекой. И когда там начинали волноваться из-за недостатка снарядов или патронов, Чапаев уже знал эту нужду и первым же пароходом отсылал необходимое. Неизменно справлялся о настроении полков, об активности неприятеля, силе его сопротивления, о примерном количестве артиллерии, о том, много ли офицеров, что за состав войска вообще,— все его занимало, все он взвешивал, все учитывал. Он нити движения ежеминутно держал в своих руках, и короткие советы его по телефону, распоряжения его, что посылал с гонцами,— все это показывало, как он отчетливо представлял себе обстановку в каждый отдельный момент. Смутили его на время неприятельские аэропланы, но и тут не растерянность, а злоба охватила: у наших летчиков не было бензина, они не могли подняться навстречу неприятельским. Громымолнии помочь здесь не могли, так свои аппараты и остались бездействовать. Пришлось всю работу на берегу проводить под разрывами аэропланных бомб, под пулеметным обстрелом с аэропланов... Но делать было

нечего... Скоро орудийным огнем заставили неприятельских летчиков подняться выше, но улететь они не улетели. Этот обстрел с аэропланов нанес немало вреда. Во время этой стрельбы ранило и Чапаева; пуля пробила ему голову, но застряла в кости... Ее вынимали — и шесть раз срывалась. Сидел. Молчал. Без звука переносил мученье. Забинтовали, увезли Чапаева в Авдонь — местечко верстах в двадцати от Уфы. Это было к вечеру 8-го, а на утро 9-го было назначено наступление...

Упорная работа на берегу, исключительная заслуга артиллеристов, отличная постановка связи, быстрая, энергичная переброска на пароходах — все это говорило о той слаженности, о той организованности и дружной настойчивости, с которою вся операция проводилась. Здесь не было заслуги отдельного лица, и здесь выявилась коллективная воля к победе. Она просвечивала в каждом распоряжении, в каждом исполнении, в каждом отдельном шаге и действии командира, комиссара, рядового бойца...

Поздно вечером к Еланю привели перебежчика-рабочего. Он уверял, что утром рано пойдут в атаку два офицерских батальона и Каппелевский полк; они пойдут на пугачевцев, чтобы, пробив здесь брешь, отрезать остальные полки и, окружив, уничтожить при поддержке других своих частей, остановившихся севернее. Рабочий клялся, что сам он с Уфимского завода, что сочувствует советской власти и перебежал, рискуя жизнью, исключительно с намерением предупредить своих красных товарищей о грозящей опасности. Сведения получил он совершенно случайно, работая в том доме, где происходило совещание. Он клялся, что говорит правду, и чем угодно готов был ее подтвердить. И верили ему — и не верили. На всякий случай свое наступление Елань отсрочил на целый час. Усилил дозоры. Приготовились встретить десятками пулеметов. Рабочего взяли под стражу, объявили ему, что будет расстрелян, если только сведения окажутся ложными и никакого наступления белых не произойдет...

Мучительно долго тянулась ночь. В эту ночь из командиров почти никто не спал, несмотря на крайнюю усталость за минувший страдный день. Все были оповещены о том, что рассказал рабочий. Все готовы были встретить врага. И вот подошло время...

Черными колоннами, тихо-тихо, без человеческого голоса, без лязга оружия шли в наступление офицерские батальоны с Каппелевским полком... Они раскинулись по полю и охватывали разом огромную площадь. Была, видимо, мысль — молча подойти вплотную к измученным, сонным цепям и внезапным ударом переколоть, перестрелять, поднять панику, уничтожить...

Эта встреча была ужасна... Батальоны подпустили вплотную, и разом, по команде. рявкнули десятки готовых пулеметов... Заработали, закосили... Положили ряды за рядами, уничтожали... Повскакали бойцы из окопов, маленьких ямок, рванулись вперед. Цепями лежали скошенные офицерские батальоны, мчались в панике каппелевцы — их преследовали несколько верст... Этот неожиданный успех окрылил полки самыми радужными надеждами.

Рабочего из-под стражи с почестями отправили в дивизию, из дивизии, кажется, в армию...

Про всю эту историю Елань потом подробно рассказывал Федору (тот был у моста с бригадой Попова); рассказывал и о том, что дальше, после такого успеха, части шли победоносно и безостановочно; вечером 9-го были уже под самой Уфой.

Разъехавшись с Чапаевым, Федор с несколькими товарищами поехал в ту сторону, где расположена была бригада Попова. Песчаную Уфимскую гору со стороны Авдоня было видно еще верст за двадцать; по скату точками чернели строения, высоким столбом торчала каланча, горели на солнце золотые макушки церквей. Проскакали быстро, выехали на широкую поляну. Сюда неприятель доставал уже артиллерийским обстрелом, поляна была перед ним как на ладони, и как только он замечал здесь движение — откры-

вал огонь. Гурьбою не поехали, разбились гуськом, друг от друга шагов на семьдесят, и один за одним быстро-быстро поскакали к штабу бригады. Переехали полотно железной дороги; здесь валялось по бокам и стояло на рельсах много сожженных, разбитых, поломанных вагонов. Била откуда-то из-за пригорка артиллерия по Уфе, за лесом татакали говорливые пулеметы.

Приехали к Попову. Он остановился на крошечном полустанке верстах в двух-трех от берега. Происходило как раз совещание командиров — выискивали лучшие способы переправиться на тот берег... Порешили переправу ставить в полнейшую зависимость от продвижения двух других бригад и не поддаваться ни на какие соблазны — броситься, положим, через мост, относительно которого почти общее было мнение, что он подготовлен к взрыву. Потолковали о средствах переправы,— их не было. Принялись за поиски этих средств во всех направлениях и кой-что действительно разыскали.

На самом берегу Белой стоят две будки-избушки; там поставили телеграф, провели телефонные провода. В траве, на берегу, по обе стороны от моста залегли полки. Сзади них, за леском, остановились батареи. В эту же ночь решили прощупать неприятеля, узнать окончательно про мост: действительно, мол, минирован или нет (в бригаду поступили сведения, что уфимские рабочие не дают белым войскам ни взрывать этот мост, ни готовить его ко взрыву). В одиннадцать часов, когда будет совсем темно, должен прибыть головной отряд рабочих; они вызываются чинить мост, загроможденный вагонами, и поправить разобранный путь... Вот уже одиннадцать, двенадцать, час... Отряда все нет! Он явился только в третьем, когда начинали уже редеть предрассветные сумерки... И лишь только стало известно, что близко отряд, артиллерия из-за леска стала ему «расчищать» дорогу к работе,— батареи разом открыли огонь по берегу, пытаясь выбить неприятеля из первой линии окопов, навести панику, отвлечь внимание от рабочего отряда. Но в расчетах ошиблись. Неприятель на огонь артиллерии ответил

еще более частым, жарким огнем, и, как только стукнул по рельсам первый молоток, с берега заухали тяжелые орудия. Прицел у врага великолепный, выверенный до точности,— видно было, что в ожидании красных гостей белые войска практиковались здесь изрядно и серьезно готовились к встрече. Первые два снаряда упали возле переднего каменного столба, как бы только нащупывая нужное место и указывая огненными вехами, где должен упасть третий. Указано было точно: третий снаряд ухнулся как раз на шпалы первого пролета. С грохотом полопались рельсы, во все стороны полетели осколки шпал. Рабочие шарахнулись назад... им так и не удалось пробраться к темневшим впереди вагонам... Лишь только успели они отскочить, как началась торопливая меткая стрельба по цели. Снаряды падали все время на мосту, как раз на шпалы и рельсы, и быстро изуродовали путь. Отряд оттянули за будку, потом его снова вернули, и работа хотя и с перерывами, но подвигалась.

Когда стрельба перенеслась за мост, Федор, Зоя Павловна, две санитарки да человек двадцать бойцов забрались по лестнице, приткнулись на ступеньках, расположились по склону насыпи... Вдруг над головами ахнул разрыв, и все они кубарем покатились вниз. На этот раз счастливо — ранило только двоих; санитарки их тут же перевязали, но ребята не ушли, остались на месте. Когда вскочили с земли, кинулись инстинктивно к будке и спрятались за нее, прижавшись к стене... Снаряды визжали и храпели, стонали, метались над головой, а когда рвалась шрапнель, осколки засыпали избушку, стучали по крыше, то ее пробивали, то соскакивали оттуда и шлепались на землю у самых ног. Первое время будто окостенели, стояли полумертвые, в молчании. Свои снаряды тоже мчались из-за опушки над самой головою, и все жадно слушали их пронзительный визг и свист, а еще более чутко вслушивались, когда летел неприятельский снаряд.

«Сюда или дальше?» — сверлила каждого жуткая мысль.

А визг приближается, усиливается, переходит в страшный, пронзительный скрежет... Будто какие-то

огромные чугунные пластины трут одну о другую все быстрее, все быстрее, и они верезжат и стонут и скрежещут своим невыносимым чугунным скрежетом...

«Над нами *этот* или пролетит?»

И вдруг визг уж совсем над головой. Вот он пронизал мозги, застыл в ушах, пронесся ураганом по мышцам, по крови, по нервам, заставил дрожать их частой мелкой дрожью. И все невольным быстрым движением втягивают в плечи головы, сгибаются на стороны, еще теснее жмутся друг к другу, лица закрывают руками, как будто ладони спасут от раскаленного стремительного снаряда... Оглушительный удар... Все вздрогнут и так в окостенении, не дернув ни одним членом, стоят целую минуту, как бы ожидая, что за разрывом последует что-то еще и даже более страшное, чем этот ужасный удар. По крыше бьются осколки; они шуршат в листве деревьев, ломают сучья, шлепаются на землю, заметая быстрые, короткие вихри. Секунды затаенного дыхания, гробового молчания, а потом кто-нибудь двинется и все еще нетвердым голосом пошутит:

— Пронесло... Закуривай, ребята...

Удивительное дело, но после этих ужасных мгновений разговор возобновляется почти всегда шуткой и почти никогда ничем другим. Потом замолкнут и снова стоят, ждут новых разрывов. Так целые долгие часы, до рассвета... Несколько раз прибегал Попов из соседней избушки, забегал и к нему туда Федор, а потом отправлялся снова на дежурство... Все-таки не оставляла дерзкая мысль: если удастся определить, что мост совершенно цел,— ворваться в город хотя бы одним полком и одною внезапностью налета навести панику, помочь идущим от Красного Яра бригадам...

Как только рассвело, пальба прекратилась... Перебрались на полустанок, где расположился штаб. Измученные бессонной ночью, быстро позасыпали. А в сумерки — снова к мосту и снова стали нащупывать: цел или нет? Разведчики дошли уже до половины, но их заметили, обстреляли пулеметным огнем... Федор с комиссаром полка тоже пошел к вагонам на мосту. Продвинулись они шагов на двести и запели «Интер-

национал»... По-видимому, странное чувство испытывали колчаковские солдаты — они не стреляли. Федор что было мочи крикнул с моста:

— Товарищи!..

И как только крикнул, снова заработали пулеметы. Припали на рельсы и поползли... Обошлось благополучно. Они добрались до последнего пролета, поднялись по лестнице, спустились к избушке. Пошли по берегу, где залегли цепи... По траве во все стороны разбросались бойцы, иные отползали в лес, там покуривали, собирались небольшими кучками; другие на животе маршировали к воде, наполняли котелки, возвращались и опоражнивали один за другим, попивая вприкуску с хлебом, передавая друг другу. Их можно было видеть, как то и дело спускались вниз по берегу, пряча голову в острой и жесткой осоке, перед самым носом покачивая полным до краев котелком.

Эта ночь была такая же, как накануне. Пришли сведения, что две бригады уже продвинулись на том берегу от Красного Яра, значит и здесь наступает что-то решительное. Одна за другой пытаются разведки проникнуть на тот берег или хотя бы к вагонам, застопорившим путь, но неприятель зорко охраняет все щели, все дыры, где только можно было бы проникнуть... Ночь темная-темная... Там, на берегу, лишь слабые огни — ничего не видно, что делается у врага. Около двух часов утихла артиллерия... Тишина воцарилась необыкновенная... Чуть забрезжил рассвет...

И вдруг со страшным грохотом взорвался мост, полетели в воду чугунные гиганты, яркое пламя заиграло над волнами... Стало светло, как днем...

Все стоявшие у избушки повскакивали на насыпь и всматривались через реку,— так хотелось узнать, что же там творится у врага? И почему именно теперь, в этот час, он уничтожил чугунного великана? Значит, что-то неладно... Может быть, уж отступают?.. Может быть, и бригады уж близко подошли к Уфе?..

Всеми овладело лихорадочное нетерпение... Шли часы. И лишь стало известно, что бригады в самом деле идут к городу, была отдана команда переправлять-

ся. Появились откуда-то лодки, повытащили из травы и спустили на воду маленькие связанные плоты, побросали бревна, оседлали их и поплыли...

Неприятель открыл частую беспорядочную пальбу. Видно было, что он крайне обеспокоен, а может быть, и в панике. Артиллерия усилила огонь, била по прибрежным неприятельским окопам... По одному, по двое, маленькими группами все плыли да плыли под огнем красноармейцы, доплывали, выскакивали, тут же в песке нарывали поспешно бугорки земли, ложились, прятали за них головы, стреляли сами...

Прижигало крепко полуденное солнце. Смертная жара. Пот ручьями. Жажда.

И все ширится, сгущается, растет красная цепь. Все настойчивей огонь и все слабей, беспомощней сопротивление. Враг деморализован.

«Ура!!!» Поднялись и побежали... Первую линию окопов освободили, выбили одних, захватили других, снова залегли... И тут же с ними лежали пленные — обезоруженные, растерявшиеся, полные смертельного испуга. Так, перебежка за перебежкой, все дальше от берега, все глубже в город...

С разных концов входили в улицы красные войска... Всюду огромные толпы рабочих, неистовыми криками выражают они свою бурную радость. Тут и восторги, приветствия доблестным полкам, и смех, и радостные неудержимые слезы... Подбегают к красноармейцам, хватают их за гимнастерки,— чужих, но таких дорогих и близких,— похлопывают дружески, крепко пожимают руки... Картины непередаваемой силы!

Засаленные блузы шпалерами выклеили улицы, они впереди толпы; все это счастье победы — главным образом счастье для них... Но сзади блуз и рубах по тротуарам, по переулкам, на заборах, в открытых окнах домов, на крышах, на деревьях, на столбах — здесь все граждане освобожденной Уфы, и они рады встретить Красную Армию. Те, которые были крепко не рады, ушли вон за Колчаком. Полками, полками, полками проходят красные войска. Стройно, гордо поблескивая штыками, идут спокойные, полные сознания своей непобедимой силы. Не забудешь никогда это мраморное,

величавое спокойствие, что застыло в их запыленных, измученных лицах!

Сейчас же, немедленно и прежде всего — к тюрьме: остался ли хоть один? Неужели расстреляли до последнего? Распахиваются со скрежетом на ржавых петлях тяжелые тюремные двери... Бегут по коридорам... к камерам, к одиночкам... Вот один, другой, третий. Скорее, товарищи, скорее вон из тюрьмы. Потрясающие сцены! Заключенные бросаются на шею своим освободителям, наиболее слабые и замученные не выдерживают, разражаются истерическими рыданиями... Здесь так же, как и за стенами тюрьмы,— и смех и слезы радости. А мрачный тюремный колорит придает свиданию какую-то особенную, глубокую, символическую и таинственную силу...

Убегая от красных полков, не успели белые генералы расстрелять остатки своих пленников... Но только остатки... Уфимские темные ночи да белые жандармы Колчака — только они могут рассказать, где наши товарищи, которых угрюмыми партиями невозвратно и неизвестно куда уводили каждую ночь. Оставшиеся в живых рассказывали потом, какая это была мучительная пытка — жить в чаду поганых издевательств, бессовестного и тупого глумления офицерских отбросов, и каждые сумерки ждать своей очереди в наступающую ночь...

Как только освободили заключенных, всюду расставлены были караулы, по городу — патрули, на окраины — несменяемые посты... Ни грабежей, ни насилий, никаких бесчинств и скандалов,— это ведь вошла Красная Армия, скованная дисциплиной, пропитанная сознанием революционного долга.

В этот же первый день приходили одна за другой делегации от рабочих, от служащих разных учреждений,— одни приветствовали, другие благодарили за тишину, за порядок, который установился в городе... Пришла делегация от еврейской социалистической партии и поведала те ужасы, которые за время колчаковщины вынесло здесь еврейское население. Издевательствам и репрессиям не было границ, в тюрьму сажали без всяких причин. Ударить, избить еврея на

улице какой-нибудь золотопогонный негодяй считал и лучшим и безнаказанным удовольствием...

— Если будете отступать,— говорил представитель партии,— все до последнего человека уйдем с вами... Лучше голая и голодная Москва, чем этот блестящий и сытый дьявольский кошмар.

В тот же день еврейская молодежь начала создавать добровольческий отряд, который влился в ряды Красной Армии.

Политический отдел дивизии развернул широчайшую работу. В первые же часы были в огромном количестве распространены листовки, объяснявшие положение. По городу расклеены были стенные газеты, а с утра начала регулярно выходить ежедневная дивизионная газета. Во всех концах города непрерывно, один за другим, организовывались летучие митинги. Жители встречали ораторов восторженно, многих тут же, на митингах, качали, носили на руках — не за отличные ораторские качества, а просто от радости, от избытка чувств. Большой городской театр заняли своею труппой; тут всю работу уж проводила неутомимая Зоя Павловна,— она возилась с декорациями, раздобывала по городу костюмы, хлопотала с постановками, играла сама. Театр был все время битком набит красноармейцами. Уже через несколько дней, когда раненый Чапаев приехал в город и пришел в театр, он от имени всех бойцов приветствовал со сцены Зою Павловну, поднес ей букет цветов, и весь огромный зал свою любимую работницу приветствовал громом криков и отчаянным хлопанием в ладоши,— это была ей лучшая и незабываемая доселе награда от красных солдат.

Город сразу встряхнулся, зажил новой жизнью. Об этом особенно говорили те, которым тускло и трудно жилось при офицерских «свободах».

За Уфу погнали Колчака другие дивизии, а 25-ю остановили здесь на передышку, и больше двух недель стояла она в Уфимском районе. Время даром не пропадало, части приводили себя в порядок после такого долгого и изнурительного похода. Штабы и

учреждения тоже подтягивались и разбирались понемногу во всем, что накопилось, сгрудилось за время горячего походного периода. С неослабной силой работал политический отдел; во главе его теперь вместо Рыжикова стоял Суворов, петербургский рабочий, по виду тихий, застенчивый, но отличный, неутомимый работник. Он в политотделе проводил так много времени, что здесь его можно было застать каждый час. Видимо, там же и ночевал. Крайнюков, помощник Федора, тесно сошелся с Суворовым и все свободное от поручений время тоже проводил в политотделе: они вдвоем выполняли фактически ту огромную политическую работу, которая проделана была за эту двухнедельную стоянку. Клычков только помогал им советом и участвовал на разных совещаниях,— время уходило у него на работу с другими дивизионными органами, к которым они с Чапаевым прикоснулись здесь впервые после Белебея.

Скоро начали поступать тревожные вести с Уральского фронта. Там казаки имели успех за успехом, только никак не могли ворваться в осажденный Уральск. Сведения поступали через газеты, через армейские сводки и телеграммы, через письма, особенно много через письма... Красноармейцы узнавали, что по их родным селениям проносятся всесожигающим вихрем дикие казацкие шайки, уничтожают хозяйства, убивают, замучивают тех, у кого сыновья, мужья и братья ушли в Красную Армию. Полки затревожились, заволновались, стали проситься на уральские степи, где они с удесятеренной силой клялись сражаться против зарвавшихся уральских казаков.

Чапаев с Федором об этом часто беседовали и видели, что переброска дивизии необходима и полезна, если только не воспрепятствуют этому какие-нибудь исключительные обстоятельства. Неоднократно говорили с центром, объясняли и Фрунзе, что за настроение создалось среди бойцов и как невыгодно это настроение для какого-либо другого фронта, кроме Уральского. А тут еще начали приезжать с тех краев отдельные беженцы или просто охотники-добровольцы, не хотевшие нигде служить, кроме «своей дивизии». Настроение

обострялось. В центре обстановку учли: скоро получен был приказ о переброске в уральские степи. Одушевлению полков не было границ — собирались в поход словно на торжественную веселую прогулку. Чапаев тоже был доволен не меньше рядовых бойцов: он переносился в степи, в те степи, где воевал уже многие месяцы, где все ему знакомо, понятно и близко — не так, как здесь, среди татарских аулов. Быстрее быстрого были окончены сборы, и дивизия тронулась в путь.

XIV. Освобождение Уральска

Уральск долго был обложен казачьим кольцом — вплоть до подхода Чапаевской дивизии, его освободительницы. Героическая его защита войдет в историю гражданской войны блестящей страницей. Отрезанные от всего мира, уральцы с честью выдержали казачью осаду, много раз и с высокой доблестью отражали налеты, сами делали вылазки, дергали врага со всех сторон. Измученный гарнизон, куда влились добровольческой волной уральские рабочие, никогда не роптал ни на усталость, ни на голод,— не было и мысли о том, чтобы отдаться во власть ликующего врага. Борьба шла на жизнь и на смерть. Все знали, что половины здесь быть не может, и казачий плен означает фактически истязания, пытки, расстрелы... В самом городе вскрывались заговоры. Местные белогвардейцы через голову местного гарнизона ухитрялись связываться с казацкими частями, получали оттуда указания, сами доносили казацкому командованию о том, что творится в городе... Уж иссякали снаряды, патроны, подходило к концу продовольствие, и, может быть, скоро пришлось бы красным героям сражаться одними штыками, но не пугало и это,— бодро и уверенно, спокойно и мужественно было настроение осажденных. А когда долетели к ним вести, что на выручку идет Чапаевская дивизиия, пропали остатки сомнений, и еще более стойко, геройски отбивались последние атаки врага.

Крупных боев по пути к Уральску не было, хотя отдельные схватки не прекращались ни на день. Казаки, знавшие чапаевские полки еще по 1918 году, не выражали большой охоты сражаться с ними лицом к лицу и предпочитали отступать, пощипывая там, где это удавалось. По дороге к станице Соболевской казаки с двумя броневиками, пустив кавалерию с флангов, пошли на Иваново-Вознесенский полк. Они рассчитывали, что под огнем броневиков дрогнут и бросятся бежать красноармейцы — тогда бы кавалерия нашла себе работу! Но вышло все как-то очень просто и даже вовсе не эффектно: цепи лежали, как мертвые, посторонились, пропустили в тыл к себе броневики, строчили по несмелой кавалерии противника... А тем временем красная батарея все вернее, все ближе к смертоносным машинам укладывала снаряды. Чудовища воротились с тем, с чем и пришли. Тут даже и потерь вовсе не было — так спокойно и организованно, так просто был принят и ликвидирован этот неприятельский натиск.

А где-то неподалеку, там же у Соболевской, окружили казаки оторвавшуюся роту красных солдат, и те почти сплошь были уничтожены. Послали на помощь новую роту — пострадала и она. Послали третью — участь одинаковая. Лишь тогда догадались, что нельзя такою крошечной подмогой оказать действительную помощь, что это — лишь напрасный перевод живых и технических сил. Послали полк, и он сделал, что требовалось, с поразительной быстротой. Когда узнал Чапаев,— бушевал немало, ругался, грозил:

— Не командир ты — дурак еловый! Должен знать навсегда, што казак не воевать, а щипать только умеет. Вот и щипал: роту за ротой, одну за другой. Эх ты, цапля! Всадить бы «што следовано»...

Несмотря на ежедневные непрерывные схватки с казарой, полки передвигались быстро: пешим порядком верст по пятьдесят в сутки.

В станицах и селах встречали красных солдат, как освободителей, выходили нередко навстречу жители, приветствовали, помогали как умели и чем могли, де-

лились достатками... Самому Чапаеву прием оказывали чрезвычайный,— он в полном смысле был тогда «героем дня».

— Хоть одно словечко скажи,— просили его мужички,— будут еще казаки идти или ты, голубчик, прогнал их вовсе?

Чапаев усмешливо покручивал ус и отвечал, добродушный, веселый, довольный:

— Собирайтесь вместе с нами — тогда не придут, а бабам юбки будете нюхать, кто же вас охранять станет?

— А как же мы?

— Да так же вот, как и мы,— отвечал Чапаев, указывая на всех, что его окружали.

И он начинал пояснять крестьянам, чем сильна Красная Армия, как нужна она Советской России, что к ней должно быть за отношение у трудовой крестьянской массы.

Чапаеву крепко засело в голову с десяток верных, бесспорных положений, которые он частью вычитал где-нибудь, а больше услышал в разговоре и запомнил. Например, о классовом составе нашей армии; о том, что казаки не случайно, а неизбежно являются пока в большинстве своем нашими врагами; о том, что голодному центру необходимо помогать немедленно из сытых окраин, и т. д. и т. д. Эти положения, такие убедительные и простые, он воспринял со всей силой ясных и чистых своих мыслей, воспринял раз навсегда и бесповоротно, гордился тем, что знает их и помнит, а где-нибудь в разговоре старался вклеить непременно, будь то к делу или совсем не к делу.

Мужикам-крестьянам эти положения он развивал с особенной охотой, а слушали они его со вниманием исключительным. Иной раз и галиматью станет наслаивать всякую, но общий результат бывал всегда наилучший. Он, например, с большим трудом и совершенно неясно представлял себе крупное коллективное хозяйство, систему работы в нем, взаимоотношения между членами и прочее, сбивался нередко на «дележку», «самостоятельность» и т. д. С этой стороны путем объяснить ничего не умел, но даже и от таких бесед

получалось кое-что положительное. Он призывал к трудолюбию, протестовал против жадности и своекорыстия, против невежества и темноты, ратовал за новые, усовершенствованные способы труда в крестьянском хозяйстве. В одном селе он так красочно описывал голод фабричных рабочих, так жестоко укорял крестьян за то, что они, сытые, совсем забыли голодных своих братьев, что крестьяне тотчас же постановили открыть между собою сбор зерна для отправки в Москву. Выбрали и организаторов дела — тут же на собрании и поклялись Чапаеву, что отправят непременно в Москву все, что наберут, а его, Чапаева, уведомят об этом на позиции. Собрали ли они, отправили ли — неизвестно, а Чапаева оповестить им не удалось: уж недолго ему осталось жить — скоро Чапаева не стало...

Так, встречаемые радостно, приближались к цели красные полки. Скоро они были под стенами Уральска. Последний бой — и казаки бежали, разорвав кольцо. Из Уральска, верст за десять, выехали навстречу руководители осажденного гарнизона, с ними эскадрон кавалерии, оркестр музыки... Под гром «Интернационала», под радостные крики, со слезами радости на глазах встречались, обнимали один другого, хотели сразу и многое друг другу рассказать, но не могли — так переполнены были чувствами, растроганы, потрясены.

— Федя! — окликнул возле автомобиля чей-то голос.

Клычков обернулся и увидел на высоком вороном коне Андреева. Они по-дружески расцеловались. В прекрасных светлых глазах Андреева теперь было что-то новое, чего Федор никогда прежде не замечал,— они смотрели с какой-то усиленной недоверчивостью, сурово и сухо. Можно было подумать, что он не рад даже встрече, но голос, все эти хорошие, теплые слова, что сразу были сказаны,— это все говорит про обратное. На лбу углубилась морщинка, а одна, поперечная, над самой переносицей, оставалась все время неразглаженной, будто щель.

Разговорились, и Федор узнал, какое деятельное участие принимал Андреев в борьбе с предательством

и заговорами, в которых, как в тенетах, мог запутаться осажденный Уральск. Круто надо было расправляться с негодяями, решительно и беспощадно. Мучительная эта борьба и наложила печать на его юношеское лицо, тяжелую, глубокую, неизгладимую печать... (Скоро обстоятельства загнали Андреева в полк; там, будучи окружен, после отчаянной сечи он был в куски изрублен озверевшим врагом.)

В самом Уральске по улицам не пройти — они запружены рабочими и бойцами. Высыпало и все население.

«Слава герою! Слава Чапаеву! Да здравствуют полки Чапаевской дивизии! Да здравствует красный вождь — Чапаев!»

Эти радостные клики неслись по освобожденному Уральску, и трудно было Чапаеву с Федором пробираться на автомобиле через тысячные толпы, которые заполонили улицы. На Чапаева смотрели с восхищением, кричали ему громкие приветствия, бросали шапки вверх, пели торжественные победные песни... Город раскрасился красными флагами, всюду расставили трибуны, открылись митинги. И когда выступал Чапаев, толпа неистовствовала, волновалась, как море в непогоду, не знала предела восторгам. Его первое слово рождало гробовую тишину, его последнее слово открывало простор новому безумному восторгу. Около автомобиля схватывали десятки рабочих рук и начинали качать, а потом, когда отъезжал, все бежали за автомобилем, будто хотели догнать, еще и еще выразить ему свою благодарность и это свежее, искреннее восхищение. Полкам почет был тоже немалый: уральцы постарались окружить их заботами и ласковым вниманием, чествовали на парадах, организовали массу всяческих увеселений, позаботились о питании, собрали и отдали им все, что могли.

Торжества длились несколько дней — торжества под разрывы шрапнели! Один снаряд угодил в театральную крышу в то время, как шел спектакль. Но подобные случаи нисколько не нарушали общего торже-

ственного настроения. Казаки ушли за реку, их надо было немедленно гнать еще дальше, чтобы не дать собраться с силами, чтобы снять угрозу с города, чтобы отдалить от них этот притягивающий магнит — Уральск. Чапаеву лучшей наградой были бы новые успехи на фронте, и потому, лишь миновали первые восторги встречи, он уже неизменно летал от полка к полку, следил за тем, как строились переправы.

Через реку налаживали мост. А за рекой были уже два красных полка, перебравшиеся на чем попало. Надо было спешить с работами, чтобы переправить артиллерию,— без нее полки чувствовали себя беспомощно, и от командиров стали тотчас поступать самые тревожные сведения. Чапаев не то на второй, не то на третий день по приезде в Уральск ранним утром отправился сам — проверить, что сделано за ночь, как вообще идет, продвигается работа. С ним пошел и Федор. По зеленому пригорку копошились всюду красноармейцы,— надо было перетаскивать к берегу огромные бревна... И вот на каждое налепится без толку человек сорок — толкаются, путаются, а дело нейдет... Взвалят бревно на передки от телеги, и тут, кажется, уж совсем бы легко, а кучей — опять толку не получается.

— Где начальство? — спрашивает Чапаев.

— А вон, на мосту...

Подошли к мосту. Там на бревнышках сидел и мирно покуривал инженер, которому вверена была вся работа. Как только увидел он Чапаева — марш на середину; стоит и оглядывается как ни в чем не бывало, как будто и все время наблюдал тут работу, а не раскуривал беспечно на берегу. Чапаев в таких случаях груб и крут без меры. Он еще полон был тех слезных просьб, которые поступали из-за реки, он каждую минуту помнил — помнил и болел душою, что вот-вот полки за рекой погибнут... Дорога́ была каждая минута... Торопиться надо было сверх сил — недаром он сам сюда согнал на работы такую массу красноармейцев, даже отдал половину своей комендантской команды. Он весь напрягся заботой об этом мосте, ждал чуть ли не ежечасно, что он готов будет — и вдруг... вдруг застает

полную неорганизованность, пустейшую суету одних, мирное покуривание других...

Как взлетел на мост, как подскочил к инженеру, словно разъяренный зверь, да с размаху, не говоря ни слова, изо всей силы так и ударил его по лицу! Тот закачался на бревнах, едва не свалился в воду, весь побледнел, затрясся от страха, зная, что может быть застрелен теперь же... А Чапаев и действительно рванулся к кобуре, только Федор, ошеломленный этой неожиданностью, удержал его от расправы. Самой крепкой, отборной бранью бранил рассвирепевший Чапаев дрожащего инженера:

— Саботажники! Сукины дети! Я знаю, что вам не жалко моих солдат... Вы всех их готовы загубить, сволочь окаянная!.. У-у-у... подлецы!.. Чтобы к обеду был готов мост! Понял?! Если не будет готов,— застрелю, как собаку!!!

И сейчас же инженер забегал по берегу. Там, где висело на бревне по сорок человек, осталось по троечетверо, остальные были переведены на другую работу... Красноармейцы заработали торопливо... Заходило ходом, закипело дело. И что же? Мост, который за двое суток подвинулся только на какую-нибудь четвертую часть, *к обеду был готов.*

Чапаев умел заставлять работать, но меры у него были исключительные и жестокие. Времена были такие, что в иные моменты и всякие меры приходилось считать извинительными; прощали даже самый крепкий, самый ужасный из этих способов — «мордобой». Бывали такие случаи, когда командиру своих же бойцов приходилось колотить плеткой, и это *спасало всю часть.*

Было ли неизбежным то, что произошло на мосту? Ответа дать невозможно... Во всяком случае, несомненно то, что постройка моста была делом исключительной срочности, что сам Чапаев и вызывал инженера к себе неоднократно и сам ходил, приказывал, торопил, ругался, грозил... Медлительность работ оставалась прежнею. Была ли она сознательным саботажем, была ли она случайностью — кто знает! Но в то утро чаша

терпения переполнилась — неизбежное совершилось, а мост... к обеду был готов. Вот примеры суровой, неумолимой, железной логики войны!..

Бывали у Чапаева и такие случаи, которыми обнаруживалось в нем какое-то мрачное самодурство, необыкновенная наивность, граничащая с непониманием самых простых вещей.

В этот вот приезд в Уральск, может быть через неделю или полторы, как-то днем вбегают к Федору ветеринарный врач с комиссаром. Оба дрожат, у врача на глазах слезы... Трясутся, торопятся — ничего не понять. (Ветеринарные комиссары вообще народ нежный.)

— В чем дело?

— Чапаев... ругает... кричит... застрелить...

— Кого ругает? Кого хотел застрелить?..

— Нас... нас обоих... Или в тюрьму, говорит... или расстреляю...

— За что же?

Федор усадил их, успокоил и выслушал странную, почти невероятную историю.

К Чапаеву из деревни приехал знакомый мужичок, известный «коновал», промышлявший ветеринарным ремеслом годов восемь — десять. Человек, видимо, тертый и безусловно в своем деле сведущий. И вот сегодня Чапаев вызывает дивизионного ветеринарного врача с комиссаром, усаживает их за стол. Тут же и мужичок. Чапаев «приказывает» врачу экзаменовать в своем присутствии «коновала» и выдать ему удостоверение о том, что он, мужичок, тоже, дескать, может быть «ветеринарным доктором». А чтобы бумага была крепче — пусть и комиссар подпишется... Экзаменовать строго, но чтобы саботажу никакого. Знаем, говорит, мы вас, сукиных детей,— ни одному мужику на доктора выйти не даете.

— Мы ему говорим, что так и так, мол, экзаменовать не можем и документа выдать не имеем права. А он как вскочит, как застучит кулаком по столу. «Молчать,— говорит,— немедленно экзаменовать при

мне же, а то в тюрьму, сволочей... Расстреляю!..» Тогда вот комиссар на вас указал. «Пойдем,— говорит,— спросим, как самый экзамен производить, посоветуемся...» Услыхал про вас — ничего. Пять минут сроку дал... ждет... Как же мы теперь пойдем к нему?.. Застрелит ведь...

И оба они вопрошающе, умоляюще смотрели на Клычкова...

Он оставил их у себя, никуда ходить не разрешил — знал, что Чапаев явится сам. И действительно, через десять минут вбегает Чапаев — грозный, злой, с горящими глазами. Прямо к Федору.

— Ты чего?

— А ты чего? — усмехнулся тот его грозному тону.

— И ты с ними? — прогремел Чапаев.

— В чем? — опять усмехнулся Федор.

— Все вы сволочи!.. Интеллигенты... У меня сейчас же экзаменовать,— обратился он к дрожащей «ветеринарии»,— сейчас же марш на экзамен!!!

Федор увидел, что дело принимает нешуточный оборот, и решил победить Чапаева своим обычным оружием — спокойствием.

Когда тот кричал и потрясал кулаками у Федора под носом, угрожая и ему то расстрелом, то избиением, Клычков урезонивал его доводами и старался показать, какую чушь он совершит, выдав подобное свидетельство. Но убеждения на этот раз действовали как-то особенно туго, и Клычкову пришлось пойти на «компромисс».

— Вот что,— посоветовал он Чапаеву,— этого вопроса нам здесь не разрешить. Давай-ка пошлем телеграмму Фрунзе, спросим его — как быть? Что ответит, то и будем делать,— идет, что ли?

Имя Фрунзе всегда на Чапаева действовало охлаждающе. Притих он и на этот раз, перестал скандалить, согласился молча.

Комиссара с врачом отпустили, телеграмму написали и подписали, но посылать Федор воздержался...

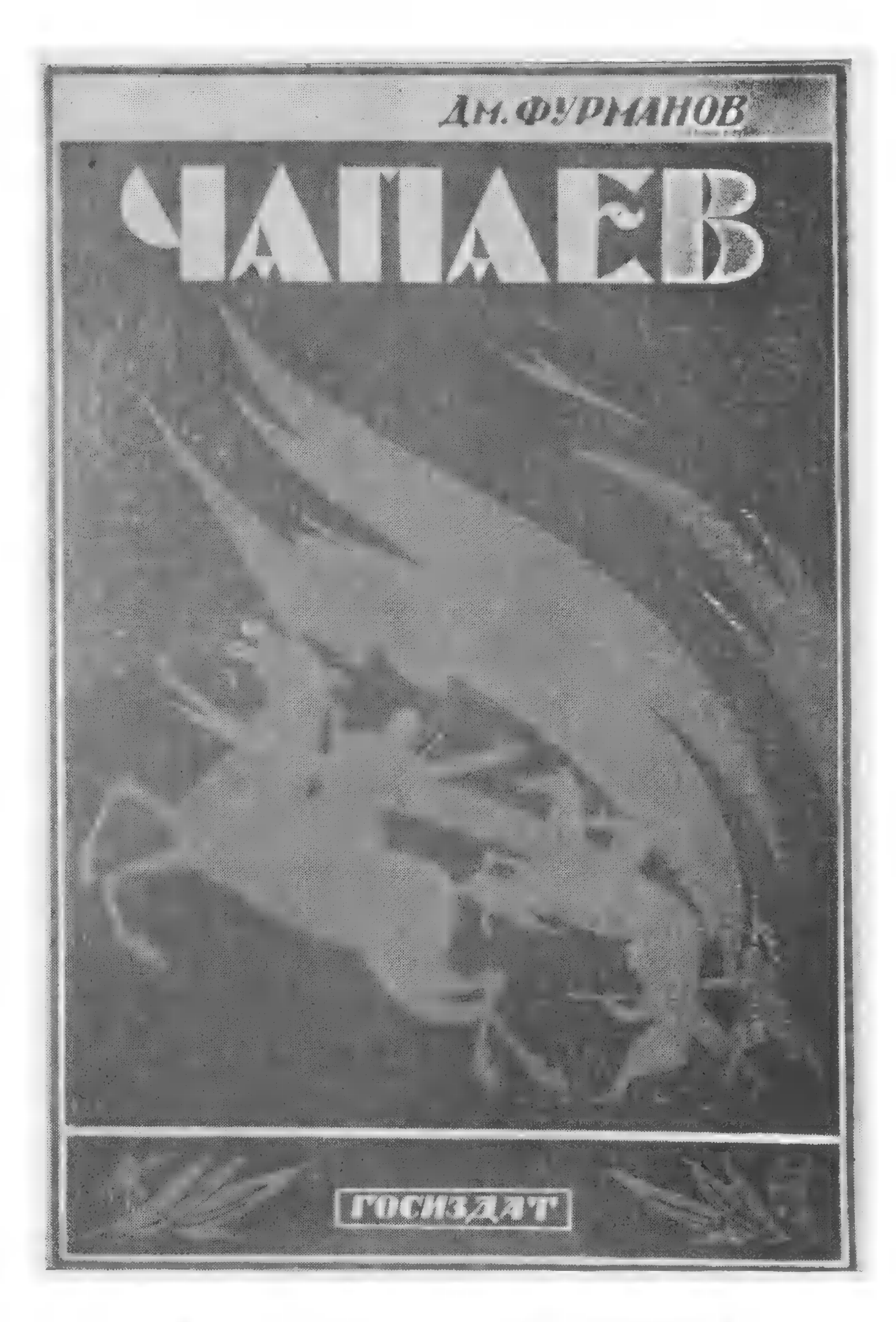
Через пять минут дружески пили чай, и тут в спокойной беседе Клычкову наконец удалось убедить Чапаева в необходимости сжечь и не казать никому

телеграмму, чтобы не наделать смеху. Тот молчал — видно было, что соглашался... Телеграмму не послали...

Подобных курьезов у Чапаева было сколько угодно. Рассказывали, что в 1918 году он плеткой колотил одно довольно «высокопоставленное» лицо, другому — отвечал «матом» по телеграфу, третьему — накладывал на распоряжении или на ходатайстве такую «резолюцию», что только уши вянут, как прочитаешь. Самобытная фигура! Многого он еще не понимал, многого не переваривал, но уже ко многому разумному и светлому тянулся сознательно, не только инстинктивно. Через два-три года в нем кой-что отпало бы окончательно из того, что уже начинало отпадать, и теперь приобрелось бы многое из того, что его начинало интересовать и заполнять, притягивать к себе неотразимо. Но суждено было иное...

XV. Финал

Дивизия шла на Лбищенск. От Уральска до Лбищенска больше сотни верст. Степи и степи кругом. Здесь казаки — у себя «дома», и встречают они всюду поддержку, сочувствие, всяческую помощь. Красные полки встречаются враждебно. Где остается частичка населения по станицам, там слова хорошего не услышишь, не то что помощь, а в большинстве — эти казацкие станицы к приходу красных частей уж начисто пусты, разве только где-где попадется забытая дряхлейшая старушонка. Отступавшие казаки перепугали население «головорезами-большевиками», и станицы подымали на повозках весь свой домашний скарб, оставляли только хлеб по амбарам, да и тот чаще жгли или с песком мешали, с грязью, превращали в гаденькую жижицу. Колодцы почти сплошь были отравлены, многие засыпаны до половины, не было оставлено ни одной бадьи. Все, что надо и можно было уродовать, уродовали до изничтожения, до неузнаваемости. Необходимые стройки поломали, разрушили, сожгли. Получалось такое впечатление, будто казаки уходят невоз-



Обложка третьего издания «Чапаева».

1925 г.

вратно. Отступали они здесь, за Лбищенском, с непрерывным боем, дрались ожесточенно, сопротивлялись упорно, настойчиво и искусно...

Штаб Чапаевской дивизии стоял в Уральске, передовые же части ушли на несколько десятков верст. Не хватало снарядов, патронов, обмундирования, хлеба... Голодные красноармейцы топтали хлебные равнины, по станицам находили горы необмолоченного зерна, а сами оставались без пищи. Нужда была тогда ужасная. Даже заплесневелый, прогнивший хлеб иной раз не попадал на фронт неделями, и красноармейцы буквально голодали... Ах, какие это были трудные, непереносимые, суровые дни!

Почти ежедневно Чапаев с Федором заглядывали на автомобиле то в одну бригаду, то в другую. Тут дороги широкие, ровные, передвигаться можно очень быстро. А когда поломается, бывало, машина (ох, как часто это бывало!), садились на коней и за сутки отмахивали верст по полтораста, уезжая на заре, и к ночи возвращались к Уральску. Чапаев отлично разбирался в степи и всегда точно определял местонахождепие станиц, хуторов, дорог и дорожек. Но однажды и с ним случился грех — заплутался. Про это плутанье в степи у Федора в дневнике записано под заголовком «Ночные огни». Выпишем оттуда, но будем помнить, что здесь и в десятой доле не переданы своеобразие и оригинальность тех настроений, которыми жили в эту ночь в степи заблудившиеся товарищи с Чапаевым во главе. Многое из «ночного» он не сумел как следует описать, а потом и вообще оно, это «ночное», чрезвычайно трудно поддается выражению и передаче.

НОЧНЫЕ ОГНИ

Надо было навестить Еланя. Сборы коротки: поседлали коней, взяли с собой человек двенадцать верных спутников и понеслись... Миновали Чаган, и возле дороги, загаженной лошадиными трупами,— прямо к озеру, через степь. Хлебами, высокими травами, цветными, пестрыми лугами добрались до озера-лужи.

Выехали на косогор, слезли с коней, спустились к воде. Кони пили жадно, мы — еще жаднее. Было уж часов пять-шесть. Верст на тридцать не встретили дальше ни одного хуторка. Кидались в каждую прогалину, искали воду, но не находили и мучились от нестерпимой жажды. В отдалении, по макушкам сыртов, показывались всадники — это, верно, казацкие наблюдатели и часовые. Каждую минуту здесь было можно ожидать из первой же лощины внезапного казацкого налета. Это у них любимый прием. Выждать где-нибудь в засаде, пропустить несколько шагов, а потом налететь ураганом, с гиканьем и свистом, блестя обнаженными шашками, потрясая пиками,— налететь и рубить, колоть внезапно, пока не успеешь стащить с плеча винтовку. Ехали и оглядывались, засматривали в каждую дыру, были наготове.

Дымчатые легкие облака вдруг помутнели, сгустились и совсем низко опустились черными тучами. Стало быстро смеркаться. Зашумел ветер, помчался по полю и еще теснее согнал в груду мрачные, зловещие тучи.

Вот упали первые капли — еще, еще, еще... Разразился настоящий степной ливень — оглушительный, частый и сильный ударом... Все быстро промокли. Я как на грех был в одной тонюсенькой рубашонке и всех быстрее измок до самой печенки. Стало холодно, бросало в жар и озноб, дрожали руки, лязгали зубы. В стороне показались какие-то разрушенные мазанки — остатки прежнего селения. Около них, по видимости, копошились люди...

Подъехали и тут застали двух обозников. Несчастные себя чувствовали совершенно беспомощно. Их полк ушел далеко вперед, а у них вот тут что-то приключилось: лопнули колеса, да и лошаденка повалилась, не подымается никак. Решили оставить все у колодца, а сами — полк догонять, пока не угодили к казакам в лапы. Мы у них нашли четвертную, привязали ее на вожжах, на самом кончике камень прикрепили, спустили в колодец... Хоть и знали, что травят часто колодцы, да отгоняли страшную мысль,— ее перебарывала жажда. Долго ждали, пока в узкое горлышко

натечет вода, а как напились — тут уж стало и совсем темнеть. Дорога была едва видна в траве, но общее направление знали точно и потому снялись уверенно. Отъехали версты четыре — порешили свернуть и ехать прямо степью, на огонь, что виднелся вдали. Оставалось, по нашим расчетам, верст пятнадцать, и часа через полтора думали быть на месте. Про огонь погадали, погадали и порешили, что это костер горит в нашей цепи,— а может, и не в нашей, да это все равно: свою цепь не перепрыгнешь, упрешься... Едем. Молчим. Пока были сухи, перед дождем, песни все пели, да кричали, да гикали, а тут притихли — ни песен, ни громких разговоров. Хоть насчет костра и рассуждали, будто «свою цепь не перескочишь», однако была и другая мысль у каждого:

«А ну, да как ошиблись и едем прямо в лапы казаре?»

И от этих мыслей становилось не по себе, лезла в голову всякая чертовщина. Напрасно вздувал Чапаев спичку за спичкой, напрасно водил пальцем по карте, а носом по компасу,— ничего из этой затеи не получалось, и ехали наугад, вслепую, сами точно не зная куда. Огонек впереди то вспыхивал, то замирал, и когда замирал, мигая, становился бледен, тускл и бесконечно далек, приобретал какую-то странную таинственность, будто это не огонек, а наваждение, призрак, который шутит над нами в ночной темноте. Мы полагали первоначально, что всего тут каких-нибудь шесть — восемь верст, но уже проехали добрый десяток, а он, огонек, все так же, как и прежде, безмятежно мигал и то приближался, то пропадал где-то далеко-далеко... Стали гадать-предполагать: да костер ли это? Может быть, фонарь светит откуда-нибудь с высоченного далекого столба?.. Но почему же он как будто все отдаляется, уходит?..

Решили дальше не ехать. С дороги давно уже сбились в сторону. Кони шагали по высокой мокрой густой траве, задевали ее копытами, и она хрустела, рвалась, как сочные звонкие нити. Справа зажегся другой огонек — и тоже как будто совсем недалеко, но, проехав с версту, убедились, что и тут как бы не все обстоит

ладно... Вон еще один, другой, третий... В черной, пустой и могильно-тихой степи становилось жутко... Дождя то нет, то снова застучит по измокшей жалкой одежонке... Бр-р-р... Как холодно!.. И как это скверно, когда холодные струи текут за шею, за спину, на грудь, словно змейки проползают по телу... Теперь бы в избу, к теплой печке, обогреться немножко... А впереди целая ночь, и все такая же холодная, такая же дождливая, мокрая, неприютная. Настроение понизилось до гнусности. Ехали и ехали — но куда? Временами казалось, что повернули обратно, проезжаем знакомые места, кружимся около одного, словно заколдованного места... Как только шорох в стороне — быстро повертываем головы и пристально-пристально всматриваемся: не разъезд ли казацкий? Может быть, выследили... подкрались... идут по следам... по пятам... и вот сейчас... раз... два... три... Черт знает, что за силу имеет над человеком ночная тьма! Она даже самых смелых, самых храбрых делает беспомощными, мнительными, неуверенно-робкими... Вон в стороне как будто чернеет что-то длинное, непрерывное, неуклюжее... Выслали двоих. Они с разных сторон тихой рысью затрусили в ту сторону и, воротившись, сообщили, что это скирды необмолоченного хлеба... Было решено остановиться и здесь, под скирдами, ждать рассвета... Коней не расседлывали, даже и не спутывали. Несколько человек, чередуясь через каждые два часа, должны были дежурить всю ночь.

Винтовки — заряженные, готовые — были у каждого под рукой на случай внезапного налета. Пристроились к снопам, выкопали в соломе небольшие ложбинки, вдвинули себя в середину... Дождь не переставал ни на минуту... Я было уселся довольно ладно и соломы на землю набросал немало, а через несколько минут уж почувствовал себя в луже, и было невыносимо тошно, противно от этой слякоти, холодно и мерзко. Чапаев сидел рядом, уткнувшись лицом в промокшую солому, и вдруг... запел — тихо, спокойно и весело запел свою любимую: «Сижу за решеткой в темнице сырой...» Это было так необычно, так неожиданно, что я подумал сначала — не ослышался ли? Может быть,

мычит что-нибудь невнятное, а мне чудится песня... Но Чапаев действительно пел...

— Василий Иваныч, да што ты?

— А чего? — отозвался он глухо.

— Услышат. Ну как разъезд?

— Не услышат, я тихонько... А то, брат, холодно больно да противно тут в воде...

И от этого хорошего, простого ответа мне самому сделалось как будто легче.

— А вот, Федя, вспоминаю,— говорит Чапаев.— Рассказывали мне, што в пустыне двое заплутались... ну, как мы здесь с тобой — только их-то было двое всего-навсего... Бросили их там али сами как отстали — только сидят на песочке, а идти им и некуда... Нам хоть ночью... Ну, ладно... Солнце взойдет — отыщем, а они куда? И ночь и день — все песок кругом: и туда песок и сюда песок, больше нет ничего... Воды у них по фляжке висело — не пьют. Помирать-то не хочется, а знают — как выпьют все, так и смерть пришла... Только водой и жили. Три дня все вместе ходили, а найти ничего не могут, не видят конца... На четвертый-то день упал один. Я, говорит, помираю, а ты рядом ложись: ходили вместе — вместе и ляжем... Упал на песок, да и конец... Тот, што один-то остался, посидел над дружком, а у того, глядит, и зубы оскалились, глаза оловянные открылись. Страшно ему стало одному в пустыне... Ну-ка... уйдет он от этого места, а и жалко станет. Походит-походит, да и опять сюда оглядывается, штобы не потерять — боится... Хоть и мертвый тот, а все будто вдвоем... Так вот ты смотри, што вышло. На него верблюды пришли — там караван оказался... так и жив человек... А дружка в песке схоронил... Это вот — да! Тут никуда не уйдешь, коли во все стороны песок один тыщами верст рассыпается...

— Што тут? — обернулся он быстро в сторону и вскочил.

Федор — за ним, вскочил и Петька... Схватили винтовки, застыли в ожидании. Через несколько секунд выступила из тьмы фигура своего вестового, за ним, почавкивая и посапывая, приблизились кони... Опять прилегли в колючие, жесткие снопы...

— А ты что это, к чему рассказал? — спросил Чапаева Федор.

— Да вспомнилось. Я всегда, как самому плохо, вспоминать начинаю, кому же, когда и где было еще хуже моего. Да надумаю и вижу, что терпели люди, а тут и мне — отчего бы не потерпеть? Я вон слышал еще, будто на море корабль разбило, а матрос обнялся с бревном да по волнам-то и гулял двое суток, пока его не подобрали... Тут вот позадумаешься, каково-то ему было, коли ноги в воде, да и сам того гляди туда же кувырнешься... А уцелел...

За разговором сгрудились потеснее... Петька слушал с большим вниманием. Когда ему надо было откашляться, закрывал ладонью рот, тыкался еще глубже в солому и там хрюкал как-то неопределенно. В темноте его блестящие черные глаза светились, как у кошки... Лишь только Чапаев кончил, Петька быстро взглянул на него и весь передернулся,— видно было, что ему самому смертельная охота что-то сказать.

— Я вот... разрешите? — обратился он к Чапаеву.

Но тот ничего не ответил и молча поглаживал усы.

— Я хотя бы,— продолжал Петька,— на Дону, в восемнадцатом... Нас казаки в сарай человек двадцать заперли. Утром, говорят, разберемся, кто тут у вас большевик... А не скажете, так и все за большевиков уйдете. Капут, одним словом. Знаем, что расстреляют, сволочи... Мы это доску одну полегоньку — чик да чик, чик да чик,— она и отползла... Я самый у них маленький. Полезай, говорят, ты первый, а если попадешь — на нас не говори... сам, мол, один полез... Часового убери камнем — сразу-то, што ли, увидишь как... Одним словом, полез я. А ночь вот, что сегодняшняя,— дождик идет, а уж тьма-то, тьма-то... Я эдак тихонько ногу просунул — ничего... Я принагнулся... плечом... руку с головой выпустил, вторую ногу выставил... Гляжу — на земле, вышел у самого сарая, а за углом — как есть, часовой стоит... Лег на брюхо, думаю — проползти надо сначала, чтоб его разглядеть — сидит человек или ходит... Вот по грязи, будто червяк, плыву, а ребята высунули головы, смотрят... Он на полене сидит и го-

лову наклонил,— спит, может, думаю... Взял тут кирпич — из сарая дали, а как дополз к нему, да как хрясну его, да по виску его. Клюкнул, сердечный, в землю и крикнуть не знал што... А я его еще раза четыре стукнул — забрызгался кровью, испачкался... Вышли мы всей артелью, сарай-то с краю был... Мы тут ползком, все ползком, так и ушли непримеченные... Знали, где от своих отбились, нашли... Э-эх, тоже страху было!..

— Страх страхом, а жив,— заметил как-то неопределенно Чапаев.

— Жив!— подтвердил обрадованный Петька, польщенный вниманием.— И все живы — так артелью и доползли... Право слово...

— Верю,— усмехнулся Чапаев.

Петька снова прикрыл рукою рот и два-три раза хрюкнул в солому...

— Вон спят,— показал Чапаеву на лежавших кругом спутников...— А я не могу и никогда не засну, ежели што такое...

А все-таки усталость свое взяла. Когда перестали говорить и притулились снова в глубину скирды, задремали чуткой, нервной дремотой, то и дело просыпаясь от малейшего шороха... Так продремали до рассвета, а лишь забрезжило первой белесоватой мутью,— поднялись усталые, промокшие, дрожащие от холода, измученные бессонной ночью. Согреться решили на быстрой езде. И в самом деле, как только Чапаев пораспутался с картою и выбрал направление,— поскакали на ближний сырт и тут, уже через несколько минут, почувствовали себя бодрее. А когда стало подыматься солнце — вконец повеселели. С сырта заметили обоз и хотели направиться к нему, но обозники, увидев группу конных, ударились вскачь наутек... Петька полетел за ними карьером,— хотя бы только узнать, свои или нет. Остальные ехали ровной рысью... Обоз оказался свой — как раз из той бригады, в которую держали путь... Через полчаса подъезжали к избушке, где поселился Елань со своим полевым летучим штабом... Местечко называлось Усихой!

. . . .

. . . . . . Еще не было шести часов, а Еланя с комиссаром застали на ногах. Взобравшись на плоскую крышу мазанки-избушки, они водили бинокли из стороны в сторону, внимательно всматривались, о чем-то совещались между собою. Когда заметили подъезжавших, спустились вниз и ввели их в грязную полутемную лачужку. Вид у них был самый ужасный: бледно-зеленые, трупного цвета лица, лихорадочные глаза, крайняя степень измученности и печать какой-то безысходности во взорах. Оба были без гимнастерок, в нижних рубахах,— духота и жарища в халупе не позволяли работать одетыми. Елань был совершенно бос. По грязным, заплесневелым ногам можно было судить, что последний раз он мылся в бане, верно, несколько месяцев назад. От бессонных ночей и крайнего напряжения у него дрожали руки, а когда начинал торопиться в разговоре, голос прерывался, он начинал захлебываться словами, а кадык дергался нервно, то втягиваясь, то выскакивая стремительно; пересохшие, бледные губы изрезаны были трещинами. Елань уж ни одного слова не мог сказать спокойно: он выкрикивал высоким протестующим фальцетом, махал руками в такт своей речи, бил кулаками в грудь, доказывая то, что ясно было и без доказательств,— доказывал, что без патронов и снарядов воевать нельзя. Место было тут равнинное, видно с крыши далеко, и Елань в бинокль отлично рассматривал расположение казары.

— Так будут ли патроны, товарищ Чапаев?— спросил он надрывающимся голосом и смотрел Чапаеву в лицо, ловил и взгляд и первое слово...

— Подвезут... приказано...

— Што же — приказано... Я не могу дальше!..

— Так подожди... Ну, откуда я тебе возьму, не с собой ведь вожу,— урезонивал Чапаев.— Говорю — везут, скоро быть должны...

— Знаете,— переводил Елань с одного на другого свой горящий, полусумасшедший взгляд,— мы с комиссаром весь день с этой крыши не слезаем. Тут больше неоткуда... А по четыре атаки в день, подлецы, делают... По четыре атаки! Мы все видим — как и гото-

вятся, как и лава несется — все видно отсюда. А как следует — ничего нельзя: патронов нет... Вчера приказал через третьего... Потом — через пятого... Теперь через десятого стреляют... На десять шагов допускаем... Ручными бомбами только и спасаемся... Нет возможности никакой. Ведь че-ты-ре раза в день! А место — видели сами... простыня...

— Приказ на завтра получили? — спросил Чапаев и оглянулся.

— Получил... Тут все свои,— успокоил Елань.— Да что же без патронов — я не смогу этого ничего... голыми руками нельзя...

— Ну, знаю,— начинал сердиться и Чапаев,— знаю, чего говоришь зря? Тебя сразу облегчат. Шмарин начинает... Силы на него будут отвлечены, а ты...

— Ясно,— согласился Елань.— Только вот одно: патроны...

— А снарядов как? — спросил Чапаев.

— Да тоже. Ну, тут кое-как еще ладно. Хлеба... Хлеба нисколько... Вот и вас нечем угостить — ни корки нет, ей-богу... Только воду одну — вон, в чайнике...

— Вместе и хлеб грузовики везут,— пояснил Чапаев.— Мы сейчас же к Шмарину, ждать некогда... Ну, прощай...

С тяжелым чувством уезжали от Еланя... Ехать было верст пятнадцать. Голодны кони, голодны сами, но знали, что Шмарину еще с вечера должно было прийти продовольствие, поэтому, как только приехали, сейчас же организовали завтрак. Шмарин парился над приказом дивизии,— ему с бригадой назавтра утром открывать действия. Задача выпала очень серьезная, обдумать надо чрезвычайно тонко, а советчиков у Шмарина раз-два, да и обчелся. Призывал он начальника штаба, но ведь что же и от него узнаешь особенного? Невелика фигура. Начальник штаба у Шмарина, кажется, в писарях до того сидел, а тут некого было поставить — ну, и ткнули. Сидит, смекает немного, парень неглупый оказался, но по штабной премудрости — ей-же-ей ничего не слыхивал и не знает. Потолковали за чаем, узнали подробно, что тут за обстановка, какое где жилье, далеко ли, сколько сил у неприятеля и на-

сколько можно верить полученным сведениям, слышно ли, чтобы сам он, неприятель, готовился к чему-нибудь теперь же? Все это выяснено было еще в порядке частной беседы, а лишь только подкрепились, вплотную сели за карту, и Чапаев подробнейшим образом стал объяснять Шмарину, как надо проводить операцию от первого момента до последнего. Можно было в восторг прийти от чапаевской предусмотрительности и точности выкладок, которые он тут делал. Способность учитывать малейшие обстоятельства — его особенная, характерная черта.

— Если вот так начнешь — вот што получится, а у Еланя вот што будет к тому времени... Попов за рекой будет вот в каком положении...

Учитывал быстроту движений измученных, почти разутых и нездоровых бойцов; количество и быстроту подвоза патронов, снарядов, хлеба; отсутствие воды; встречи с населением или полный его уход; серьезность и объем проделанной разведывательной работы; готовность казаков к встрече; усилия, на которые способна бригада Еланя; расхождения в стороны дорог и быстроту движения по бездорожным лугам...

Все, решительно все прикидывал и выверял Чапаев, делал сразу три-четыре предположения и каждое обосновывал суммою наличных, сопутствующих и предшествующих ему фактов и обстоятельств... Из ряда предположительных оборотов дела выбирался самый вероятный, и на нем сосредоточивалось внимание, а про остальные советовал только не забывать и помнить, когда, что и как надо делать.

Совещание длилось часа два. Когда было окончено, собрались уж было ехать обратно в штаб дивизии, но тут пришли из бригадного резервного полка, который стоял от позиции верстах в двух, и пригласили... на спектакль. Что-то необычное. Назавтра такое серьезное дело, тут рядом окопы противника,— и вдруг спектакль?!

— Это всегда так,— улыбнулся Шмарин.— Как только приедут, ребята уж поджидают и тут хоть бой начинай, а ставь... Смерть охотники...

— Так ведь тут же так близко...

— А чего им... Было так, что — если все спокойно — из окопов половина уползала. Насмотрятся одно действие — обратно, а за ними другие... Так и пересмотрят до одного...

— Тут и ставили рядом?

— Рядом... Зоя Павловна бедовая, она с ними все сама ездит... Заслышат еще где красноармейцы, что она с театром спешит,— уж ждут-ждут ее, ждут-ждут... Подготовлять все сами начнут... Иной раз только она сюда, а тут и сцена, глядишь, давно сколочена... Заборов-то в станицах поломали — ай-ай!

Чапаев с Федором знали, что за последние недели Зоя Павловна создала подвижной театр, но никак не предполагали, что она так близко к окопам ставит спектакли, а она сама про это до поры до времени молчала: в бригаде, говорит, ставлю... Ну, и не допытывались. А когда в бригаду поедут — только-только про военные дела успеют поговорить. Теперь, по разговорам, оказалось, что как-то, двигаясь по степи, она со своею кочующей труппой угодила как раз под обстрел. Бригада шла в наступление, и полк, возле которого в это время очутилась труппа, уже снялся с места, пошел вперед... Недолго думая актеры оставили на возу по вознице, а сами взяли винтовки и пошли рядовыми... Зоя Павловна всегда была верхом. Она подъехала к комиссару полка, через десять минут вместе с ним и еще пятком бойцов ускакала в разведку... Удивительные были времена. Артист, организатор, политический работник, пропагандист и агитатор, комиссар — все это сливалось прежде всего в одно понятие: боец! Дивизионная труппа и была за то особенно любима красноармейцами, что они чувствовали тут своего же брата бойца, который всегда с ними, а по надобности и вместе идет в наступление...

Ждали красноармейцы эту свою труппу всегда с величайшим нетерпением и обычно знали каждый момент и самым точнейшим образом, где она сейчас находится, в какой бригаде, долго ли там пробудет, сюда приедет или в другую бригаду. И если знали, что труппа едет к ним,— настроение повышалось, из уст в уста передавалось об этом, как о величайшей радости. На-

чинались приготовления. А когда труппа прибывала на место, очень часто даже из скудных своих средств устраивали ей дружеское угощение... Подмостки обычно сколачивались заранее, и если снимались с места, уходили в открытую степь, знали, что тесу там найти невозможно, а труппа вот-вот подойдет,— всю эту гору досок так и волокли за собой...

Какая же это была радость, какое великое торжество, когда устанавливали сцену! Любопытных было такое множество, что их по-приятельски приходилось разгонять, чтобы не толкались, не мешали расставлять и укреплять декорации, готовить костюмы, гримироваться. Бывало так, что какой-нибудь особенно дотошный красноармеец стоит-стоит у раскрытого сундука с костюмами, любуется там на разные фраки да сюртуки, а потом, когда отвернутся, выдернет разукрашенный цветной камзол, напялит с треском да с веселой, расплывшейся от удовольствия физией и крикнет:

— Ребята, смотри на короля!

Ну, конечно, «короля» сейчас же берут под микитки, сдирают с него королевскую одежду, иной раз в шею двинут раза два-три, и он — куда-нибудь к кулисам, посмотреть, нельзя ли и там чего-нибудь на себя напялить, похохотать...

Это время приготовлений к спектаклю едва ли не бóльшим было удовольствием, чем самые спектакли... Артисты начинают одеваться... Но куда спрятаться от зрителя, чтобы поразить его все-таки прелестью неожиданности?.. Тычутся-тычутся — ничего не выходит. Тогда из двух зол выбирают меньшее: или все тут заранее насмотрятся один за другим, или уж небольшую компанию отрядить, им показаться, а зато другим — ни-ни... Так и делают. Выберут человек сорок — пятьдесят, тут одеваются, тут примеряют парики, гримируются... Только ахнешь, как вспомнишь, сколько потрачено угля на этот самый грим! Можно себе представить, что за богатства театральные были в 1919 году, коли черную сухую корку считали богатством! До гримов ли было дорогих! Если и попадет, бывало, что ценное из этой области, так «зря» не расходуют, а в какие-нибудь «высокоторжественные», особенные слу-

чаи,— положим, победа большая, обмундирование привезли, паек прибавили, да мало ли в полку своих особенных, позиционных радостей!

Играли актеры не сильно знаменито, а все-таки впечатление производили немалое. Надо честь отдать Зое Павловне: из небольшого, скудного репертуара она умела выбирать по тем временам самое лучшее. Играла сама, понимала бойца, знала, что ему нужна была простая, понятная, сильная, своевременная вещь... Такие находились. Несколько из них даже было написано своими же дивизионными писателями... Иные — не бесталанно... Многие (большинство) — неуклюже, не литературно, зато имели какое-то необъяснимое качество самородности, силы, верного уклона, верных мыслей и сильных чувств, при полном иной раз неумении эти мысли и чувства воплотить в художественную форму. Репертуар слабоватый, но по тем временам не из бедных; в других местах было хуже, слабее, а то и просто вредными пьесами подкармливали...

Потребовалась исключительная любовь Зои Павловны к делу, чтобы совсем «из ничего» создать этот подвижной, столь любимый бойцами театр — и в какой ведь обстановке! Это не диво, что при других, при благоприятных условиях они рождались, а тут вот, когда нет ничего под руками, когда части в непрерывных и тяжких боях,— тут заслуга действительно немалая.

Бывало, на двух, на трех верблюдах и тянутся по степи... Сами пешком, имущество на горбах верблюжьих прилажено... Где можно — лошадей доставали; тогда все по телегам разместятся и от полка к полку, от полка к полку, а там уж давным-давно поджидают многоценных гостей...

Когда Чапаев и все присутствующие получили приглашение «пожаловать» на спектакль, оказалось, что все уже было готово, сейчас же могут «занавеску подымать», как доложил кто-то из приехавших красноармейцев... Решили съездить — отчего же нет? Тут совсем недалеко. Тем более что у Шмарина лошадей пришлось все равно обменивать на свежих. Когда подъезжали к массе зрителей, там уж было известно, кого

поджидали. Все оглянулись. Из уст в уста полетело торопливо: «Чапаев... Чапаев... Чапаев...»

Картина замечательная! На земле, у самой сцены, первые ряды зрителей были положены на животы; за ними другая группа сидела нормально; за сидевшими, сзади них, третья группа стояла на коленях, будто на молитве в страстной четверг; за этими — и таких было большинство — стояли во весь рост... Сзади них — десятка два телег, и в телегах сидели опять-таки зрители. Замыкали эту оригинально расположенную толпу кавалеристы — на конях, во всеоружии... Так разместились несколько сот человек и на совершенно ровной поляне — и все видели, все слышали...

Чапаева, Федора, Петьку пропустили вперед, поместили «во втором ярусе» — сидеть на земле.

Ставили какую-то небольшую, трехактную пьеску, написанную здесь же, в дивизии. Содержание было чрезвычайно серьезное, и написана она была неплохо. Показывалось, как красные полки проходили через казацкие станицы, и как казачки встречались с нашими женщинами-красноармейками, как их чурались и проклинали сначала, а потом начинали понимать... Вот входит полк... Красноармейки, в большинстве коммунистки, одеты по-мужски: рубаха, штаны, сапоги, штиблеты, лапти, коммунарки на голове или задранный картузишко, и волосы стрижены то наголо, то под гребенку. Встречают их бабы-казачки, отворачиваются, бранятся, плюются, и иные глумятся или потешаются в разговоре:

— Што ты, дура, штаны напялила? Што ты с ними делать будешь?

— Эй, солдат,— окликает казачка красноармейку,— зачем тебе прореха нужна?

— Через вас только, проклятых,— бранятся в другом месте казачки по адресу красноармеек,— через вас все пропадает у нас... Разорили весь край, окаянные, набрали вас тут, б...ей — девать-то некуда... Чего терять вам, прощелыгам? Известно, нечего, ну и шататься... Чужой хлеб кто жрать не будет?

— Да нет же, нет,— пытаются возражать коммунистки-женщины.— Мы не из тех, как вы думаете, не

из тех: мы — работницы... Так же, как и вы, работаем, только по фабрикам, а не хозяйством своим...

— Сволочи вы — вот кто!

— Зачем — сволочи? У нас тоже семьи дома пооставались... Дети...

— Ваши дети — знаем! — галдели бабы.— Знаем, што за дети... подзаборники.

Коммунистки-женщины доказывают казачкам, что они не «шлюхи» какие-нибудь, а честные работницы, которых теперь обстоятельства вынудили оставить и работу и семью — все оставить и пойти на фронт.

— Што здесь, што там,— кричали им в ответ казачки.— Где хочешь — одинаково брататься вам, беспутные... Кабы не были такими, не пошли бы сюда... не пошли бы...

— А знаете ли вы, бабы, зачем мы идем?

— Чего знать, знаем,— отпихиваются те.

— Да и выходит, что не знаете.

— А мы и знать не хотим,— отворачиваются бабы,— што ни скажи — одно вранье у вас.

— Да это что же за ответ — прямо говорите! — атаковали их красноармейки.— Прямо говори: знаешь али нет? А не знаешь — скажем...

— Скажем, скажем,— замычали бабы.— Нечего тут говорить — одно похабство.

— Да не похабство — зачем? Мы просто другое расскажем. Эх, вы!.. Хоть, к примеру, скажем так: мы бабы и вы бабы. Так ли?

— Так, да не больно так...

Говорившая коммунистка как будто озадачена...

— Чего?.. Так вы же — бабы?

— Ну, бабы...

— И белье стираете свое, так ли?

— А што тебе, кто у нас стирает? Воровать, што ли, хочешь, распознаешь?

— Поди дети есть,— продолжается непрерывная и умная осада,— нянчить их надо.

— А то — без детей... у кого их нет? Это ваши по оврагам-то разбросаны да у заборов...

Но никакими оскорблениями не оскорбишь, не собьешь с толку настойчивых проповедниц.

— С коровой путаешься... у печки... Мало ли...

— Ты дело говори, коли берешься,— обрывает казачка дотошную красноармейку.— Про это я сама знаю лучше тебя.

— Вот и все делай тут,— последовал ответ.— Поняли? Работаешь ты, баба, много, а свет видишь? Свет видишь али нет — спрашиваю? Хорошо тебе, бабе, весело живется? А?

— Та... веселья какая,— уж послабее сопротивляется баба, к которой обращена речь.

А атака все настойчивей и настойчивей.

— Да и казак колотит — чего молчать. Бьет мужик-то,— верно, што ли?

— А поди ты, сатана,— замахала руками казачка.— А твое какое дело!

— Кавалер он, знать, твой-то,— усмехнулась агитаторша.— Неужто уж так и не колотил ни разочку? Ври, тетенька, другому, а я сама это дело знаю. Был у меня и свой, покойничек: такой подлец жил — ни дна ему, ни крышки! Пьяный дрался да грыз, как пес цепной... Али и его теперь жалеть стану? Да мне одной теперь свет рогожей: хочу — встану, хочу — лягу, одна-то...

— Молотишь, девка, пустое,— уж совсем ослабленно протестует казачка.

— А и так — пусть не били тебя,— шла та на уступки,— пусть не били... а жизни хорошей все-таки не узнаешь... И никогда не узнаешь, потому что кто тебе ее даст, жизнь-то эту? Никто. Сама!.. Сама могла бы, а ты вон пень какой: и с места не стронешь, да ведь и слова-то хорошего слушать не хочешь. Ну, кто тебя *выведет* после этого?

— Чего выводить-то?..— недоумевает казачка.— Вывели уж, ладно.— И тут загалдели все.

— Надо! — крепко убеждает красноармейка.— На дорогу надо выходить — тут только и жизнь настоящая начинается... Не знаете вы этого, бабы!

— Начинается...— роптали казачки.— Все у вас там «начинается», кончать-то вот не можете.

— Не удается, бабка, а хотелось бы... Ой, как бы хотелось поскорее-то,— говорила горячо коммунистка

с неподдельным сожалением.— Мы и штаны затем надели, чтобы окончить скорее, а вы не поняли вот... смеетесь...

— Смешно — и смеемся,— ответили в толпе, но смеху давно уже не было.

Сопротивление, слово за словом, все тише, все слабее, все беспомощнее.

— Понимали бы лучше, чем смеяться-то,— урезонивали баб,— от смеху умен не будешь...

— Ишь умны больно сами...

В этом роде длится беседа — оживленно, естественно, легко... Игра идет с большим подъемом... Очень хорошо передается, как казачки начинают поддаваться неотразимому влиянию простых, ясных, убедительных речей... Беседы эти устраиваются не раз, не два. Красноармейки-женщины, пока стоят с полком в станице, помогают казачкам, у которых остановились, нянчиться с ребятами, за скотиной ходить, по хозяйству...

И вот, когда уже полк снимается,— выходит, что картина переменилась. Бабы-казачки напекли своим «учительницам» пирогов, колобков сдобных, вышли их провожать с поклонами, с поцелуями, со слезами, с благодарными словами — новыми, хорошими словами...

Отныне в станице два лагеря, и те женщины-казачки, что слушали тогда коммунисток-женщин,— эти все считаются «большевичками» и подвергаются жестокому гонению.

Полк ушел... Станица оставлена наедине сама с собою... Многие казачки снова ослабевают, остаются вполне сознательными только единицы, но у всех — у всех при воспоминаниях о «красных солдатках» загораются радостно глаза, тепло становится на сердце, верится тогда, что не вся жизнь у них пройдет в коровьем стойле, что придет какая-то другая жизнь, непременно придет, но не знают они — когда и кто ее за собою приведет.

. . . .

Пьеса окончена. Опущен занавес. Было приказано не кричать и аплодисментами не заниматься. Но безудержно, восторженно хлопали бойцы любимой труппе...

Что-то подумали на позиции казаки, когда услышали этот гвалт? Чувствовали ли они, что тут, на сцене, выводят ихних жен и обращают их в «коммунистическую веру»?

По окончании спектакля — сюрприз. При занятии станицы, оказывается, нашли в одной халупе стихотворение, посвященное Чапаеву и написанное белогвардейским поэтом П. Астровым, чья фамилия и значилась под последней строкой. Это стихотворение было теперь здесь прочитано с эстрады — тщательно переписанное. Его потом преподнесли Чапаеву «на память».

Вот оно:

Из-за волжских гор зеленых
На яицкий городок
Большевистские громады
Потянулись на Восток.

Много есть у них снарядов,
Много пушек и мортир,
И ведет их, подбоченясь,
Сам Чапаев, командир.

Хочет он Яик мятежный
Покорить, забрать в полон,
И горят, дымятся села,
И народный льется стон...

Почитай, во всех поселках
Казни, пьянство и грабеж...
И гуторят меж собою
Старики и молодежь:

«Будет горе, будет лихо
На родимой стороне.
Эй, казак, берись за пику
По веселой старине!..

Большевистских комиссаров
Надо гнать ко всем чертям —
Нам без них жилось свободней,
Старорусским казакам.

Гей, вы, соколы степные,
Подымайтесь, стар и млад,
Со стены сними винтовку,
Отточи острей булат».

Вмиг станицы зашумели,
И на красные полки
Дружно сомкнутою лавой
Полетели казаки.

А вослед им улыбался
Старый дедушка Яик,
И бежал назад с позором
Полоумный большевик.

Произошло чтение это почти неожиданно. Кто его подстроил — так и не узнали, да и не дознавались, впрочем, особенно. Во всяком случае, можно было бы не читать, а просто передать Чапаеву переписанный экземпляр. Но уж когда начали читать — останавливать на половине не хотели, дослушали. Потом — у всех недоуменные, вытянутые лица.

Федор подтолкнул Чапаева:

— Поди выступи, расскажи, как тебя «били» казаки...

Предложение попало в нужное место: Чапаев задет был за живое. Он вышел на подмостки и произнес короткую, но ярко образную речь, насыщенную эпизодами боевой жизни... Кончил. Провожали восторженно... У всех настроение было торжественное... А наутро многих-многих из этих «зрителей» то на лугах оставили изуродованными, растоптанными трупами, то калеками развозили к станицам и на Уральск...

Поездка эта была последняя, которую Федор с Чапаевым совершали вместе. Уже через несколько дней Федора отозвали на другую, более ответственную работу, а вместо него прислали комиссаром Батурина, с которым Клычков когда-то знаком был еще по Москве.

Куда уехал Федор и что там делал — не станем рассказывать, эта история совершенно особенная. Напрасно Чапаев посылал слезные телеграммы, просил командующего, чтобы не забирали от него Федора,— ничто не помогало, вопрос был предрешен заранее. Чапаев хорошо сознавал, что̀ за друга лишался он с уходом Клычкова, который так его понимал, так любил, так защищал постоянно от чужих нападок, относился разумно и спокойно к вспышкам чапаевским и брани — часто по адресу «верхов», «проклятых штабов», «чрезвычайки», прощал ему и брань по адресу комиссаров,

всякого «политического начальства», не кляузничал об этом в ревсовет, не обижался сам, а понимал, что эти вспышки — вспышками и останутся. Было и у Федора время, когда он готов был ставить Чапаева на одну полку с Григорьевым и «батькой Махно», а потом разуверился, понял свою ошибку, понял, что мнение это скроил слишком поспешно, в раздражении, бессознательно... Чапаев никогда не мог изменить советской власти, но поведение его, горячечная брань по щекотливым вопросам — все это человека мало знавшего могло навести на сомнения. Помнится, еще где-то под Уфой приезжало из Москвы «высокое лицо», и это лицо, услышав только раз Чапаева и наслушавшись о нем разной дребедени, сообщило Федору примерно следующее:

«...Если он только немножко «того» — мы его сразу по ногам и рукам скрутим!..»

Федор тогда возмутился до крайности и даже наговорил «лицу» всяких дерзостей, за что и заслужил его немилость. Но что же было удивительного? Сомнения того «лица» были вполне законными, ибо Чапаев при нем держался на первый день так же, как и при Федоре на двести первый. Во всяком случае, пробыв с глазу на глаз неотлучно с Чапаевым целые полгода, Федор уносил о нем самое лучшее воспоминание. Ему, как и Чапаеву, тяжела была эта разлука. Не знал того, что разлука эта спасла от неминуемой смерти, что *за него и на его месте* через две недели погибнет заместивший его Павел Степаныч Батурин...

Вот что заставило только Федора потом задумываться и сомневаться: где *героичность* Чапаева, где его *подвиги,* существуют ли они вообще и существуют ли сами герои? Они были так долго неразлучны — изо дня в день, из часа в час... Времена были самые жаркие, походные, сплошь боевые... Каждый шаг Чапаева Федор знал, видел, понимал, даже скрытые пружинки, закулисные соображения — и те, в большинстве, знал и видел отлично. Вот он перебирает в памяти день за днем — от встречи в Александровом-Гаю до последнего дня здесь, в Уральске. Сломихинский бой, колоссальная работоспособность, быстрота

передвижения, быстрота сообразительности, быстрота в работе... На Уфу... Пилюгинский бой. Уфимский... Опять сюда... Где же *конкретно* те факты, которые надо считать героическими? А молва о Чапаеве широкая, и молва эта, верно, более заслужена, чем кем-либо другим. Чапаевская дивизия не знала поражений, и в этом немалая заслуга самого Чапаева. Слить ее, дивизию, в одном порыве, заставить поверить в свою непобедимость, приучиться относиться терпеливо и даже пренебрежительно к лишениям и трудностям походной жизни, дать командиров, подобрать их, закалить, пронизать и насытить своей стремительной волей, собрать их вокруг себя и сосредоточить всецело только на одной мысли, на одном стремлении — к победе, к победе, к победе,— о, это великий героизм! Но не тот, который с именем Чапаева связывает народная молва. По молве этой чудится, будто «сам Чапаев» непременно носился по фронту с обнаженной занесенной шашкой, сокрушал самолично врагов, кидался в самую кипучую схватку и решал ее исход. Ничего, однако, подобного не было. Чапаев был хорошим и чутким организатором того времени, в тех обстоятельствах и для той среды, с которою имел он дело, которая его и породила, которая его и вознесла! Во время хотя бы несколько иное и с иными людьми — не знали бы героя народного, Василия Иваныча Чапаева! Его славу, как пух, разносили по степям и за степями те сотни и тысячи бойцов, которые тоже *слышали* от других, верили этому услышанному, восторгались им, разукрашивали и дополняли от себя и *своим* вымыслом — несли дальше. А спросите их, этих глашатаев чапаевской славы,— и большинство не знает никаких дел его, не знает его самого, ни одного не знает достоверного факта...

Так-то складываются легенды о героях. Так сложились легенды и о Чапаеве.

Имя его войдет в историю гражданской войны блестящею звездой — и есть за что: таких, как он, было немного.

Мы подошли к драме — она и закончит наши записки.

Мы знаем, что просьбы об оставлении Федора ни к чему не привели. Его отзывали категорически и даже строго, когда он сам намекнул, что хотел бы остаться работать с Чапаевым. Оглянувшись на эти минувшие шесть месяцев, и сам Клычков теперь не узнавал себя,— так он вырос, так окреп духовно, так закалился в испытаниях, так просто и уверенно стал подходить к разрешению всевозможных вопросов, которые ему до фронта казались безмерно трудными. Только теперь почувствовал он могучее влияние боевой страды, воспитательное значение фронтовой обстановки...

Приехал Батурин, остановился у Федора. Разговорились по-приятельски про старое житье-бытье в Москве... Потом перешли на дивизию. Федор стал ему рассказывать про обстановку, в которой остается он работать. Мрачный, неразговорчивый, как будто чем-то опечаленный, Павел Степаныч сразу оживился, узнав, в какую своеобразную среду попал...

Днем заседала партийная дивизионная конференция. Федор проводил ее в последний раз, знакомил, между прочим, со всеми и своего заместителя. Тепло, задушевно, с искренним сожалением провожали товарищи Федора Клычкова,— его за эти полгода они полюбили и привыкли ценить, а особенно дорожили им потому, что умел сдерживать Чапаева и *чапаевщину,* то есть все эти неприятные, временами просто опасные выходки и выпады в сторону политработников, ЧК, штабов...

После конференции, вечером, Федор созвал к себе на прощанье всех командиров и комиссаров. Был тут и Павел Степаныч. Но странно было его настроение: как сел в угол, так и просидел почти без движения, никому не сказавши ни слова, все эти несколько часов, пока друзья и товарищи провожали Федора, поминали боевую минувшую жизнь, сожалели, что уходит простой, хороший, верный товарищ...

Наутро простились, расцеловались, разъехались в разные стороны: Федор — в Самару, а Чапаев с Батуриным — на позицию, по бригадам и полкам...

Наступали успешно. Бригада Шмарина да еще одна, приданная от другой дивизии, шли по Уралу, по большому тракту. Бригада Попова шла на Бухарскую сторону — так называются зауральские земли. Елань со своими полками совершил маневр на Усиху, куда приезжали к нему Чапаев с Федором после «ночных огней». Этот маневр не дал того, чего ждали; затраты были слишком велики — они не соответствовали результатам боев. Чапаев, такой чуткий и гибкий во всех своих действиях, так быстро все улавливавший и ко всему применявшийся, понял здесь, в степях, что с казаками бороться надо уж не тем оружием, как боролись недавно с мобилизованными насильно колчаковскими мужичками. Казаков на испуг не возьмешь, захваченной территорией с толку их не собьешь: территория казацкая — вся широкая степь, по которой будет он скакать вдоль и поперек, в которой всюду найдет привет казачьего населения, будет жить у тебя в тылу, будет неуловим и бесконечно вреден,— серьезно, по-настоящему опасен. Казацкие войска не гнать надо, не ждать надо, когда произойдет у них разложение, не станицы у них отымать одну за другою,— это дело очень важное и нужное, но не *главное*. А главное дело — *сокрушить* надо живую силу, уничтожить казацкие полки. Если из пленных колчаковцев было можно восполнять поредевшие ряды своих полков, то из пленных казаков этого набора делать невозможно: тут — что казак, то и враг непримиримый. Во всяком случае, другом и помощником сделается он не скоро! Уничтожение живой неприятельской силы — вот задача, которую поставил Чапаев перед собою. Чем дальше, глубже в степь, тем труднее это сделать: возрастет нужда, одолеет измученность, голод и безводица сделают свое дело, оторванность от центра скажется болезненно и тяжко.

Трудно будет и казаку, но трудней того — красноармейцу. Значит, надо торопиться, надо идти на все: жертвовать силами, жертвовать средствами, многое отдать сознательно, чтобы больше того не потерять, забравшись глубоко в степи. И Чапаев нащупывает пути, которые бы вели к намеченной цели. Усихинский

маневр — не то, совсем не то, что надо. И войска сгруппировываются, лобовым ударом берут вторую уральскую столицу — Лбищенск... Потери... да, потери, но результаты уже более серьезные. Пяток таких ударов — и кончено!

За Лбищенском миновали Горяченский. Под Мергеневским встали. Свое положение отступавшие казаки понимали отлично и видели, что́ ожидает их в голодном песчаном низовье. Отпор красным войскам надо дать где-то здесь, пока не поздно, пока не все потеряно. И они усиливают оборону станиц до последней степени. Крепко защищали Лбищенск, упорно держались, долго не отдавали, но там этот могучий лобовой удар, видимо, был для них неожиданным. Рассчитывали, что Чапаев все еще живет маневрами, все еще только верит в обхват. Ошиблись. Но на ошибке этой научились и теперь укрепили Мергеневский насколько хватило сил и средств: использовали оставшиеся от весенних боев глубокие окопы, сгрудили сюда артиллерию, наставили за каждым уголком, в каждую щель, попрятали в окопах пулеметы. Мергеневский брали красные полки лобовым ударом. Взяли. Несмотря ни на что — взяли. Положили немало казаков, но больше легло красноармейцев. Победа досталась дорогою ценой. Казаки уловили чапаевскую тактику и на каждый новый ход отвечали своим особым ходом. Когда убедился Чапаев по мергеневскому бою, что лобовой удар надо временно оставить,— Еланю дал задачу идти по большому пути, а Шмарина направил к Кушумской долине, на Кзыл-Убинский поселок, чтобы выходом против Сахарной облегчить захват этой станицы Еланю.

В это же время сюда из-под Сломихинской двигались казацкие полки; они набрели на хутор, где задержался иваново-вознесенский обоз. Начались ужасные расправы. Случайно спаслись, убежали только три красноармейца. Они и сообщили о случившемся. В бригаде затревожились — отсюда казаков не ждали. Повернули полк опять на хутор, на выручку обоза. Но вернуть его целиком не удалось — все лучшее захватили казаки с собой, с боем отступая от хутора.

Представилось ужасное зрелище: две девушки валялись с отрезанными грудями, бойцы — с размозженными черепами, с рассеченными лицами, перерубленными руками... Навзничь лежал один худенький окровавленный красноармеец, и в рот ему воткнут отрезанный член его... Омерзительно и страшно...

Этими ужасами казаки, видимо, хотели, кроме утоления мести, устрашить красноармейцев, заставить трепетать их казацкого плена, трепетать самого пребывания здесь, в степях, подтолкнуть к дезертирству. Результаты как раз получались обратные. Опасаясь казацкого плена и пыток, красные бойцы живыми в руки не давались и бились всегда с поражающей стойкостью, воистину «до последней капли крови». Молва о случившемся здесь, на хуторе, помчалась из роты в роту, по всем полкам. Раздавались проклятья свирепым палачам, бойцы давали себе клятву победить или умереть в бою!

Елань спустился с боем к Каршинскому и здесь ожидал вестей о подходе Шмарина, но тот с полками запутался в степи и никак не мог с ними в течение ряда дней установить связь. Посылал гонцов, но их перехватывали дежурившие кругом казацкие разъезды, выматывали у них разные сведения, отбирали письма и документы, а дальше — сносили голову. Расстреливать — жалели пуль, а вешать было не на чем. Сколько гонцов ни посылали — участь была одинаковая. А положение из рук вон плохо: станиц тут нет, голая степь кругом, только редко-редко хутор где встретится. Хлеба доели последние крохи, кололи скотину; питались одним мясом, поджаривая его на кострах. Усилились разные болезни, одолела желтуха. Лечить было некому и нечем. Воды нет. Скакали к Кушуму — он тут пересыхал— и доставали вместо воды только зеленовато-коричневую жижицу, наподобие той, что бывает в старых заплесневелых прудах. Наполняли котелки и ведерки этой мерзостью, отжимали грязь, а что оставалось — пили. Привозили по ведерку в полк, и там начиналась драка: кому первому?

Как-то случайно наткнулись на колодец. Немноговодны они, казацкие колодцы,— набралось тут всего пятнадцать ведер. Потребовалось у спуска, где цепляется бадья, поставить пулемет, а кругом — немалую охрану. Каждому полку выдавали поровну, и у поставленных ведер стояли тысячные очереди бойцов с желтыми, худыми, измученными лицами. Каждый подходил, заглядывал в студеную воду, и глаза его загорались недобрым огоньком,— так и казалось, что кинется он вперед, уцепится за ведро обеими руками, опустит в воду распаленную голову и жадными губами станет пить, пить, пить... Вы его бейте, рвите, гоните, стреляйте — он не оставит воды! Так бы, может, и случилось, если бы и тут не было охраны, если бы и тут кружка не передавалась через вторые руки. Подходит, сердяга, дадут ему эту кружку, и смотрит он, смотрит, как на дне тоненьким слоем раскатилась вода.

— Еще немножко, товарищ,— обратится он к водочерпию с умоляющим, скорбным, тяжелым взглядом.

— Нельзя... всем поровну...

— Хоть капельку...

— И капельки нельзя,— отвечают ему.

Посмотрит еще раз на дно, медленно поднесет к губам, все жалея пить, и долго-долго тянет и сосет, будто в кружке не вода, а густой, сочный, сладкий мед, и будто доверху его, никак не выпьешь, не осилишь.

Попадались колодцы, наполовину забросанные землею. Отрывали. Но там, в глубине, встречали только влажную грязную землю — воды не было. Два колодца встретились заваленные трупами коров и лошадей. Смердило. Вонь слышна была издалека. Но раскопали и эти колодцы. Повыбрасывали трупы, а добытую со дна вонючую шоколадную жижицу опять отжимали от всякой дряни и пили.

Так мучилась шмаринская бригада, пока не нащупала еланьевские полки, которые к тому времени уже захватили Сахарную. Ждать подмогу не стали, торопились идти дальше.

Грозный, взволнованный Чапаев отдал Шмарина под суд за невыполнение приказа и сам требовал — расстрелять его!

Но председательствовавший в комиссии по разбору дела Елань настаивал — снизить Шмарина на командира полка. В этом предложении его поддержал Батурин, и Шмарина наутро же убрали из комбригов.

Уже подготовлялись полки к дальнейшему походу через Калмыков на Гурьев, к Каспийскому морю. Но тут-то и случилась драма, которую никогда-никогда не забыть.

Штаб дивизии стоял во Лбищенске; отсюда Чапаев с Батуриным продолжали на автомобиле почти ежедневно навещать бригады. Подступали осенние холода. За свежими, ядреными днями опускались быстро сумерки, за сумерками — черные, глухие осенние ночи... Все безнадежней положение отступающих казацких частей: впереди безлюдье, голод, степной ковыль, чужая сторона... Если сопротивляться, то только теперь,— дальше будет поздно! И казаки решили сделать последнее отчаянное усилие: обмануть бдительность своего победоносного противника и ударить его прямо в сердце. Они решили проделать из-за Сахарной глубокий рейд мимо Чижинских болот по Кушумской долине — как раз мимо тех мест, где по весне у Сломихинской била их Чапаевская дивизия,— выйти незаметно в тыл красным войскам и внезапным ударом сокрушить все, что сгрудилось во Лбищенске. А здесь тогда было немало и народу, и учреждений дивизионных, и даже всякого добра военного: патронов, снарядов, обмундирования как раз привезли на ту пору,— собирались дивизию одевать-обувать, увидев, как от грязи, от голоду, от муки походной целые роты и батальоны повалкой лежали в тифу.

В этот многотрудный путь от Уральска на Гурьев от тифа бойцов убыло многим больше, чем от сражений. Халупы станиц, полковые обозы, а то и просто придорожные канавки полным-полны были больными красноармейцами. Одних не успевали отвозить, как

заболевали другие, а других везти было не на чем, и они оставались по пустым халупам пустых станиц или по траве, в канавах, на дороге...

Не было медикаментов, переболел и перемер наполовину медицинский состав. У казаков было немногим лучше, но на их стороне было то преимущество, что в станицы приходили они первые, все там забирали, все с собою угоняли, увозили, а то, чего были не в силах взять, сжигали, уничтожали, отравляли — всячески приводили в негодность. Красные полки двигались по местам разоренным и опустошенным, все больше и острее нуждаясь в хлебе, воде, патронах, снарядах, повозках, лошадях... Положение чем дальше, тем несноснее. Казаки это знали и хорошо учитывали при своем, бесспорно талантливом налете. Они думали: когда уничтожен будет штаб, разорвана связь и полки, ушедшие вниз на сотню верст, останутся с голыми руками,— они сдадутся сами по себе, видя полную безнадежность дальнейшего сопротивления... Будет сокрушена, думали они, несокрушимая Чапаевская дивизия, а вместе с ее гибелью освободятся от красных пришельцев уральские степи...

На операцию свою возлагали они надежды очень крупные и потому во главе дела поставили опытнейших военных руководителей... Над Лбищенском собирались черные тучи, а он не знал, что так близка эта ужасная катастрофа...

Сегодня Чапаев мрачнее обыкновенного: рано утром умчался на автомобиле, но пробыл на фронте недолго, в полдень воротился во Лбищенск... Продвижение стало замедляться: тиф косил бойцов без жалости и без счету, обозы не могли доставлять ко времени все необходимое. Он видел и понимал, что «подтянуть» никого и никак нельзя,— через себя не перескочишь! Бригады работали, выбиваясь из сил, но тяжкая обстановка одолевала даже героическое, самоотверженное напряжение. Мрачен Чапаев. Забежал на минутку к Батурину, поделился сомнениями — опять к себе. Все ходит, ходит взад-вперед по комнате просторной казацкой избы. Хочется ему придумать что-то — и не может придумать, потому что нет его, этого

желанного ответа. Петька из-за двери посматривает и молчит, только ждет — не прикажет ли ему что-нибудь Василий Иваныч.

Приходил Чеков, но еще в коридоре остановил его Петька и посоветовал лучше не ходить. «Сейчас не для тебя у него время, друг»,— сказал он Чекову, и тот, пофыркивая в густые пышные усы, без разговоров повернулся и ушел. Заглянул Теткин Илья. Этот что-то даже «очень важное» сообщить хотел, но и он, услышав, в каком состоянии духа Чапаев, ушел обратно... С болью сердечной пришлось только пропустить начальника штаба Ночкова. Но этот с «докладом» шел, его и отговаривать Петька не осмелился.

Ночков, молодой человек лет двадцати трех, офицер, был одним из тех немногих, которым Чапаев доверял, а Ночкова он даже и любил. Поступивши в Красную Армию еще в 1918 году, он многократно успел доказать свою преданность общему делу, был, кажется, ранен, командиров всех знал лично, понимал их верно, ладил с ними по-товарищески, и они его любили и уважали,— «свой» был, словом, человек. Насколько его уважал Чапаев — уже по тому одному можно заключить, что за все время совместной работы ни разу на него не крикнул, не грозил, не пугал всеми муками ада, а таких счастливцев не было ведь почти ни одного.

Ночков вошел в комнату и остановился у приотворенной двери, придерживая под мышкой пачку бумаг.

— Входи, чего ты? — посмотрел на него Чапаев.

— Слушаю,— подошел Ночков и, увидев, что Чапаев сел к столу, наклонился и стоя начал доклад. Он рассказывал и показывал по карте, какую линию заняла дивизия по последним сводкам. Особенно Чапаев остановился расспросами на сведениях о бригаде, которая ушла за Урал, на Бухарскую сторону, и, отрезанная, почти лишенная подвоза, сражалась там в безмерно трудных условиях. Но когда узнал он, что телеграммой оттуда извещают о прибытии последнего транспорта,— повеселел, стал ласковей, говорил спокойней и тише.

— Как известно вам,— докладывал Ночков,— на

обозников тут неподалеку, верстах в пятнадцати, вчера нападение сделано.

— Знаю.

— Расследовали, произвели дознание. Есть убитые и раненые... Казачий разъезд, преследуя, подходил совсем близко к станице, но потом ускакал в неизвестном направлении.

— Догоняли? — спросил Чапаев.

— Опоздали, не видели даже, куда ускакал. Обозники, что спаслись, тоже не знают.

— А не думаешь, Ночков, што тут, близко где-нибудь, побольше имеется?

— Не могу знать. По вашему приказанию рано утром сегодня пущены во все стороны разъезды, улетело два аэроплана...

— Нет еще никого?

— Летчики здесь докладывали: нет ничего, движения никакого не заметно.

— Ты знаешь? — спросил Чапаев.— Сегодня выставишь школу курсантов.

— Слушаю...

Еще несколько вопросов, и Чапаев отпустил Ночкова. Скоро пришел Павел Степаныч. Он только что разговаривал с вернувшимися разведчиками,— нигде ничего ими не обнаружено.

До сих пор удивительным и неразгаданным остается: кто же в ту роковую ночь дивизионную школу снял с караула? Чапаев такого распоряжения никому не давал, Ночков — вне всяких подозрений: он сражался геройски и тяжко пострадал той ночью во лбищенском бою.

Что у казаков была связь со станичниками — в том нет никакого сомнения. По крайней мере в некоторых избах сразу обнаружились засады; оттуда били и винтовки и пулеметы; склады и учреждения дивизионные указывались чрезвычайно быстро,— все подготовлено и рассмотрено было заранее.

Когда Батурин сидел у Чапаева, мимо Петьки, несмотря на сопротивление, прорвалась к ним какая-то доброжелательная казачка, у которой сын служил в Уральске, и впопыхах старалась рассказать и убедить,

что приближается опасность, потому что «в поле ездют», но и это предупреждение не имело никакой силы: Чапаев с Батуриным только усмехнулись, подумав, что женщина говорит про тот самый разъезд, который наскочил на обозников... Про эту «дуру бабу» Петька рассказывал тут же пришедшему вторично Теткину, который безобидно повернулся опять, узнав, что — занят «с комиссаром»...

Уж полночь давно осталась позади, чуть дрожали предрассветные сумерки, но спит еще станица спокойным сном. Передовые казацкие разъезды тихо подступили к околице, сняли часовых... За ними подъезжали, смыкались, грудились и, когда уже довольно накопилось, двинулись черной массой.

Прозвучали первые тревожные выстрелы дозорных... Поздно была обнаружена опасность,— казаки уж рассеялись по улицам станицы... Поднялась беспорядочная, слепая стрельба — никто не знал, в кого и куда надо стрелять... Красноармейцы повскакали и в одном белье метались в разные стороны. Видна была полная неорганизованность, полная неподготовленность... Отдельные кучки сбивались сами по себе, и те, что успели захватить винтовки, задерживались на каждом мало-мальски удобном месте, где можно было спрятаться, открывали огонь вдоль по улицам, а потом снимались и бежали дальше к реке. Общее направление всех отступавших было на берег Урала. Казаки гонялись на окраине за бегущими красноармейцами, рубили, захватывали, куда-то уводили,— здесь не было почти никакого сопротивления. Но проникнуть в центр станицы не могли... В одном месте несколько десятков человек сгрудились вокруг Чапаева и скоро залегли цепью. Сам Чапаев выскочил тоже в белье — с ним была винтовка, в левой руке держал револьвер... Уж совсем поредели сумерки, можно было все рассмотреть без труда... Прошли в ожидании две-три томительных минуты... Цепь увидала, как на нее неслась казацкая лава. Дали залп, другой, третий... Затрещал подтащенный пулемет — лава отхлынула.

На соседней улице, где остановился политический отдел, возле Батурина тоже сомкнулась группа человек в восемьдесят: тут были с Суворовым во главе почти все работники политотдела, сам Батурин, Ночков, Крайнюков... Увидев, что казацкие атаки становятся все чаще и настойчивее, Батурин сам повел в атаку свой крошечный отряд... Этот удар был так неожидан, что ехавшие впереди на повозках казацкие пулеметчики повскакали и кинулись бежать, оставив Батурину в руки два пулемета... Пулеметы повернуты были немедленно против врага... В это время тяжело в ногу ранен был Ночков. Его оттащили немного в сторону, но не знали, куда деть, оставили. Он дополз до халупы, протащился и спрятался там под лавку... Батуринская группа держалась дольше всех, но, не имея связи ни в одну сторону, она до последнего момента верила, что является только горсточкой, а главный бой главными силами идет где-то по соседству, верно, около Чапаева... Так и погибла с этой верой... Связи не было, и потому успех одной группы совершенно парализовался соседними неудачами: никто не знал, что делается рядом, что надо делать самому. Увидев, что лобовыми атаками скоро успехов не добьешься, казаки частью спешились и задворками, через сады, стали проникать в тыл обороняющимся группам...

Когда поднялась в тылу перестрелка, а тут, с фронта, снова и снова выносились казацкие лавы, группа батуринская не выдержала, начала отступать, рассеялась. Помчались бойцы в одиночку прятаться кто куда успеет. Не уцелел, конечно, ни один... Жители выдавали поголовно; спаслись только убежавшие к Уралу, сохранившиеся при переправе... Батурин убежал в халупу и спрятался где-то под печью, но хозяйка выдала его немедленно, рассказала, что «это, надо быть, сам комиссар и есть»,— помнила, знать, окаянная, по собранию, где Павел Степанович держал к станичникам речь. Разъяренные, рассвирепевшие казаки, узнав, что в руки попал «сам комиссар», даже и не подумали что-либо узнавать от него, допрашивать и выпытывать,— они горели звериной охотой поскорее

учинить над ним кровавую расправу. Выволокли на волю — каждому хотелось первому всадить ему в грудь холодное лезвие... Потрясали над головой оружием, скрещивались, звенели шашками, с остервенелыми лицами ждали, когда его бросят на землю... И как только бросили,— в горло, в живот, в лицо воткнулись шашки и штыки... Началась вакханалия. Но и этого было мало: ухватили за ноги, ударили, размахнувшись, с такой силой, что разлетелась черепная коробка, выскочили мозги... Потом рвали, драли, кололи и резали его одежду, пинали этот сгусток мяса и крови, каждый метил пнуть непременно в лицо... Тут же поблизости стояло несколько пленных красноармейцев; они с ужасом смотрели, во что превращен был славный комиссар Павел Степаныч Батурин. Несчастные! Они почти все до одного — уже через несколько минут — сами погибли под казацкими шашками...

А Чапаев — где он?

В окопах долго удержаться не удалось,— и сюда проникли по берегу казаки. Надо было отступать к обрыву... Здесь обрыв высоко над волнами, и на горку идти — все равно, что быть мишенью. Но деваться некуда, по обеим сторонам уже поставлены казацкие пулеметы: они бьют по реке и хоронят пловцов, которые думали скрыться на Бухарскую сторону. Чапаеву пробило руку. Он вздумал утереть лицо и оставил кровавые полосы на щеке и на лбу... Петька был все время подле.

— Василий Иваныч, дайте голову завяжу,— крикнул он Чапаеву.

— Ничего... голова здоровая...

— Кровь на лбу бежит,— задыхающимся голосом старался его уверить Петька.

— Ну, полно — все равно...

Они шаг за шагом отступали к обрыву... Не было почти никакой надежды — мало кто успевал спастись через бурный Урал. Но Чапаева решили спасти.

— Спускай его на воду,— крикнул Петька.

И все поняли, кого это *«его»* надо спускать. Четверо ближе стоявших, поддерживая бережно окровав-

ленную руку, сводили Чапаева тихо вниз по песчаному срыву. Вот кинулись все четверо, поплыли. Двоих убило в тот же миг, лишь только коснулись воды. Плыли двое, уже были у самого берега — и в этот момент хищная пуля ударила Чапаева в голову. Когда спутник, уползший в осоку, оглянулся,— позади не было никого: Чапаев потонул в волнах Урала...

А Петька остался на берегу до конца и, когда винтовка стала не нужна, выстрелил шесть нагановских патронов по наступавшей казацкой цепи, а седьмую — в сердце. И казаки остервенело издевались над трупом этого маленького рядового, но такого славного, благородного воина. С большим трудом потом опознали товарищи эту раздавленную в песке кровавую массу человеческого тела...

Месяца через два после этой трагической кончины Революционный военный совет республики отдал приказ о том, что за славные дела награждается орденом Красного Знамени славный воин Петр Исаев... Опоздала почетная награда — на два месяца не захватила своего героя.

Вместе со всеми до самого берега отступал с Исаевым рядом и Чеков. Его убили на песке, к воде спуститься не успел — пуля пробила ему голову.

Теперь сопротивления уже не оказывали нигде. Казаки гонялись за убегавшими, нагоняли их, ловили и зарубали на месте...

— Жиды, комиссары и коммунисты — выходи!

И те выступали вперед, не желая подводить под расстрел красноармейцев,— только не всегда их этим спасали. Выходили перед рядами своих товарищей — такие гордые и прекрасные в своем молчаливом мужестве, с дрожащими губами, с горевшими гневными глазами и, посылая проклятья казацкой нагайке, умирали под ударами шашек, под ружейными пулями... Других уводили в поле, под пулеметы... Там, за станицей, есть три огромных кирпичных ямы,— они были доверху завалены трупами расстрелянных...

Бригады стояли у Сахарной и выше по станицам, когда помчалась страшная весть: уничтожен штаб, политический отдел, все дивизионное командование,

разрушена связь, отнят отдел снабжения — нет и не будет снарядов, патронов, одежи, обуви, хлеба... Очутиться в таком положении — ужасно! Красноармейцы измучены боями, изнурены голодухой, безбожно — целыми ротами — мучаются, гибнут в тифу... Отрезанные, окруженные казаками, потерявшие управление — что станут делать?

Елань взял на себя командование дивизией,— никто его не назначал, не утверждал,— сам взял, ждать было некогда.

Идти вперед — бессмысленно! Идти назад — это значило с голыми руками пробиваться сквозь казацкие массы у Лбищенска. Но в этом последнем исходе хоть отдаленно поблескивает надежда на успех, а в первом решении и этой надежды нет — там верная, скорая гибель. Решено отступать немедленно, быстро, незаметно снявшись со стоянок, стараясь неприятеля ввести в заблуждение, обмануть его бдительность... Один другому со скорбью, ужасом передавали бойцы мрачную весть, и скоро все до последнего знали о том, что случилось во Лбищенске.

— Вперед или назад? — спрашивали друг друга и не знали того, что сам новый командир осиротелой дивизии не решил еще в ту минуту этого больного, мучительного вопроса: вперед или назад?

От Мергеневского бригада пошла первая, скоро за нею должна была идти и вторая, что стояла в Сахарной... Сняться решено было ночью — так тихо, чтобы неприятель и не думал, что уходят красные полки. В кольцо замкнули обозы и артиллерию, оставили на охрану кавалерийский дивизион, поднялись и бесшумно, тихим ходом задвигались во тьме... В станице горели костры,— пусть думают казаки, что у этих костров все еще греются безмятежно красные бойцы...

А они все дальше, дальше уходят в степь... Команда — шепотом, и этот шепот из уст в уста передается по невидимым цепям и колоннам... Скрипнет колесо, придавит кому-нибудь ногу, и он охнет невольно. Кто-то глухо, сдержанно кашлянет в кулак,— и снова тишина, тишина... Не шли, а словно на крыльях летели. Уж позади остался Каршинский поселок, вот на виду

Мергеневский... В это время донесся издалека глухой тяжелый удар,— в Сахарной отступавший последним кавалерийский дивизион взорвал оставшиеся снаряды, их не на чем было увозить... Как только взорвал, на рысях ударился догонять давно ушедшие части...

Почти двое суток шагали не отдыхая. Чуть приникнут — и дальше: некогда стоять, дорогà каждая минута... На вторую ночь подходили ко Лбищенску. Отсюда казаки еще накануне, до прихода первой бригады из Мергеневского, ушли вверх на Уральск. Они тоже торопились и много надежд возлагали на внезапность, на быстроту удара. Отрезанные части они считали обреченными: их добьют из Сахарной! А сами — скорей, скорей на Уральск! Но обернулось поиному, совсем по-иному: «обреченные» остались живы и целы.

Вот уж и вторая бригада проходит через зловещий кровавый Лбищенск... Он все еще страшен, глух и пуст. Валяются по улицам неубранные тела проколотых, иссеченных шашками, расстрелянных красноармейцев... Первая бригада не задерживалась здесь — ушла тогда же на Кожехаров. Трупы подбирали, уносили, хоронили... Отправились в поле и в общие братские могилы схоронили тех, что сотнями поставлены были под казацкие пулеметы... Ни прощальных слов, ни похоронного марша — с обнаженными головами опускались бойцы на колени и застывали в безмолвии над дорогими могилами, полные скорбных чувств, тяжелых и суровых дум...

Во Лбищенске отдыхали недолго — снялись и пошли... Тут настигли преследовавшие от Сахарной казацкие части, и завязался бой — бой не на жизнь, а на смерть. Казаки не хотели верить, что столь измученные войска могут сопротивляться, наскакивали бешеными атаками, торопились покончить упущенное дело. А красные полки, обреченные на гибель, вырывались из железных объятий смерти, пробивали путь, отражали атаки, доказали еще и еще в этой изумительной обстановке, чтó представляли из себя полки Чапаевской дивизии...

Под хутором Янайским очутились ночью. Усталость была беспредельная. Повалились с ног. Каменным сном заснули бойцы... Даже караулы не могли совладеть с собою — спали и они. Красный лагерь представлял собою сплошное мертвое царство. Казаки приготовились к внезапному удару; они цепями подкрались почти вплотную, замерли в нескольких шагах, только боялись начать в такую глухую непроглядную темь,— ждали первых признаков робкого, дрожащего рассвета... Конные массы отброшены по флангам,— они нацелились поскакать за бегущими, перепуганными красноармейцами... Было все готово. Над красными частями нависала смерть!

Первый удар казаки давали на испытание: будет паника или нет? побегут или останутся на месте?.. И только колыхнулся дремучий мрак сентябрьской ночи, как по казацким частям загремело: «Ура!!! ура!!! ура!!!» Залпами открыли огонь... Откуда-то сзади грохнули орудия...

Как ни крепко спали бойцы — повскакивали и сразу за винтовки... Но не было порядка, не было стройного сопротивления,— от первых же казацких пуль погибло немало командиров. Произошло замешательство. Никто не мог определить сразу, что надо делать, ждали команду, но ее не было. Сопротивление было раздробленным, случайным, ненадежным... Все нарастал беспорядок, все увеличивалось замешательство, с минуты на минуту можно было ожидать сумасшедшей, губительной паники... Командир артиллерийского дивизиона Николай Хребтов,— тот, что работал у Красного Яра,— подбежал к орудиям, но там не было наготове ни одного «номера»: кто отбежал к повозкам, кто лежал уткнувшись, спасаясь от огня... Властным окриком поднял людей, пустил снаряд, за ним другой, третий... и открыл жестокий, сокрушительный огонь... Этого было достаточно, чтобы предотвратить панику. Лишь только бойцы увидели, услышали, что бьют свои батареи,— встрепенулись, ободрились, а тут на смену погибшим командирам явились новые. Завязался упорный, кровопролитнейший бой,— таких

боев немного запомнят даже старые боевые командиры Чапаевской дивизии... От сопротивления переходили к атакам и снова замирали, когда несносен становился пулеметный огонь...

С грохотом и воем шли на красные цепи два неприятельских броневика: один в открытую, по равнине, другой в обход, по глубокому оврагу. Не привыкать стать — только еще плотнее прилегли к земле, застыли в ожидании... А когда чудовище приблизилось, Николай Хребтов одному снарядом угодил прямо в лоб, и тот, покачнувшись, осел на месте... Восторгу не было пределов... Поднялись на новую атаку. И били... А потом снова зарывались в землю и ждали очередной ответной схватки...

Казаков угнали за несколько верст. В этом янайском бою немало погибло красных бойцов, но еще больше на поле осталось казаков. И так было, что лежали они рядами,— здесь скошена была вся цепь неумолимым пулеметным огнем...

Другого боя, подобного янайскому, не было. Скоро подошла подмога... Казаки угонялись вспять через те же хутора и станицы, где лишь несколько дней тому быстро-быстро спешили от погони красные полки. Теперь они снова шли в наступление уж на самый Гурьев, до берегов Каспийского моря...

Проходили и Лбищенск, застывали над братскими могилами, пели похоронные песни, клялись бороться, клялись победить, вспоминали тех, что с беззаветным мужеством отдали свои жизни на берегах и в волнах неспокойного Урала.

Москва
20/I 1923

ПРИМЕЧАНИЯ

4 января 1923 года Д. А. Фурманов записал в своем дневнике:

«Только что закончил я последние строки «Чапаева». Отделал начисто. И остался я будто без лучшего, любимого друга...»[1]

Книга была написана в очень короткие сроки. В дневниковой записи от 21 сентября 1922 г. говорится: «Писать все не приступил: объят благоговейным торжественным страхом. Готовлюсь...»[2] А на законченной рукописи (хранится в архиве Института мировой литературы им. Горького АН СССР) рукою автора проставлена дата: «Москва 1/XII 1922 г.».

Еще более месяца Фурманов работал затем над отделкой рукописи. Вписывал новые сцены и картины, менее удачные вычеркивал, некоторые слова и выражения заменял более точными и образными.

Впоследствии автор не раз сетовал на себя за поспешность, с которой писал он своего «Чапаева». Однако, изучая творческую историю произведения, которая легко прослеживается по дневникам автора (эти материалы будут опубликованы в IV томе настоящего издания), можно установить, что книга была создана так быстро потому, что и замысел ее и образы складывались в воображении писателя задолго до того, как осенью 1922 года он приступил к ее написанию.

Еще в 1919 году, когда Фурманов — военный комиссар Чапаевской дивизии — принимал самое непосредственное и активное участие в событиях, он присматривался зорким глазом художника к своим будущим героям, фиксировал самое важное. Дневники марта — августа этого года полны описаниями отдель-

---

[1] Д. А. Фурманов, Сочинения в трех томах, Гослитиздат, М. 1952, т. 3, стр. 236.

[2] Там же, стр. 231.

ных встреч и эпизодов, разнообразных портретных зарисовок. Особенно много записей посвящено Чапаеву.

«Его личность поглотила мое внимание,— признается Фурманов.— Я все время к нему присматриваюсь, слушаю внимательно, что и как он говорит, что и как делает. Мне хочется понять его до дна и окончательно»[1].

Увлеченный яркостью и самобытностью Чапаева, Фурманов в то же время сознает, что полководец не исключительная романтическая личность, не сверхчеловек, что всеми чертами своего характера обязан он народу — мужественному, стойкому, героическому. И не случайно по первоначальным замыслам автор хотел дать следующее посвящение к своей книге:

«Мужикам Самарской губернии, уральским рабочим, красным ткачам Иваново-Вознесенска, киргизам и латышам, мадьярам и австрийцам, всем, кто составлял непобедимые полки Чапаевской дивизии, кто в суровые годы гражданской войны часто без хлеба, сапог, без рубах, без патрон, без снарядов — с одним штыком сумел пройти по Уральским степям до Каспийского моря, по Самарским лугам, на Колчака, на западе — против польских панов, кто мужественно бился против бело-казацкой орды, против полков офицерских, кто кровь свою пролил за великое дело, кто отдал жизнь свою на алтарь борьбы — всем вам, герои гражданской войны, чапаевцы, я посвящаю эту книгу»[2].

Новые события, ответственные обязанности на других фронтах не стирали впечатлений о Чапаевской дивизии. Большая политическая и военная работа проясняла, делала более зрелыми первоначальные замыслы.

Журналистская деятельность Фурманова, работа в газете «Красный воин» были серьезной подготовкой к его художественному творчеству. В течение 1919—1922 годов он опубликовал в иваново-вознесенской газете «Рабочий край» очерки «Пилюгинский бой», «Уфимский бой», «Освобожденный Уральск», «Как погибли тт. Чапаев и Батурин», «Лбищенская драма» и другие материалы, которые можно рассматривать, как творческие заготовки к «Чапаеву».

Когда Фурманов в начале 1922 года решает приступить к написанию романа, он с полным основанием пишет в своем дневни-

---

[1] Архив Института мировой литературы им. Горького (в дальнейшем именуемый: Архив ИМЛИ), II-62, 1711.

[2] Там же, II-62, 1957.

ке: «На первое место выступил Чапаев — тут материала много и, в первую очередь, материал, хранящийся в моих дневниках. Его очень, даже очень много» [1]. Но писатель не ограничивается только этим. Он завязывает оживленную переписку со многими участниками событий; читает газеты тех лет, черпая в них живой исторический материал; знакомится в архиве Красной Армии с докладами и донесениями участников похода Чапаевской дивизии, изучает географические и этнографические описания Уральских степей и Самарской губернии, где формировались и действовали ее легендарные полки.

Однако Фурманов не ставит своей задачей включить в повествование все события и следовать им с точностью летописца. «Читаю про Чапаева много — материала горы. Происходит борьба с материалом: что использовать, что оставить?» [2] И тут же среди бесчисленных записей в дневнике в период предварительных раздумий над «Чапаевым»: «Голова и сердце полны этой рождающейся повестью... Готовлюсь: читаю, думаю, узнаю, припоминаю — делаю все к тому, чтобы приступить, имея в сыром виде едва ли не весь материал, кроме *вымысла*». (Курсив наш.— *М. С.*) [3]

Сохранилось несколько вариантов плана произведения, по которым можно судить о первоначальном стремлении автора оживить сюжет, наметить любовно-романтическую линию. По некоторым планам Чапаев изображен влюбленным в Наю, жену Фурманова, служившую в той же дивизии. Она выступает то под именем Ксаны, то Татьяны.

Приводим один из вариантов:

«План книги «Чапаев»

1. Степь. 2. У командующего. 3. Александров-Гай. 4. Чапаев. 5. Первый бой. 6. Эшелоны. 7. На Колчака. 8. Исповедь Чапаева другу (автобиография Чапаева). 9. Татьяна. 10. Поход. 11. Шпионка. 12. Начало романа. 13. Коля (разведчик). 14. Ревность. 15. Уфимский бой. 16. Раненый герой. 17. На Урал. 18. Освобож-

---

[1] Архив ИМЛИ, II-62, 1181.

[2] Д. А. Фурманов, Сочинения в трех томах, Гослитиздат, М. 1952, т. 3, стр. 231—232.

[3] Архив ИМЛИ, II-62, 1181.

дение Уральска. 19. По уральским степям к морю. 20. Заплутались в степи. 21. Ссоры учащаются. 22. Телеграмма. 23. Разлука. 24. Гибель Чапаева. 25. Вечеринка в Сорочинском. 26. Ложная тревога. 27. Пленные»[1].

Впоследствии Фурманов отказался от своего первоначального намерения, почувствовав как художник, что образ Чапаева получит наибольшую убедительность в героико-эпическом, а не интимно-лирическом плане.

Сравнение дневниковых записей с опубликованным текстом помогает уяснить процесс художественного творчества: как из отдельных портретных зарисовок создавались типические образы, как незначительный факт, отдельный эпизод, случайная, на первый взгляд, деталь превращались затем в подлинно художественные сцены и картины народной жизни.

Так, например, 11 марта 1919 года Фурманов записал в своем дневнике:

«Наутро были проведены митинги по всем полкам, и красноармейцы поклялись впредь грабежей не делать, борясь с этим злом в своей среде самым жестоким образом. Один товарищ возвратил драгоценный серебряный пояс, за который ему давали 3 тыс. рублей. Впечатление от митинга самое хорошее»[2].

В печатном тексте эта наспех сделанная запись развернута в широкую картину, в которой главную роль играет Чапаев как воспитатель и организатор красноармейской массы. Художественно осязаемым становится и красноармеец, о котором в дневнике Фурманов упоминает лишь вскользь («Один товарищ... возвратил драгоценный серебряный пояс»).

Еще один пример. Под впечатлением разговора с очевидцем лбищенской драмы, Пестовым, рассказавшим писателю о последних минутах жизни Чапаева, Фурманов записал в своем дневнике:

«Уже много бойцов свалилось в Урал, пораженные неприятельскими пулями; многие кинулись сами в бурные волны Урала, желая достигнуть противоположного берега, но редко кому удавалось переплыть быструю реку, и почти все пловцы погибли в волнах. На обрыве остался один Чапай, предпоследним кинулся в волны военком санчасти — он остался жив. Больше Чапая никто не видал. Может быть, он тоже упал в бурные волны Урала, сраженный казацкою пулей, а, может быть, сам угодил себе в сердце

---

[1] Архив ИМЛИ, II-62, 1922.
[2] Там же.

и теплым трупом отдался свирепым врагам? Никто не знает, никто дальше не видел героя, благородного бойца Чапая» [1].

Сцена гибели Чапаева в книге не копирует эту запись и в то же время она ближе к действительности,— спаянная в одну семью Чапаевская дивизия остается в восприятии читателя такой до конца.

Изучение рукописи произведения способствует еще более глубокому проникновению в творческую лабораторию писателя, в самый процесс осуществления авторского замысла.

В ряде случаев рукописный текст «Чапаева» полнее его первого издания. В рукописи вычеркнута целая глава «Револьвер», не уступающая по своим художественным достоинствам остальным главам. Но в какой-то степени она выпадает из общего содержания произведения и несколько тормозит развитие сюжета. Точно так же автор не включает в печатный текст большое лирическое вступление к главе «Степь», опасаясь, очевидно, некоторой выспренности стиля.

Вместе с тем в рукопись дополнительно вписан отрывок к главе «В Бугуруслан», рассказывающий об отчаянно смелой операции верного соратника Чапаева — Павла Еланя. Кроме того, была написана живая, полная юмора сценка, в которой Елань рассказывал Клычкову о своей ссоре с Чапаевым. Об Елане в рукописи сказано: «Фамилия была у него какая-то другая, но эту настоящую фамилию никто не знал, а звали просто Еланем» [2].

Кстати, Фурманов и не стремился давать своим героям их настоящие, подлинные имена, он делал это в исключительных случаях. Под именем Еланя был нарисован образ действительного героя гражданской войны Кутякова.

Еще в предварительных записях к книге Фурманов упоминает имена лучших сынов народа, составивших славу Чапаевской дивизии: «Литая была дивизия, удивительная. Чапаеву легко было руководить полками — там кругом все такие же ребята, сотни раз понюхавшие пороху: Кутяков, Попов, Бубунец, Рязанцев, Михайлов — этих командиров тоже помнят Уральские степи» [3].

18 марта 1923 года вышло первое издание «Чапаева», а спустя некоторое время в том же году появилось и второе издание, осуществленное Госиздатом совместно с Истпартом.

---

[1] Цит. по книге Е. Наумова «Д. А. Фурманов», Гослитиздат, М. 1954, стр. 97.
[2] Архив ИМЛИ, II-62, 576.
[3] Там же, II-62, 1924.

Первое и второе издания почти идентичны. В них наблюдается только замена отдельных слов и нескольких фраз.

Эти два издания и третье издание 1925 года имели под текстом дату: «20/I 1923 г.».

При подготовке книги к третьему изданию, вышедшему в 1925 году с предисловием А. В. Луначарского, Фурманов внес более существенные изменения, уделив особое внимание развитию образа Чапаева. Эта правка коснулась в основном главы «Сломихинский бой», в которой с особой полнотой можно было раскрыть существенные черты нового, советского командира, кровными узами связанного со своими бойцами.

В первом и втором изданиях роль Чапаева в бою давалась лишь описательно:

«Чапаев был на левом фланге, когда неслась на него казацкая лава. Во фланг ударить он не дал, живо перестроил цепь, обернул ее лицом к скачущей коннице и, подпустив, скомандовал огонь. Все делал, конечно, не сам, через командира» [1].

Вписав новые две страницы в текст третьего издания, Фурманов сделал ощутимой и близкой живую связь командира с бойцами:

«И он пронесся по рядам припавших в землю бойцов:

— Не робей, не робей, ребята! не вставать... подпустить и огонь по команде... Всем на месте... Огонь по команде!!!

Крепкое, твердое слово так нужно бойцам в эти последние, роковые мгновенья! Они спокойны... Они слышат, они видят, что Чапаев с ними. И верят, что не будет беды...» [2]

Желание представить Чапаева в его делах и поступках, а не в рассуждениях, сказалось и в том, что в главе XI «До Белебея» был исключен большой отрывок описательного характера («Чапаев совершенно не принадлежал к типу героев-ловкачей...»).

Устранялись выражения, которые мешали развитию действия: «Федор успел даже побеседовать про Чапаева, но об этом впереди» («Александров-Гай»). «Забегая вперед, скажем, что уже наутро почти всем были возвращены пропавшие вещи...» («Сломихинский бой»). В этой же главе выброшена фраза, звучавшая несколько риторически. «Сколько тут муки, но сколько и счастья — умереть в бою! И за что? За великие, святые идеалы!» В главе X «В Бугуруслан» исключены подробные описания

[1] Дм. Фурманов, Чапаев, изд. 2-е, Госиздат, 1923, стр. 51.
[2] Дм. Фурманов, Чапаев, изд. 3-е, Госиздат, 1925, стр. 65.

взаимоотношений рядового бойца и командира, носившие характер газетного описания.

Но наиболее значительной авторской правке подвергся текст «Чапаева» при подготовке к четвертому изданию 1926 года.

Известно, что Фурманов, по свойственной ему скромности и требовательности к себе, постоянно сомневался в художественных достоинствах своей книги. В предисловии к первому ее изданию он даже писал: «На признание художественности отделки не претендую» [1]. После получения письма от Горького 27 августа 1925 года, в котором содержалось много критических замечаний и полезных советов, Фурманов не оставляет мысли о переработке «Чапаева». 1 января 1926 года он записывает в своем дневнике:

«Мой рост, отточка мастерства за последний год, выросшая бережность и любовь к слову, бережность к имени своему — это все не раз наводило меня на мысль переработать коренным образом «Чапаева», самую любимую мою книгу, моего литературного первенца. Мог бы я его сделать лучше? Мог. Могу... Как это может быть? А так, что на полгода отложить «Писателей», вовсе отложить, взять Чапая с первой строки и переписывать — обрабатывать тщательнейше строчку за строчкой — так все 15 листов!

Это — полгода. И больше в эти полгода — ничего. Это как раз к собранию сочинений:

Обновленный Чапаев!

И уж вовсе решил. Достал стопу бумаги, на первом листе написал, как когда-то, три года назад: ЧАПАЕВ.

Написал — и испытал то самое чувство, когда его садился писать впервые. Дал главу: «Рабочий отряд». И встал. Открыл Чапая. Прочитал несколько страниц и ощутил, что перерабатывать не могу. Как же я стану — да тут же каждое мне местечко дорого — нет, не стану и не могу. Самое большое, на что пойду — словарь подсвежить, но это же я могу и по книжному тексту сделать» [2].

Осуществляя этот замысел, Фурманов начинает свою работу на одном из экземпляров третьего издания (1925). Правка далеко перерастает первоначальное намерение «словарь подсвежить». Дорисовываются портреты некоторых действующих лиц, углубляются психологические характеристики, дописываются диалоги, более впечатляющими становятся многие сцены романа. Эта

---

[1] Дм. Фурманов, Чапаев, Госиздат, 1923, стр. 3.
[2] Архив ИМЛИ, II-62, 1581.

правка иногда не вмещается между строк и на полях книги, и автор делает пять вставок на отдельных листочках бумаги.

Преждевременная смерть писателя прервала начатую им работу. Фурманов успел переработать 73 страницы издания 1925 года. Этот экземпляр с авторской правкой хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства. Две первые вставки из пяти, считавшиеся утраченными, обнаружены в настоящее время в архиве ИМЛИ. Текст этой последней авторской редакции целиком вошел в четвертое издание 1926 года, для которого автор и начал свою работу. По этому изданию делались все дальнейшие публикации книги. В основе настоящего издания лежит также текст четвертого издания, составивший первый том собрания сочинений. До выхода его в свет отдельные главы «Чапаева», переработанные автором, были опубликованы в периодической печати и газете «Правда»: в журнале «Молодая гвардия» (1926, № 3, март) — глава «Степь», с подзаголовком: «(Впервые печатающаяся окончательная переработка главы из романа «Чапаев»); в журнале «Октябрь» (1926, № 4, апрель) — «Отрывок из «Чапаева». Переработано автором. I. Рабочий отряд»; в газете «Правда» (1926, № 65, 21 марта) — «Сломихинский бой», с подстрочным примечанием от редакции: «Это отрывок из книги «Чапаев», коренным образом переработанный автором для собрания сочинений, выпускаемого Госиздатом».

Вместе с тем то обстоятельство, что четвертое издание вышло в свет спустя несколько месяцев после смерти писателя, не дает полной уверенности, что этот текст полностью авторизован. Здесь нужны дальнейшие изыскания.

Для настоящего издания текст «Чапаева» сверен со всеми прижизненными изданиями и рукописью, вновь считан с последней авторской редакцией. Это дало возможность очистить текст от опечаток, накопившихся за многие годы его публикаций, некоторых неточностей и искажений — в частности, замены имен.

Если сравнить текст четвертого издания с третьим, то станет ясным, что меньше всего в новой авторской редакции изменялись места, носившие очерковый, описательный характер, содержащие характеристику обстановки, края, местности (главы «Александров-Гай», «Уральск»).

Значительной переделке подверглись те части произведения, в которых появлялись живые персонажи, где Чапаев и чапаевцы рисовались в их конкретных делах и поступках. Здесь опять-таки

основное внимание уделено образу Чапаева. С особой тщательностью перерабатывались главы «Рабочий отряд», «Сломихинский бой», «В пути»...

Верным и точным словом, вновь написанной живой сценой, своеобразным диалогом дорисовываются в последней редакции типические черты народного героя Чапаева — его полководческий талант, энергия и воля, нерушимая вера в победу.

В главе «В пути», рассказывая о доверчивости полководца, его неспособности противостоять клевете и ложным слухам, Фурманов вновь написал:

«Только одному он не верил никогда: не верил тому, что у врага много сил, что врага нельзя сломить и обернуть в бегство.

— Никакой враг против меня не устоит! — заявлял он гордо и твердо.— Чапаев не умеет отступать! Чапаев никогда не отступал! Так и скажите всем: отступать не умею! Наутро же гнать неприятеля по всему фронту! Передать, что я приказал!»

Фурманов стремится также подчеркнуть любовь и уважение чапаевцев к своему командиру, дисциплину и требовательность их к себе. В рукописи и первых трех изданиях книги в сцене встречи Чапаева и его сподвижников с Федором Клычковым (глава V) командир Попов так реагировал на приказание, которое отдал ему начдив: «Попов что-то буркнул под нос, давая знать, что слышал сказанное»[1]. В окончательной редакции эта фраза изменилась следующим образом: «Попов рассказывал, видимо, что-то веселое и смешное, но как услышал слово Чапаева — враз остыл, стушил, как свечи, усмешку в серых глазах, посмотрел прямо и серьезно Чапаеву в глаза ответным глядом и глазами ему сказал: «Слышу!».

Особенно кропотливо и серьезно работал Фурманов над отшлифовкой и отделкой речи своего героя.

Так, например, сухой, краткий, несколько бесстрастный рассказ Чапаева о своей жизни в новой редакции сменился живым диалогом Чапаева и Клычкова, в котором автор стремится с возможной точностью передать своеобразие речи начдива. Фурманов оживляет монолог Чапаева, используя просторечную лексику: «все было, как есть», «плясать почнешь», «ежели, промеж себя», «што теперь я злой против купца». Интересна в этом плане концовка рассказа. Она начинается со слов: «Да што тут за

---

[1] Дм. Фурманов, Чапаев, Госиздат, изд. 3-е, 1925, стр. 45.

работа...» — и отличается напевной, лирической интонацией, обилием повторов, характерных для устной народной речи. «А как оно на апрельских зеленях покатится солнышко, как двинет матушка льды на Каспийское море... И музыка шарманная, и жаворонки поверху свистят, да Настя тут, да песня тут... Эх ты, не забыть тебя — не забуду! Ну ж и красавица ты по весне плывешь! ...не уберег я ее, касатку... Свернулась, как листик зеленый...»

Автор широко вводил в окончательную редакцию своей книги обороты речи, свойственные живому народному языку. Это было связано с его стремлением донести до читателя тот истинно народный поэтический колорит, которым овеян образ Чапаева. Так в главе VI «Сломихинский бой» три фразы первых редакций: «Тройка тронула... Крикнули прощальные слова... Умчались» — в окончательном варианте развернулись в полную поэзии и лиризма картину:

«Тройка тронула. Сверкнули в снежную пыль прощальные крики. С крыльца — как в зеркальцах — плеснулась в глаза разлучная тоска. Кто-то взвизгнул, кто-то кнутом взмахнул, кто-то шапку вскинул до крыши... В серой тоске и в снежных заметах пропало крыльцо...

Степи-степи! Кумачи вечерние, колыбели белые да пуховые!

А по степи ветер, как девичий вздох, ходит пахучими и холодными валами, ходит над белыми снегами, ходит над снежными пустырями, пропадает в чистую синь раннего мартовского неба!»

Сравним два отрывка из главы «Рабочий отряд».

Третье издание: «Дальше события заскакали чрезвычайно быстро. Отряду приказано было собраться. Назначенной четверке напомнили из реввоенсовета, что ехать надо немедленно. В штаб армии вызвали начальника отряда и передали ему, чтобы готовился к выступлению. За суетой и спешными приготовлениями уезжавшие товарищи даже не успели как следует проститься с отрядниками, да и верили тому, что через несколько дней все равно свидятся в Уральске.

Скоро от реввоенсовета отъехали две тройки: в первой сидели Федор с Андреевым, в задней — Лопарь и Терентий Бочкин» [1].

---

[1] Дм. Фурманов, Чапаев, Госиздат, изд. 3-е, 1925, стр. 17.

Четвертое издание: «Дальше события заскакали белыми зайцами. Отряд получил приказ быстро собраться. В штаб армии вызвали командира и наказали, чтоб был с отрядом готов к выступленью.

Назначенной четверке из ревсовета напомнили:

— В Уральск уезжать немедленно!

Засуетились. Заторопились. Не успели как следует проститься с отрядниками. Да и верилось, что скоро свидятся в Уральске.

От реввоенсовета оттолкнулись две тройки: в первой сидели Федор с Андреевым, в задней — Лопарь и Терентий Бочкин.

Вскинулись кони, свистнул посвист ямщицкий, взвизгнул змеиной смешью кнут степной — и в снежный метельный порох легкие тройки пропали, как птицы».

В новой редакции автор, стремясь к лаконичности, заменяет развернутые повествовательные предложения предложениями односоставными. Лексика «нейтральная» сменяется более экспрессивной: (ехать — оттолкнуться). В концовке, которая перекликается с ямщицкой песней, ощущаются фольклорные песенные мотивы.

В последней редакции Фурманов большое внимание уделяет и массовым сценам, в которых наиболее полно представлен собирательный образ бойца революции. Такова сцена в главе «Рабочий отряд» — иваново-вознесенцы посылают приветственную телеграмму М. В. Фрунзе.

В первых редакциях об этом сообщалось так: «Надо сказать к слову, что по Иваново-Вознесенской губернии нет и не было другого революционного имени, которое произносилось бы с такой любовью, как имя Михаила Васильевича Фрунзе. Все помнят его еще с «пятого» года, когда чуть оперившимся юнцом работал он там в партийных организациях» [1].

Спокойный, деловой тон повествования сменился картиной, в которой мы чувствуем живой облик массы, ее лицо.

«— Отправить... телеграмму отправить!

— И сказать спасибо! — крикнул кто-то.

— Не то — «спасибо»,— перебили голоса,— сказать, что приехали, что готовы на дело — куда какая помочь нужна! Во как!

— Правильно! Так и сказать: готовы-де на дело! И сказать, что все как один, то есть в самом лучшем смысле!

---

[1] Дм. Фурманов, Чапаев, изд. 3-е, Госиздат, стр. 16—17.

— Айда, ребята, составляй телеграмму! Да здравствует Фрунзе, ура!»

Появляется диалог в тех местах, которые в первоначальной редакции носили чисто описательный характер. Так, например, меняется отрывок из главы «Степь», в котором автор рассказывает о сложившейся у крестьян традиции: отбывать наряды один за другого. Вместо скупой и лаконичной записи — монолог крестьянина. В этой же главе значительно изменена беседа мужика-возницы с Лопарем и Терентием Бочкиным и диалог между бывшим участником Чапаевской дивизии — Гришей и Федором Клычковым.

В последней редакции были дополнены некоторые портретные характеристики героев. В главе «Рабочий отряд» дописаны портреты Елены Куницыной и старого ткача. Значительно изменено описание внешности бойца Чекова в главе «Чапаев».

Наиболее значительным изменениям в последней редакции подвергся язык произведения. В письме к Горькому Фурманов сообщал: «Теперь я не написал бы этих любимых, любимейших моих книг («Чапаев» и «Мятеж».— *М. С.*) так, как они написаны, я писал бы их по-иному...» [1]

Сравнение нового текста с предыдущим изданием свидетельствует о стремлении писателя избавиться от стертых, привычных, штампованных фраз, от газетного изложения событий.

Третье издание	*Четвертое издание*
Чапаев... не держался столь элементарно: у него работали и задерживающие центры...	Чапаев... не держался так, как все: словно конь степной сам себя на узде крепил.
Казачья Таловка представляет собою крошечный поселок...	Казачья Таловка — это крошечный поселок...
Ему песни, видимо, были, как хлеб, как вода, необходимы органически...	Ему песни были, как хлеб, как вода...
...В нем олицетворен весь ужас первого свежего впечатления.	О, как тяжела ты, первая свежая утрата!

[1] Д. А. Фурманов, Сочинения в трех томах, Гослитиздат, 1952, т. 3, стр. 225.

Начинал задавать совершенно специфические вопросы...	Начинал задавать совершенно особые вопросы...

В новой редакции меняется и синтаксис. Писатель добивается упрощения конструкций — замены деепричастных оборотов простыми предложениями, развернутых повествовательных предложений — односоставными. Предложения сложноподчиненные со многими придаточными заменяются простыми, нераспространенными. Это делает фразу более экономной и энергичной.

Третье издание	*Четвертое издание*
Клычков с Чапаевым разъехались по флангам, перебравшись теперь уже в первую цепь.	Клычков с Чапаевым разъехались по флангам — теперь они были уже в первой цепи.
Несмотря на то, что по утрам приморaживало довольно крепко, что, в общем, степь была еще в снегу, за первую половину марта дороги пораспустились ощутительно, а за последние дни — и вовсе оплешивели.	Это верно, что по утрам приморaживало крепко. Это верно, что степь была в рыхлом, в липком снегу. Но уж дороги приметно окисли и распустились, а теплые мартовские дни и вовсе их оплешивели.
Фрунзе, уже командовавший 4-й армией, выехал из Иваново-Вознесенска несколько раньше самого отряда и в данное время находился в Уральске, а здесь, в реввоенсовете, оставил записку на имя Федора.	Фрунзе уже командовал 4-й армией. Он выехал из Иваново-Вознесенска несколько раньше самого отряда и теперь находился в Уральске.

В речь многих действующих лиц Фурманов вводит просторечную и диалектную лексику, о чем свидетельствуют, например, следующие замены: литературные «сейчас же», «сразу» заменяются словом «враз»; глагольные формы литературного языка заменяются диалектными: будут — зачнут; говорят — гутарят; посмотрел — глянул; для оживления речи употребляются вводные слова: небось, надо быть, дескать, поди, знать... и т. д.

Фурманов стремится к уточнению смысла фразы, добивается большей ее ясности.

Третье издание	*Четвертое издание*
Сегодня в полночь отправляется на Колчака **первый,** собранный Фрунзе отряд.	Сегодня в полночь уходит на Колчака собранный Фрунзе **рабочий** отряд.

В данном случае важно не то, какой это отряд по счету (первый, второй, как в первоначальной редакции), а существенно другое — каков этот отряд по своему составу. Фурманов подчеркивает, что это отряд рабочих-ткачей, которые призваны были помочь обуздать полуанархическую крестьянскую вольницу, ввести ее в организованное русло.

Третье издание	*Четвертое издание*
Среди этой тесной **компании** боевых товарищей...	Средь этой тесной **семьи...**

Автор заменяет слово «компания» словом более глубокого значения — «семья», обозначающим общность людей, их интересов.

Исключая ненужные, нехарактерные детали, писатель отыскивал образные и более выразительные сравнения и определения. В последней редакции появляются более точные и красочные эпитеты, яркие метафоры... Некоторые из них носят уточняющий характер.

Третье издание	*Четвертое издание*
Три мазанки	Три **смуглых** мазанки
будто полили внутренности мятными каплями...	будто полили внутренности мятными **студеными** каплями.
где нет такой опасности...	где нет такой **близкой, страшной** опасности...
Бойцы... спавшие блаженным сном...	Бойцы, спавшие **походным, чугунным** сном...

В рецензии на пьесу Васильченко «Две сестры» Фурманов писал: «Определения и эпитеты хороши только в том случае, если они по существу дополняют явление или предмет, если они рисуют его еще отчетливей, делают его еще более ясным, рельефным, чувствуемым» [1].

Это положение становится основным для писателя при подготовке им книги к четвертому изданию.

---

[1] Архив ИМЛИ, II-62, 1924.

Третье издание	*Четвертое издание*
...в черной бурке, словно крылья летевшей по ветру... носился Чапаев...	В черной бурке, будто **демоновы** крылья, летевшей по ветру... носился Чапаев...
Еще настойчивее заговорили орудия.	**Чаще, крепче** и **злей** заговорили орудия.
Ехали. Молчали.	Ехали, молчали. **Степь ездоку как люлька — гонит в усладный сон.**
Во гнев вошел, глаза заблестели, а шашку с размаху о камень как треснет...	Во гнев вошел, и глаза блестят, и сам дрожит, **как конь во скаку.** Шашку с размаху о камень полоснул.
От всякой случайной шелухи, от минутных налетов...	От случайной шелухи, **от шального чертополоха...**
Толпа зарыдала ответным гулом...	**Словно буйным бураном завыла снежная степь** — толпа зарыдала ответным гулом.
Засвистели свистки, загудели гудки, зафыркала паровозная глотка, зачадила, задышала.	**Загудели сычами гудки,** зафыркала трудно паровозная глотка, зачадила, задышала.
Неправильно, — обрадовался Лопарь живому слову.	Неправильно? — и Лопарь на живое слово **кинулся как кошка на мясо.**
Буран предстал во всей своей силе...	Буран бушевал, **как буйный хозяин в пьяном пиру...**
Как только лицо — так и тип хоть пиши с него. У каждого свое. Нет двоих, у которых было бы одно: у каждого свое.	Как только лицо — так тебе и тип: садись да пиши с него **степную** поэму. У каждого свое. Нет двоих, чтобы одно: парень к парню, **как камень к камню.**

Однако, отдавая дань литературной моде тех лет, стремясь к сочности и яркости изображения, свежести языка, Фурманов в ряде случаев приходит к излишней «красивости» слога и неоправданным неологизмам, стилизованным под народную речь. В поисках новых, необычных сравнений он иногда искусственно усложняет язык произведения.

Третье издание	*Четвертое издание*
...Желая показаться всем друзьям в этаком грозном виде...	Желая **хвальнуться** всем друзьям в этаком грозном виде...
С нескрываемым восторгом.	С **раскрытым** восторгом...
Рассмеялись, громче острили, подзадоривали...	Грохнули **хохотной россыпью.**
Верст семь, надо быть, а то и двенадцать,— шутя ответил ездовой.	Верст семь, надо быть, а то и двенадцать,— **свеселил** ездовой.
А все столько же,— с веселым зубоскальством подсмеивался возница.	А столько же! — с веселым зубоскальством **хахакал** возница.
Бурчал недовольный собеседник.	Бурчал недовольный **кучерило.**

Такого рода неудачные исправления явно выпадают из общего стиля произведения, отличающегося простотой и ясностью языка.

Появление «Чапаева» явилось событием в литературной жизни 20-х годов. Старейший большевик, литератор Лепешинский, одним из первых прочитавший произведение еще в рукописи, предсказал ему большой успех. А. В. Луначарский в предисловии к третьему изданию «Чапаева» (1925) писал: «В сущности говоря, я знаю в нашей богатой послереволюционной советской, по своим настроениям, литературе лишь два произведения, которые дают такие неизгладимые яркие и, я бы сказал, воспитательные впечатления. Это «Железный поток» Серафимовича и «Чапаев» Фурманова» [1].

А. С. Серафимович, отмечая талантливость молодого писателя, давшего литературе нового героя современности, говорил:

«...когда я читал «Чапаева», передо мной художественно развернулась гражданская война — так и с таких сторон, с каких и как я не умел ее увидеть своими глазами» [2].

К настоящему времени «Чапаев» выдержал 154 издания, общим тиражом 3 876 000 экземпляров. Роман переведен на 34 языка народов СССР и на 7 иностранных языков.

М. Сотскова

---

[1] Дм. Фурманов, Чапаев, изд. 3-е, Госиздат, 1925, стр. 3.
[2] А. С. Серафимович, Собр. соч., Гослитиздат, М. 1960, т. 7, стр. 257.

СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Андреевич
Фурманов

Собрание сочинений, т. 1

Редактор *А. Ноткина*
Художественный редактор
А. Лепятский
Технический редактор *Ф. Артемьева*
Корректор *Е. Патина*

*

Сдано в набор 14/VI 1960 г. Подписано к печати 10/X 1960 г. А 09257. Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$—10,75 печ. л.=17,63 усл.-печ. л. 17,97 уч.-изд. л.+ 4 вкл.
Тираж 60 000. Заказ 967.
Цена 8 р.
С 1. I. 1961 г. цена 80 к.

Гослитиздат,
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа
Главиздата Министерства культуры
БССР,
Минск, Красная, 23.

30 к.